# Лучшее от McSweeney's

Коллекция лучшей альтернативной американской прозы

## том 1

LIVE BOOK

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

«McSweeney’s» — ежеквартальный американский литературный альманах, основанный в 1998 г. для публикации альтернативной малой прозы. Поначалу в «McSweeney’s» выходили неформатные рассказы, отвергнутые другими изданиями со слишком хорошим вкусом. Однако вскоре из маргинального и малотиражного альманах превратился в престижный и модный, а рассказы, публиковавшиеся в нём, завоевали не одну премию в области литературы. И теперь ведущие писатели США соревнуются друг с другом за честь увидеть свои произведения под его обложкой.

В итоговом сборнике «Лучшее от McSweeney's» вы найдете самые яркие, вычурные и удивительные новеллы из первых десяти выпусков альманаха. В книгу вошло 27 рассказов, которые сочинили 27 писателей и перевели 9 переводчиков. Нам и самим любопытно посмотреть, что у них получилось.

- ЛУЧШЕЕ ОТ MCSWEENEY'S
  - ПОТОЛОК
  - СВЯТАЯ ЛАТИНОСКА
  - СЛЕЗЫ СКУОНКА И ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОТОМ
  - ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ
  - ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОВИНЦИИ
  - ПЫШНЫЕ ДАМЫ ПЛЫЛИ ПО НЕБУ, КАК ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ
  - ХВАЛЕБНАЯ РЕЧЬ ПАМЯТИ САУЛА ШТЕЙНБЕРГА
  - НАБЛЮДАТЕЛИ
  - МОЛЛЮСКИ
  - ПЧЕЛКИ
  - ТРОЙНАЯ МЕДИТАЦИЯ О СМЕРТИ
  - ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР СКВАЖИСТОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОЧВ (VIII)
  - РЕСПУБЛИКА МАРФА
  - СЛИВ
  - НЕЖНЫЙ СЛОН
  - СУМАСБРОДСТВО БАНВАРДА
  - ИЗВРАЩЕНЕЦ
  - ДЕВЧОНКА С ЧЕЛКОЙ
  - ВАГОНЧИК ГИПНОТИЗЕРА
  - ЧЕТЫРЕ МОНОЛОГА НА СЛУЖЕБНЫЕ ТЕМЫ
  - ДВА НУЛЯ
  - К — ЗНАЧИТ ПОДДЕЛКА

- ДНИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ЗДЕСЬ
- ДОМОГАТЕЛЬСТВО
- СЛУЧАЙ КАУДЕРСА
- ТЕДФОРД И МЕГАЛОДОН
- ПОМНЮ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38

- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74

# ЛУЧШЕЕ ОТ MCSWEENEY'S
# том 1

# ПОТОЛОК
# Кевин Брокмейер

И было небо в тот день, полное солнца, открытое и голубое. Груды серебряных облаков плыли на горизонте, дрозды и воробьи перекликались на деревьях. То был седьмой день рождения моего сына Джошуа, и мы праздновали его у себя во дворе. Дети играли на игровой площадке, а мы с Мелиссой сидели на террасе с родителями. Незадолго до этого с поля за нашим кварталом поднялся воздушный шар с корзиной и проплыл над нами, извергая огонь. Дети запрокинули головы и медленно поворачивали их вслед за шаром. Джошуа сказал друзьям, что знаком с воздухоплавателем:

— Это господин Клифтон. Я познакомился с ним в парке, в прошлом году. Он взял меня в полет и разрешил сбросить в бассейн футбольный мяч. Мы едва не задели вертолет. Он сказал, что вернется в день моего рождения. — Джошуа заслонил глаза от солнца. — Вы видели, он махнул мне рукой? Он только что махнул мне!

Так это начиналось.

Шар неторопливо отклонялся в сторону, поворачивался, показывая каждую свою деталь, каждую складку на ткани, и мы слышали, что дети возвращаются к игре. Митч Науман засунул солнечные очки в карман рубашки.

— Замечали ли вы, как дети этого возраста обращаются с игрушками? — спросил он. Митч был нашим ближайшим соседом. Отец-одиночка, папаша Бобби Наумана, странноватого лучшего друга Джошуа. Другой его лучший друг, Крис Брускетти, происходил из семьи директоров косметической компании. Моя жена звала их «Богач и Чудак».

Митч прихватил пальцами полы рубашки и обмахнулся ими.

— Истинное предназначение игрушки — служить чем-то вроде препятствия, — сказал он. — Дети придумывают новое применение всему на свете.

Я взглянул на игровую площадку: Джошуа пытался взобраться по одной из А-образных опор; Тейлор Тагуэлл и Сэм Ю стояли на качелях; Адам Смити пригоршнями бросал на горку камушки и смотрел, как они с грохотом скатываются на землю.

Жена движением пальцев ноги столкнула в траву сандалию.

— Это они специально, — сказала она, — играть как положено не интересно.

Она, растопырив пальцы, прижала ступню к передней ножке

шезлонга Митча. Он откинулся в кресле под солнцем, мышцы у нее на ноге напряглись.

Мой сын любил все, что летает. На стене его спальни висели постеры с боевыми самолетами и дикими птицами. Модель вертолета свешивалась с потолка. Праздничный пирог, который стоял передо мной на садовом столике, был украшен изображением космического корабля: серебристо-белая ракета с извергающими огонь двигателями. Я надеялся, что кондитер поместит на глазури пару звезд (в каталоге пирог был украшен желтыми карамельными блестками), но, открыв коробку, я увидел, что звезд нет. И вот как я поступил: пока Джошуа стоял под опорой качелей, пытаясь выудить что-то из кармана, я глубоко воткнул в пирог свечи. Я проталкивал их до тех пор, пока каждый фитиль не остался окружен лишь тонкой каемкой воска. Потом я позвал детей с площадки. Они шли по газону, вырывая клочья дерна.

Пока я подносил спичку к свечам, мы пропели поздравление.

Джошуа закрыл глаза.

— Задуй звезды, — сказал я, и он надул щеки.

Поздно вечером, когда последние из детей разошлись, мы с женой сидели на террасе и пили. Каждый из нас был обернут в собственное молчание. Светились городские огни, Джошуа спал в своей комнате. Где-то над нами козодой выдавал трель за трелью.

Мелисса подбросила в свой стакан кусочек льда и встряхнула напиток, наблюдая, как новая льдышка посвистывает и потрескивает. Я смотрел на дальнюю череду облаков. Луна в эту ночь была яркой и полной, но вскоре она стала казаться мне ущербной, отмеченной легкой неправильностью. У меня ушло какое-то время на то, чтобы сообразить, почему так происходит: рядом с чистой белой поверхностью луны находился идеально черный квадрат. На нем не было ни пятен, ни других изъянов, он казался не больше молочного зуба, и я не мог сказать, находится ли он собственно на луне или летает неподалеку как облако. Казалось, что прямо в подножии скалы открылось окно, являя взору участок пустоты. Я никогда раньше не видел подобного.

— Что это? — спросил я.

Мелисса неожиданно вздохнула, глубоко и потерянно.

— Во мне что-то надломилось, — сказала она.

За неделю объект в ночном небе сделался существенно больше. Он появлялся на закате, когда небо становилось багровым, напоминая размытый зернистый туман, что-то вроде дымки на высшей точке неба, и оставался там на всю ночь. Он приглушал свет проходящих мимо звезд и, казалось, перемещался

по лицу луны, хотя на самом деле оставался неподвижным. Жители нашего города не могли понять, увеличивается ли он в размерах или приближается. Мы видели только, что он становится больше, и это дало повод для множества спекуляций. Глисон, мясник, сказал, что объект — не более чем иллюзия, и его вовсе не существует.

— Все это из-за спутников, — сказал он, — они оттягивают свет от этого места, как линзы. Это только кажется, что там что-то есть.

Но хотя он держался непринужденно и говорил уверенно, ему не удавалось оторвать взгляд от своей разделочной доски.

Днем объекта не было видно, но по утрам, пробуждаясь, мы чувствовали его над собой: в воздухе присутствовало напряжение и давление, привычный баланс был нарушен. Когда мы выходили из домов и отправлялись на работу, нам казалось, что мы имеем дело с новым видом гравитации — более жесткой и сильной, не слишком податливой.

Что касается Мелиссы, то она провела несколько недель слоняясь по дому из комнаты в комнату. Я видел, что она впадает в глубокую задумчивость. Она рыдала в подушку в ночь после дня рождения Джошуа, отстраняясь от меня под одеялом.

— Мне просто нужно выспаться, — сказала она, когда я сел рядом с ней и положил руку ей на бок. — Пожалуйста. Ложись. Не трогай меня.

Я намочил маленькое полотенце в холодной воде, сложил вчетверо и оставил на ночь на ее тумбочке, в фарфоровой миске.

На следующее утро я увидел ее в кухне, она доставала из кофеварки влажный фильтр с кофейной гущей.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.

— Хорошо.

Она надавила ногой на педаль урны, и крышка распахнулась с пластиковым шумом.

— Это из-за Джошуа?

Мелисса на мгновение застыла с мешочком кофейной гущи в вытянутой руке.

— Почему из-за Джошуа? — спросила она. В ее голосе было беспокойство.

— Ему исполнилось семь, — сказал я. Она не ответила, и я продолжил: — Милая, ты не выглядишь ни на день старше, чем когда мы встретились. Ты же знаешь это, правда?

Она шумно выдохнула через нос — это был смешок, но я не знал, какой смысл она вкладывала в него: горечь, рассудительность или что-то вроде легкой иронии.

— Нет, Джошуа здесь ни при чем, — сказала она и швырнула

кофейный фильтр в урну. — Но все равно спасибо.

Лишь в начале июня она стала потихоньку возвращаться к семейным делам. Тем временем объект в небе вырос до того, что был способен закрыть полную луну. Наши друзья утверждали, что не видят в моей жене совсем никаких перемен, что у нее та же манера разговаривать, те же привычки, причуды и странности, что и всегда. В некотором смысле это было верно. Я замечал разницу, главным образом когда мы оставались вдвоем. Уложив Джошуа спать, мы сидели в гостиной, и, когда я о чем-нибудь ее спрашивал или когда звонил телефон, в ней неизменно появлялась какая-то хрупкость, неуверенность, заставлявшая предположить, что она слышит мир, будто бы находясь по ту его сторону. В такие моменты мне становилось ясно, что она не здесь и что она выстроила приют из дерева, и глины, и камня своих самых потаенных мыслей, вошла внутрь и захлопнула дверь. Оставался единственный вопрос: эта женщина, стучавшая молотком по ставням своей души, чем она занималась? Отодвигала ли она засовы или заделывала трещины?

В субботу утром Джошуа попросил меня съездить с ним в библиотеку. Был почти полдень, и солнце начинало темнеть в зените. Каждый день тени от наших тел уменьшались к западу от нас, ненадолго исчезали в полдневной саже и опять вытягивались к востоку, отмечая край света. Иногда я спрашивал себя, смогу ли я когда-нибудь увидеть собственное изображение, нормально простершееся у моих ног.

— Можно, Бобби тоже поедет с нами? — спросил Джошуа, пока я завязывал шнурки.

Я вдевал шнурки в ряды петель, похожих на бабочек.

— Почему бы тебе не сходить за ним, — сказал я, и он побежал по коридору.

Мелисса сидела на крыльце, я вышел из дома и опустился перед ней на колени.

— Я отвезу мальчиков в город, — сказал я. Потом поцеловал ее в щеку и погладил основание шеи, чувствуя, как завитки ее волос проходят у меня под пальцами.

— Ш-ш-ш. — Она вытянула руку, давая мне знак замолчать. — Слушай.

Насекомые принялись жужжать, птицы приутихли. Воздух мало-помалу наполнялся мирной трескотней.

— Что мы слушаем? — прошептал я.

Мелисса на мгновение наклонила голову, как будто старалась подсчитать что-то. Потом взглянула на меня. В ответ, с некоторой натугой, она раскрыла объятия миру.

Пока я стоял в дверях, она задала мне вопрос:

— Все мы не так уж похожи друг на друга, правда?

Площадь перед библиотекой была вымощена красным кирпичом. Кизиловые деревья заполняли пустоты вдоль периметра; тут и там, на бетонных возвышениях, стояли убогие металлические скамейки. Актриса местной любительской театральной труппы вещала что-то из-под уличного фонаря. Она сидела за деревянным столом, сложив перед собой руки, и говорила как будто в камеру.

— Откуда появился этот объект? — вещала она. — Что он из себя представляет и когда прекратит спуск? Что будет с нами, здесь? Куда нам бежать отсюда? Ученые поставлены в тупик. В интервью этой станции доктор Стивен Мандруццато, директор престижного Хортонского Института астрономических исследований, вынужден был заявить: «Мы не знаем. Мы не знаем. Мы попросту ничего не знаем».

Я провел Джошуа и Бобби Наумана через тяжелые, из темного стекла, двери библиотеки, и мы расположились в детском читальном зале. Столы были низкими, так что мои колени подпирали столешницу снизу, а в воздухе витал этот специфический, сладко-молочный дух публичных библиотек и начальных школ. Дети начали играть в игру «Где я?». «Где я?» — спрашивал Бобби, загадывал место и проводил Джошуа по комнате через тепло/холодно, пока тот не находил его. Сначала он был в растении, в горшке, потом в воротнике моей рубашки, еще позже — под лопастями вентилятора.

Спустя какое-то время человек, который должен был выступать перед детьми, занял свое место. Он поздоровался с детьми, прокашлялся и открыл книгу на титульной странице. «Цыпленок Цыпа», — начал он.

Пока длились чтения, небо стало ярким, как всегда после полудня. Солнце вошло в окна в полосе огня.

В сентябре Джошуа пошел во второй класс. Его новый учитель прислал нам список необходимых принадлежностей, и мы купили их за неделю до начала учебы: карандаши и пенал, клей и носовые платки, линейку и тетради и коробку акварельных красок. В первый день Мелисса сфотографировала Джошуа, когда тот махал ей из дверей, с его плеча свисал рюкзак, в другой руке был пакет с бутербродами. Он постоял во вспышке жесткого белого света, потом поцеловал Мелиссу на прощание и присоединился к Богачу и Чудаку, чтобы вместе ехать в школу.

Осень проходила медленно и уютно, и ближе к концу ноября учитель задал короткое сочинение про местный животный мир. Джошуа озаглавил свой текст «Что случилось с птицами». Мы

прикрепили листок к холодильнику магнитами.

Раньше здесь было много птиц, теперь они исчезли. Никто не знает, куда они подевались. Я привык видеть их на деревьях. Когда я был маленьким, то кормил одну из них в зоопарке. Она была большой. Птицы исчезли, никто не видел, как это случилось. Деревья сейчас стоят в тишине. Они неподвижны.

Все это было правдой. Когда объект в небе стал виден при дневном свете — и когда, в течение нескольких месяцев, он опустился над городом совсем низко — птицы и летающие насекомые исчезли. Я не заметил, что их не стало, — ни немоты, с которой солнце всходило по утрам, ни тишины в траве и деревьях, — пока не прочел сочинение Джошуа.

Мир в то время был преисполнен смятения, и дурных предчувствий, и неожиданных душевных переломов. Одно происшествие, которое запомнилось мне очень ясно, случилось в парикмахерской на Главной улице в холодный зимний вторник. Я сидел в кресле с пневматической педалью, а Вессон, парикмахер, приводил в порядок мои волосы. На мне была нейлоновая накидка, во спасение от обрезков волос. От Вессона пахло мятной жевательной резинкой.

— Ну так что там с погодой? — посмеивался он, трудясь над моей макушкой.

Шуточки по поводу погоды стали циркулировать в наших конторах и закусочных постоянно, с тех самых пор как объект — столь же гладкий и хорошо отражающий, как обсидиановое стекло, и названный газетчиками «потолок» — опустился до уровня облаков. Я ответил традиционным образом:

— Немного пасмурно, не находите? — и Вессон одобрительно хмыкнул.

Вессон принадлежал к породе людей, которые проводят дни в ожидании, что остаток жизни пойдет по-другому. Он загружал себя работой, никогда не был женат и души не чаял в детях своих клиентов.

— Скоро обязательно что-то произойдет, — часто произносил он в конце разговора, и в его взгляде была острота, которая доказывала его безусловную веру в собственные предчувствия. Когда умерла его мать, эта вера, казалось, оставила его. Каждый вечер он возвращался в маленький домик, который прежде делил с матерью, и тасовал карты или пролистывал журналы, пока не засыпал. Хотя он никогда не забывал пошутить с клиентом, глаза его сделались пустыми и бесцветными, как будто все пламя в них уже отгорело. Его энтузиазм начинал походить на безнадежность. Это был всего лишь вопрос времени.

— Как поживает ваша красавица-жена? — спросил он.

Я смотрел на него в зеркало, висевшее точно напротив такого же зеркала на противоположной стене.

— В последнее время она чувствовала себя не слишком хорошо, — сказал я, — но теперь, полагаю, идет на поправку.

— Рад слышать, рад слышать, — сказал он, — а как ваш бизнес, ваша скобяная лавка?

Я ответил, что с бизнесом все в порядке. Дело происходило в мой обеденный перерыв.

Колокольчик на дверной ручке зазвонил, и поток холодного воздуха устроил на полу маленькое завихрение из волосяных обрезков. В комнату заглянул человек, которого мы никогда прежде не встречали.

— Вы не видели моего зонтика? — спросил он. — Я не могу найти свой зонтик, вы его не видели?

Он говорил слишком громко, высоким пронзительным голосом, дрожащим от волнения, и руки его тряслись в отчетливом треморе.

— Не могу сказать, чтобы я его видел, — ответил Вессон. Он опустошенно улыбнулся, демонстрируя зубы, пальцы его сжались на спинке моего кресла.

В комнате возникло внезапное ощущение невесомости.

— Вы не должны были мне этого говорить, вы понимаете? — сказал посетитель. — Боже, — сказал он, — вы, люди.

Потом он схватил высокую пепельницу-штатив и швырнул ее в окно.

Посетителя окутало облако серого пепла, но стекло в раме не разбилось, всего лишь задрожало. Он предоставил штативу упасть на пол и покатил его в сторону полок. Пепел осел на пол. Человек стряхнул сигаретный окурок со своего пиджака.

— Вы, люди, — повторил он и вышел в распахнутую стеклянную дверь.

Позже, вечером, когда я шел домой, зимний ветер сдувал с моей кожи запах парикмахерского талька. Плоскость потолка тянулась через небесный свод, покрывая город от края до края, и, на фоне черной гладкости, огни тысяч уличных фонарей были похожи на созвездия. Мне пришло на ум, что если ничего нельзя изменить, если потолок попросту останется так висеть навсегда, мы можем забыть, что было раньше, и нарисуем себе новую карту звездного неба.

Когда я подошел к дому, то увидел, что из него выходит Митч Науман. Мы повстречались на лужайке, в руках у него был рюкзак Бобби.

— Он забывает эту штуку повсюду, — сказал Митч. — В автобусах. У вас в доме. В классе. Порой мне хочется привязать

ему рюкзак к ремню. — Потом он прокашлялся. — Новая стрижка? Мне нравится.

— Да, начинал уже зарастать.

Он кивнул и цокнул языком.

— До скорого, — сказал он и исчез в своей входной двери, призывая Бобби откуда-то слезть.

В то время как объект падал столь же неторопливо, как хвоинки с дерева, мы обратили внимание на увеличение скорости ветра. В тонкой полоске пространства между потолком и полом он теснился, и усиливался, и накапливал скорость. Мы слышали, как по ночам он стучится в стены наших домов, и он был причиной постоянных глубоких вздохов в темноте кинотеатров. Люди, выходящие из домов, заметно сгибались под его напором. Казалось, весь наш город помещался в проходе между высокими зданиями.

Однажды утром в воскресенье я решил навестить могилу своих родителей: кладбище, на котором они были похоронены, каждую весну покрывалось сорняками, и нужно было заняться ими, пока они не успели слишком разрастись. В доме было все еще тихо, пока я мылся и одевался, и я ступал по банному коврику и кафельному полу настолько осторожно, насколько мог. Я увидел, что уровень воды в раковине поднимается и падает, в зависимости от порывов ветра, управляющего течением воды по трубам. Джошуа и Мелисса спали, утреннее солнце блеснуло на горизонте и исчезло.

На кладбище маленький мальчик подбрасывал в воздух теннисный мяч, пока его мать счищала грязь с памятника. Мальчик старался достать мячом до потолка и с каждым удачным броском он приближался к своей цели, пока на высоте мяч не дернуло в сторону, и он не упал. Больше на кладбище ни души, единственные материальные объекты — памятники и деревья.

Надгробия родителей были скромными и опрятными. В столь скудном солнечном свете сорняки не сильно разрослись, и я быстро привел могилы в порядок. Я прошелся по участку граблями, чтобы убрать камни и листья, и вытащил побеги роз из-под гущи зелени. Я опустился на колени на двойной могильный камень и отодрал от него полоску мха. Сидя там, я вообразил, что мои родители живут вместе поверх потолка: они идут по полю, заросшему высокой желтой травой, под солнцем, и небом, и растрепанными белыми облаками. На ней платье, она нагнулась, чтобы рассмотреть цветок, он наклонился вслед за ней, держа руку на ее талии, и они не имели никакого понятия о том, что мир под ними стягивается к основанию.

Когда я вернулся домой, то застал Джошуа на диване перед телевизором в гостиной за поеданием пирога из сливы на бумажной салфетке. Капля желе упала ему на тыльную сторону ладони.

— Мама ушла по делам, — сказал он.

Изображение на экране на мгновение задрожало и искривилось, посылая брызги дождя на экран, потом восстановилось. Трансляционная вышка рухнула несколькими днями раньше — первое из многих подобных сооружений в нашем городе, — и качество сигнала с тех пор непрерывно ухудшалось.

— Ночью мне приснился сон, — сказал Джошуа. — Мне снилось, что я уронил своего медведя в решетку на тротуаре.

Этот затрепанный, набитый ватой медведь, прошитый пластиковыми стяжками, был у Джошуа с младенчества.

— Я пытался поймать его, но не смог. Тогда я лег на землю и вытянул к нему руку. Я просунул руку сквозь решетку, и когда я заглянул за тротуар, то увидел другую часть города. Там ходили люди. Там были машины, и улицы, и кусты, и фонари. Тротуар был чем-то вроде моста, и я подумал во сне: «Ну конечно, как я забыл об этом?» Я пытался пробраться туда, чтобы забрать медведя, но не смог поднять решетку.

В телевизоре надрывался диктор, читавший прогноз погоды.

— Ты помнишь, где это произошло? — спросил я.

— Ага.

— Может, рядом с булочной?

Я неоднократно видел запаркованную там машину Мелиссы и запомнил мальчика, бросающего камешки в отверстия решетки.

— Похоже, что так.

— Не хочешь попытаться найти то место?

Джошуа подергал себя за мочку уха, уставившись в пустоту. Потом пожал плечами.

— Окей, — решил он.

Я не знаю, что мы рассчитывали там найти. Возможно, я попросту поддался прихоти — желанию быть тем, с кем говорят свыше, страсти видеть вещие сны. Когда я был в возрасте Джошуа, однажды ночью мне приснилось, что я нашел в доме новую дверь. Она вела из подвала в яркие, обеззараженные проходы аптеки. Я прошел в нее, увидел вспышку света и обнаружил себя сидящим на кровати. Спустя несколько дней, входя в подвал, я живо вспомнил то чувство, подобное прикосновению какой-то иной географии. Мне казалось, что моим глазам открылась истинная карта мира, спроецированная в соответствии с человеческими убеждениями и понятиями.

Очутившись в центре города, мы с Джошуа пробились через толпу людей, косящихся на горизонт. Между почтой и библиотекой имелось место, где взгляд на запад не был закрыт ни холмами, ни домами, и там постоянно собирались толпы, чтобы смотреть на отдаленную полоску небесной голубизны. Мы проложили себе дорогу локтями и продолжили путь.

Джошуа остановился перед булочной Корнблюма, между мусорной корзиной и газетным ларьком, где потоки света от двух уличных фонарей встречались на тротуаре.

— Здесь, — сказал он, указывая на чугунную решетку у нас под ногами. Под ней нам удалось разглядеть неглубокий резервуар водоотводной трубы. Он был гладкий и сухой, в нем лежало несколько опавших листьев.

— Ну что же, — сказал я. — Ничего нет. Какое разочарование.

— Жизнь — вообще сплошное разочарование, — сказал Джошуа.

Он позаимствовал эту фразу у матери, та часто произносила ее в последние несколько месяцев. Потом, как будто по команде, он взглянул вверх, и его глаза наполнились светом.

— Эй, — сказал он, — там мама.

Мелисса сидела за окном ресторана на противоположной стороне улицы. Я разглядел Митча Наумана, тот сидел напротив нее и что-то говорил. Его лицо было мягким и заурядным. Их руки, за перечницей, были сплетены, сброшенные ботинки Митча стояли на ковре. Он водил левой ступней по ее правой ноге. Его пальцы и свод стопы округлились вокруг ее икры. Картина была ясна, как простенький мотив.

Я обнял Джошуа за плечи.

— Будь так добр, постучи в мамино окно, — сказал я. — А когда она выглянет, помаши ей рукой.

Он сделал точно, как я сказал: перешел дорогу, несколько раз стукнул в стекло и помахал рукой. Мелисса вздрогнула. Нога Митча Наумана упала на ковер. Мелисса разглядела Джошуа через окно. Она нагнула голову и попыталась помахать ему дрожащей рукой. Потом она встретилась взглядом со мной. Ее рука застыла в воздухе. Ее лицо, казалось, внезапно наполнилось движением, потом столь же внезапно опустело — больше всего оно мне напомнило лужайку, с которой разлетелась стая птиц. В груди больно кольнуло, и я окликнул Джошуа через улицу.

— Молодец, пойдем, — сказал я, — пойдем домой.

Вскоре после этого — на следующее утро, мы еще спали — рухнула водонапорная башня, выплеснув реку чистой воды на

наши пустые улицы. Бакалейщик Хэнкинс, оказавшийся свидетелем события, собрал в тот день слушателей в своем киоске при кофейне.

— Я проезжал мимо башни, когда это случилось, — рассказывал он, — направлялся с утра на работу. Сначала я услышал скрип, а потом увидел, как изгибаются опорные столбы. Бабах! — он шлепнул ладонями по столу. — Масса воды! Она обрушилась на бок моей машины, и я потерял управление. Потом меня понесло прямо по дороге. Я чувствовал себя бумажным корабликом.

Он улыбнулся и поднял вверх палец, потом прижал его к боку полупустой банки кока-колы, осторожно наклоняя ее. Кола с шипением выплеснулась на стол. Мы подскочили со стульев, чтобы нас не забрызгало.

Падение прочих построек под весом потолка было только вопросом времени. Рекламные щиты и уличные фонари, дымовые трубы и статуи. Колокольни, подъемные краны, телефонные столбы. Сирены воздушной тревоги и ресторанные вывески. Многоквартирные дома и линии электропередач. Деревья выплеснули мощный дождь из листьев и шишек, а потом упали и сами — здоровые и мощные расщеплялись по сердцевине ствола, тонкие и гибкие гнулись и, наконец, ломались. Работники городских служб вмонтировали в тротуары светящиеся панели, направив электрический ток по подземным кабелям. Сам потолок выглядел неприступно. Он разбивал кулаки и костяшки пальцев. Скалил зубы из электрических рвов. Ломал сверла. Гасил пламя. В один из дней с крыши моего дома рухнула телевизионная антенна и, в зигзагах проволоки, приземлилась на живую изгородь. Вечером того же дня, когда я ужинал, на обеденный стол упал кусок известки. На следующее утро я услышал треск в панелях гостиной, потом в коридоре, потом в спальне. В закрытых комнатах эти звуки напоминали выстрелы. Когда я вышел наружу, Мелисса и Джошуа уже ждали на лужайке. По другую сторону дороги, на куче строительного мусора, мальчик играл в Атланта, несущего небо на плечах. Мужчина, стоя на стремянке, выводил на потолке: «МАГАЗИН У КАРСОНА». Мелисса плотнее застегнула куртку. Джошуа взял меня за рукав. Под крышей образовалась широкая дыра, и мы видели, как наш дом превращается в груду обломков кирпича и бетона.

Я лежал на земле, корень дерева слегка впивался мне в спину. Я сдвинулся чуть в сторону. Мелисса лежала рядом со мной, Митч Науман — рядом с ней. Джошуа и Бобби, которые провели большую часть дня бесцельно ползая по двору, спали у

нас в ногах. Потолок был не выше кофейного столика, я видел, как в нем отражаются поры у меня на лице.

Поверх пронзительного ветра шла тоненькая кромка звука — жужжание тротуарных огней, устойчивое, электрическое и теплое.

— Случается ли тебе иногда чувствовать, что тебе следовало быть совсем в другом месте? — спросила Мелисса. Она помолчала с мгновение, абсолютно спокойная, и продолжила: — Это что-то вроде внезапно накатывающегося ужаса.

Звуки ее голоса, казалось, на мгновение повисли в воздухе.

В последние несколько часов я наблюдал свое дыхание на идеально гладкой поверхности потолка: всякий раз, когда я выдыхал, туман в форме гриба закрывал мое отражение, и я обнаружил, что могу контролировать размер пятна, подбирая должным образом силу и скорость дыхания. Когда Мелисса задала свой вопрос — первое, что я услышал от нее за много дней, — я резко выдохнул через нос, и появились два ответвления в форме сосулек. Митч Науман что-то прошептал ей на ухо, но очень тихо, и я не смог разобрать слова. На волне чувства, которому трудно подобрать название — странное сочетание ревности и обожания, — я взял ее руку в свою и сжал. Ничего не произошло, и я сжал ее опять. Я поднес ее к своей груди, ко рту, поцеловал ее и погладил, крепко держа.

Я ждал, что она ответит на мое прикосновение, и, когда это случилось, почувствовал, почувствовал всем сердцем, что мог ждать этого всю жизнь, пока небо и земля не встретились и не сомкнулись и пока расстояние между ними не исчезло навсегда.

*Перевод Э. Войцеховской*

# СВЯТАЯ ЛАТИНОСКА
# К. Квашай-Бойл

Скейтерша. Металлюга. Любительница граффити. Лесбо-шлюха. Безумная фанатка. Полудурошная. Шестерка. Зубрила. Оторва. Крепкий орешек. Бандитка. Компьютерный червь. Модница. Фрик. Не пройдет и пары недель, и все застынет как цемент, но сейчас тебя еще никто не знает. Ты можешь стать кем угодно. И вот пример: знакомьтесь, Мухаммади Сави. «Вареная» футболка, безразмерный комбинезон, у которого закреплена только одна лямка, а другая свободно болтается на плече, как будто так и надо. Вот идет Мухаммади, низенькая, полноватая и смуглая, измученная после первого дня в новой школе, с длинными пушистыми волосами и новым колечком, меняющим цвет под настроение. Но знаете что? Это больше не Мухаммади. Не-а, потому что папа не провожал тебя сегодня в новую школу, ты пошла сама, и, когда тебе выдали бумаги, где нужно было указать свое имя и класс, ты огляделась по сторонам, взяла у мисс Йошиды ручку и написала большими, не стирающимися буквами: Шала М. Сави. И с этого момента вот ты кто. Круто.

Это трудно — поступать правильно, но, по крайней мере, ты знаешь чего хочешь. Ты проходишь по коридорам и осматриваешься. Хочу такие же джинсы, хочу такую же сережку для трех дырочек, хочу такую же походку, хочу такие же сиськи, хочу такую же компанию, хочу такие же ботинки, хочу кошелек на цепочке, хочу короткое платьице, хочу кучу булавок на рюкзаке, хочу ожерелье с моим именем. Помаду. Я хочу помаду. Резиновые браслеты. Спортивный лифчик фирмы «Таргет». Я могу быть на их месте. Я могу быть кем угодно. Радио «Поцелуй FM», мощность 106, задница, нимфетка. Сумка на животе! Велосипедные шорты! И неожиданно — ух ты! — Шала чувствует в себе источник внутренней энергии, о котором раньше и не подозревала. Шала осознает, что глазеет по сторонам и думает: «О, круто!» или «Вот ужас-то! Просто отстой!»

Шала? Хорошо звучит. Особенно в устах крохотной миссис Фурукавы, проводящей в классе перекличку. Она говорит «Шала». Или «Шала Мухаммади Сави». И улыбается. (Но только чуть-чуть, не настолько, чтобы выглядеть по-дурацки, она очень даже клевая.) Она окидывает класс взглядом. На задних партах интригует шумная горстка страшненьких девочек-латиносок, через ряд сидит угловатый неухоженный белый паренек — тонкие ножки, как водоросли, торчат из огромных кроссовок, а вон

вразнобой расположились группки возможных, но маловероятных союзников, объединенные патриотизмом: третий ряд — ребята с Серрания-авеню, пятый ряд — ребята из младшей школы Уолнат, первый ряд — будущие студенты престижных вузов. Сорок лиц. Некоторые из них Шале уже знакомы. Идо, Фара, Лора Липер, Иден, Мори Лешум, о, чудненько, и он тут — Тейлор Брайанс. Блевотный тип. А что же остальные? Они все для нее в новинку.

На четвертом уроке, обществоведении Шала узнает о событиях последних лет. Это наука об обществе. Учебник весьма увесистый. Они проходят войну. Шала стесняется произнести вслух название реки Нигер, она узнает, где на карте располагается Кувейт, выясняется, что парень по имени Джош получает роль в фильме с Томом Хэнксом — но это ерунда, рассказывает она Люси, потому что раньше она каталась на роллердроме с парнем из «Терминатора-2», и тот был симпатичнее. Гораздо симпатичнее.

Это общеобразовательная школа в Лос-Анджелесе, где всякой всячины полно, но ребята только-только перешли в старшие классы и пока лишь постепенно узнают, что такое отличаться от остальных, быть не как все. Здесь есть пирсинг. Есть сигареты. Даже наркоторговцы есть. И из-за всего этого повсюду царит атмосфера опасности, и до тебя вдруг доходит (впервые в жизни), что тебе может не поздоровиться. Тебя могут подстеречь после уроков и отлупить, могут окунуть головой в унитаз, могут ограбить, избить, вывалять в грязи, это правда, и с каждой переменой эта постоянно ощутимая вероятность только возрастает.

Новый муж миссис Фурукавы в армии. Это она так говорит. Она носит самые высокие шпильки, какие только можно представить. Ее класс читает «Дневник Анны Франк», и тебе тоже приходится, хотя ты его уже читала. И «Складку во времени», но и ее ты читала. А дома мама говорит: «Давайте вывесим флаг, пусть знают, на чьей мы стороне».

Каждый вечер Буш произносит по телевизору Зад-дам, вместо Саддам, и твой отец считает, что это плевок в лицо. Твой отец, Мухаммад Сави, в честь которого тебя назвали Мухаммади, говорит, что это нарочно, чтобы довести объект насмешек до белого каления. Ты тренируешься произносить имя и так и эдак: и правильно, и как плевок в лицо.

Уроки физкультуры хуже всего, потому что приходится раздеваться, и это как раз и есть самое худшее. Физкультура — это то, чего твои подружки-пятиклассницы боялись больше всего, а ты тем временем силилась представить, каково будет в старших

классах — снимать одежду при всех (снимать одежду? В присутствии других? Посторонних? Именно так. Привыкай. Ой, нет, ни за что!), и придумывала всякие враки для родителей, потому что если сказать правду — они не въедут. Есть одна очень важная вещь — Скромность. И ты это знаешь. Это твое культурное наследие, и расхаживать голышом — это уж точно не Скромность. В первый же день, чтобы удостовериться, ты поднимаешь руку и спрашиваешь: а если не переодеваться, получишь двойку? И мисс Делюка отвечает: да.

Некоторые сачкуют, но прошло уже три месяца. Теперь слишком поздно. Ты застряла в своем имидже, и, хотя тебя наконец стали звать Шала, ты по-прежнему пай-девочка и занудная зубрила. А зубрилы не сачкуют. Впрочем, тебе не больно-то и хотелось. Только это не про физкультуру. Вот ее ты бы с радостью прогуляла. Во время переклички ты сидишь на асфальте, натянув футболку на колени так, что она пузырится и остается мешковатой даже через двадцать минут после начала урока, когда волейбольный мяч уже в пятнадцатый раз попадает в твою ничем не прикрытую голову, как будто у него внутри имеется хитрое самонаводящееся устройство, главная цель которого — не кто иной, как ты.

В двенадцать лет дети еще мало что знают. Что это за имя такое, Шала? Откуда оно? Никто даже не задается этим вопросом, пока родители не поинтересуются. Иногда ты стоишь в очереди в столовую, к тебе подбегают незнакомые ребята и начинают тараторить по-испански, они ждут от тебя ответа. А другие рассказывают анекдоты на фарси и хитро косятся на тебя перед эффектной концовкой. Иногда ты смеешься вместе с ними из вежливости. Иногда ты прикладываешь усилие и произносишь «Si», стараясь замаскировать свой английский акцент. «Si, claro». [1] Но есть и свои плюсы, когда во время отстойной вечеринки с ночевкой тебе хочется домой, ты звонишь маме и бормочешь в трубку на урду, и никто вокруг не догадывается, что ты говоришь: «Ненавижу этих девчонок, мечтаю отсюда удрать».

Во вторник один парень приходит в школу в футболке с надписью: «Разбомбим их», — когда миссис Фурукава видит это, она слетает с катушек и тащит его в учительскую, а когда он выходит, футболка уже надета наизнанку. Хотя если вы уже видели ее, то все равно можете разобрать надпись: *хи мибмобзаР*.

В тот же день после уроков твоя двоюродная сестра спрашивает, не хочешь ли ты вместе с ней вступить в скауты. Потом она заболевает, и тебе приходится идти одной. Там ты чувствуешь себя не в своей тарелке — по целым двум причинам.

Во-первых, твоя сестра на год старше и уже носит хиджаб, а когда ты заменяешь ее, то вынуждена надевать ее одежду. Так что теперь у тебя хиджаб, и помада, и рубашка сестры, на которой написано: «Расслабься». Это отстой. Но что тут поделаешь? Она совсем расклеилась и осыпает тебя комплиментами, стоит только тебе надеть что-то из ее вещей, к тому же с ней не поспоришь. И вот, не успеваешь ты опомниться, как за окном уже сигналит машина, и твоя тетя кричит, что пора выходить. И ты выходишь. А во-вторых, ты там никого не знаешь. Одни семиклассницы. Это отстой.

Они пекут хлеб с орехами и бананами, и девчонка, мама которой тебя подвозила, говорит, что ты странно пахнешь. Что уж может быть хуже? Ты первым делом идешь в ванную и моешь руки. Потом полощешь рот, стараясь при этом не размазать помаду. Нюхаешь под мышками. Вроде бы все нормально. В зеркале из-за хиджаба Асланы, закрепленного под подбородком, ты выглядишь намного старше.

Стоит только выйти из ванной, как ты налетаешь на одну из скаутских мамаш, и она тут же принимается вопить так, будто ты что-то пролила на ковер.

— Хм, извини меня, но в этом доме царит феминизм, а твой наряд, деточка, это унизительно! — говорит она.

Она, видимо, что-то напутала. Сперва ты сомневаешься, что она обращается к тебе, и, как в комедийных сериалах, оборачиваешься и смотришь, не стоит ли кто-нибудь сзади.

— Ты что, не знаешь, что мы в Америке, крошка? Ты вообще слышала о такой штуке, как феминизм?

— Да, я тоже феминистка, — говоришь ты, потому что проходила в школе. Феминизм означает равенство между полами, и это хорошо.

— Прекрасно, — она смотрит на тебя в упор. — Но тогда для начала сними с себя эту тряпку, — требует она. — Ты же знаешь, что не обязана ее носить. Особенно здесь. Никто тебя не арестует. Я не вызову полицию, ничего такого, детка… Как тебя зовут?

Скаутская мамаша трясет своей скаутской головой, на мамаше огромная скаутская форма, подогнанная по размеру. Она выглядит дико. Как ребенок-переросток, как двойная порция картофеля-фри.

— У нас дома ты можешь чувствовать себя совершенно свободно, детка, — заверяет меня она. — Еще как можешь. А что, твоя мама тоже это носит? Ее заставляют, да? О господи! Да ты только посмотри на себя. Ты не должна в этом ходить, слышишь? Хочешь снять? Иди сюда, крошка.

И, когда ты подходишь поближе, она помогает тебе снять

хиджаб. А тебе стыдно, что ты позволила ей до него дотронуться. Потом ты месишь банановo-ореховое тесто и думаешь, что оно похоже на блевотину, и та же самая девчонка говорит, что от тебя все равно разит — так же пахнет в ресторане, который она терпеть не может. Тебе ужасно, ужасно хочется смыться. Может быть, если стоять и не шевелиться, думаешь ты, они перестанут обращать на меня внимание. На стене висит картина: собаки играют в карты. Хиджаб двоюродной сестры лежит в рюкзаке, ты стараешься сохранять неподвижность и представляешь себе, что время утекает, как молоко, льющееся тебе в горло. Скоро оно утечет совсем, и можно будет пойти домой.

В мире существуют баллистические ракеты малой дальности, ага, но для учеников шестого класса лос-анджелесской общеобразовательной школы есть вещи и поважнее. Например, французские поцелуи. Одна девчонка утверждает, что уже целовалась. А тебе остается только гадать, на что это похоже, потому что никто никогда тебя не поцелует. По крайней мере, до свадьбы. Люси Чанг говорит, что ничего страшного, все равно это распущенность. Люси Чанг — твоя лучшая подружка. Ты рассказываешь ей про скаутов, а она говорит, что скауты — это фигня.

По дороге из школы домой тебя сшибает машина. В ней компания молодежи. Ничего серьезного, ты отделалась легким испугом. Парень за рулем затормозил по-калифорнийски, то есть проехал на красный свет. Сначала он извинялся, а ты ответила, мол, ничего страшного. Но когда ты собрала волю в кулак и попросила его продиктовать номер водительской лицензии, он отказался.

— У тебя небось папочка адвокат, да? — сказал он. — Зачем тебе номер, смотри, на тебе же ни царапинки. Иди себе домой.

Ты не одна, а с друзьями. Вы как раз обсуждали, что, если бы кто-то сейчас запечатлел вас на фотопленку, могла бы выйти неплохая реклама фирмы «Benetton». Вы направлялись в «Закусочную Томми» за крученой жареной картошкой и апельсиновым коктейлем.

— Э-э… Может, действительно пойдем, а? — предлагает Ноэль. — Ведь ничего плохого не случилось, так пойдем…

— Вот именно, — говорит водитель. — Не будь врединой, — говорит он. — Иди своей дорогой.

— Ну, ладно, — говоришь ты. — Хорошо, я уйду, но СНАЧАЛА я должна записать номер.

Он высокий и поглядывает на тебя сверху вниз.

— Займись своими делами, девочка, оставь меня в покое.

— Не оставлю, — упорствуешь ты.

— Послушай, ты же не пострадала. И никто не пострадал. Зачем тебе номер?

— На всякий случай, — говоришь ты. Если он испугался, тебе это только в радость. Ты уже перешла в старшие классы. И знаешь что делать. Надо стоять на своем. Сделать непроницаемое лицо. Ты словно выточена из камня. Ты повторяешь четко и медленно, рассчитывая, что это выбьет его из седла. — На. Всякий. Случай. — Тебе двенадцать, и нелестный эпитет «вредина» ты носишь как орден.

В мечети разбито окно. «Это намеренное оскорбление, — говорит отец. — Шала, говорю тебе, это проклятое оскорбление».

Края дыры зазубрены, она похожа на хрупкую звезду, выпустившую новые острые лучики. Сквозь нее снаружи проникает шум, все пытаются молиться, а мимо, взвизгивая тормозами, проносятся машины.

По риторике задали подготовить к понедельнику доклад, а нужно еще придумать тему. На обратном пути из мечети мама помогает тебе придумывать. Ты предлагаешь такую: если бы ты жила во времена фашизма, ты бы спасла Анну Франк. Мама говорит, что это не тема. Она предлагает вот что: сопереживание и терпимость как основы любой религии. В итоге вы приходите к компромиссу: благодаря своей терпимости Анна Франк должна быть причислена к лику святых.

Дома мама стоит у плиты и готовит обед, ты чистишь мутантский на вид корень имбиря, а телефон просто раскалывается — названивает многочисленная родня. «Что нам теперь делать? — спрашивает мама у каждого позвонившего. — Ну, что? Скажи мне. Что нам делать?»

Саддам что-то затеял. Ты знаешь об этом из телерепортажей. Все волнуются за твоего старшего брата. Он учится в Пакистане вместе с друзьями, и если уедет прямо сейчас, то пропустит целый семестр, потому что итоговые экзамены через два месяца. В мечети только о нем и судачат. Еще говорят о ценах на топливо и о том, как подорожал проезд до центра.

Потом по телику начинается очередное выступление Буша, мама идет, натягивая телефонный кабель, и выключает телевизор с таким видом, будто раздавила паука.

Имбирь, асафетида и горчичное семя доводятся на медленном огне до кипения, а потом настает время добавить шпинат, картошку и масло, но подходящий момент упущен, и *сааг алу* подгорает — наверное, в первый раз на твоей памяти. Тонкий запах пережженных специй разносится по квартире, а

мама что-то сердито выговаривает в трубку на урду, и ты понимаешь, что она даже ничего не заметила.

Ты знаешь, из-за чего она расстроилась. Это потому, что всё в Ахмаде выдает американца, этого не скроешь. Он пахнет как американец, улыбается как американец, и на футболке у него, как вызов, написано: «Just Do It».[2] А ведь многие ненавидят Америку. И потом в той стране (не только для американцев, а вообще) очень опасно. Перед каждой поездкой туда ты пьешь кучу таблеток, и все равно твое ослабленное, стерильное тело подхватывает каждую простуду, понос и лихорадку, какие только Индия в состоянии предложить. По маминому мнению, это из-за антисептического образа жизни. Тут слишком чисто.

По естествознанию ты проходила, что все на свете состоит из звездной пыли, которой много миллиардов лет. В отличие от мистера Кейна, ты не находишь в этой теории ничего романтичного, по-твоему, в вездесущей пыли есть что-то зловещее. Ты знаешь о судьбе Анны Франк и не можешь поверить, что после смерти она обратилась в прах и смешалась с остальной пылью. Только горы и горы пыли. И большая ее часть не такая уж старая.

Кругом полно других детей-мусульман. В школе их целая уйма. Все слегка не в своей тарелке. В коридоре после естествознания ты видишь, как восьмикласснику поставили подножку, и парень, сделавший это, орет: «Приведи ко мне своего драгоценного Саддама, Мофо, я и ему задницу надеру!»

В тот же день после школы все собираются дома у Мори Лешум и играют в игру под названием «Девичьи сплетни». Это что-то вроде «Риска», только действие происходит в магазине. Вскоре вам надоедает. Дальше на повестке дня телефонные розыгрыши. Набираете 1–800-СЛУЖБА СПАСЕНИЯ, то есть 1, 8, 0, 0, 7, 8, 7, 8, 4, 8, 2, 5. «О, привет, я только что попала в аварию и ХУЙ СОСИ!» Ты покатываешься со смеху, но когда очередь выкрикивать в трубку непристойности, которых вы нахватались из фильмов, доходит до тебя, ты трусишь, и все приходят к выводу: «Господи, да она такая ханжа!» «Зато не полная дура», — говоришь ты. «Ой-ой! Ох! У-у-у-у! А-а-а-а!» — завывает со смеху Джеки. А когда в комнату заходит сморщенная бабуля Мори, чтобы угостить вас пиццей, вы все на секунду замолкаете, а потом снова начинается веселье. Бабушка смеется вместе с вами, у нее на руке расплывчатая татуировка, и только много позже ты узнаешь, что она означает. «Ах, это, — говорит Мори, — это просто телефон ее ухажера. Говорит, сделала наколку, чтобы не

потерять».

Кое-что из увиденного тебе уже не забыть. У папы в кабинете на письменном столе, где тебе не разрешено ничего трогать, ты замечаешь книгу под названием «Вьетнам», она толщиной со словарь и в глянцевой зеленой обложке. Открыв ее наугад, ты заглядываешь внутрь. Там, посреди предложения, тебе попадается слово «секс», и ты погружаешься в торопливое чтение. Но лучше бы ты этого не делала. Ты захлопываешь книжку. Выползаешь из кабинета. Ты закрываешь глаза и пытаешься представить что-то другое, что угодно, и тебе на помощь приходит возникшая перед мысленным взором дыра в окне мечети, похожая на звезду. Ты цепко хватаешься за этот образ и загадываешь желание, ты загадываешь, чтобы вышло так, будто ты не читала книгу. «Ну пожалуйста!» — думаешь ты, и пытаешься прогнать картины хаоса и разорения сквозь дыру в форме звезды, как пыталась прогнать в нее во время молитвы звуки автомобильных гудков и голосов. «Пожалуйста!» — умоляешь ты, но это не срабатывает. Никакого чудесного избавления.

Сексуальное воспитание преподают всего одну четверть, так что дети вроде тебя, чьи родители ни за что не подпишут допуск к предмету, не много теряют. Вместо того чтобы переключаться посреди семестра на совсем незнакомую дисциплину, ты записываешься на дополнительные уроки биологии и вскоре становишься почти специалистом в области семян и их прорастания. К тому же Люси все равно пересказывает все, что они проходят. «У мальчиков бывают „мокрые сны“, а у девочек спазмы. Ну и что тут такого?» — говорит она. Ты смотришь на принесенные ею наглядные материалы, огромный чертеж фаллопиевых труб — те смахивают на морду коровы, и ты не понимаешь, из-за чего столько шума.

Правда, у тебя еще остаются вопросы: «А есть ли способ заставить грудь подрасти?» И Люси говорит, что Джеки уже об этом спрашивала, и ответ был: «Нет». Фигово. Люси восклицает: «Я должна, должна, должна, увеличить свой бюст!» Ты обзываешь ее распутницей, а она тебя — майором Скунсом, и вы обе заливаетесь смехом.

Когда наконец приходит твой час, это случается в туалете в «Макдоналдсе». Из громкоговорителя доносится искаженный, словно металлический голос Полы Абдул. Мама Люси спрашивает, какой гамбургер взять для тебя, и ты сообщаешь, что не ешь мяса. «Возьмите, „Филе-о-фиш“, пожалуйста. С кисло-сладким соусом, пожалуйста». «Бе-е-е! Гадость какая», — говорит Люси. И пока она щебечет о всевозможных оттенках джинсов

«Бонго» и о том, как здорово разжиться резинками для волос под цвет штанов, ты заходишь в кабинку и обнаруживаешь это. У тебя словно бы незаметно выпал зуб — во всяком случае, ощущения похожие.

— Люси, Господи, Люси, ты только взгляни! Ух ты! Это наконец произошло!

— Правда? — переспрашивает она. — Ты уверена? О боже, ты уверена?

— Уверена, — говоришь ты и, побледнев, полной грудью вдыхаешь пахнущий мылом для рук и присыпкой воздух. Когда вы с подружкой возвращаетесь за столик и принимаетесь за еду, то кажется, что ваш мир немного изменился. Так оно и есть.

Вечером ты спрашиваешь у мамы, нельзя ли по такому случаю не ходить завтра в школу. Она не разрешает. Зато спрашивает, не хочешь ли ты примерить ее хиджаб, и ты так и не решаешься рассказать ей об истории с Асланой. «Шала, — говорит она, — послушай. Шала, я не знаю, пора ли… Может быть, сейчас неподходящий момент. В любом случае, выбор за тобой. Не хочешь — не носи, но ты должна спросить себя, как ты отныне будешь показывать окружающим, что ты мусульманка. Как ты будешь преподносить себя в этой стране, где думают, что мусульмане не такие, как все. Выбирая хиджаб, ты показываешь окружающим, что мусульман нечего бояться, что ты милая и вовсе не безумная, не религиозный фанатик. Ты это ты, и требуется немалая храбрость, чтобы заявить об этом миру».

Теперь по пути домой ты держишься осторожнее и не позволяешь машинам застать себя врасплох. Приходя в супермаркет «7–11», вы с подружками испытываете разные способы полакомиться молочным коктейлем на халяву. Продавщица ненавидит детей. Все зависит от того, чтобы правильно рассчитать время. Кто-то один покупает коктейль законно, отвлекая продавщицу, а остальные смешивают коктейли всех цветов и передают друг другу, пока не растаяло. Пить быстро не так-то легко — мозги замерзают. Вы пытаетесь наполнить стаканчик еще раз — по мнению продавщицы, это воровство, так делать нельзя, но пусть сперва поймает! Штука в том, чтобы, расплачиваясь на кассе за одну порцию, сделать вид, будто ты сама по себе, иначе она что-нибудь заподозрит и станет присматривать за коктейльным аппаратом. А остальным приходится некоторое время ошиваться на улице, рядом с нищим по имени Ларри, а потом заходить по одному, усаживаться на пол и читать дурацкие журнальчики о косметике, пока покупатель стоит в очереди. Сегодня в роли покупателя ты. Ты стоишь в

очереди. У тебя в руке общественные семьдесят пять центов. Ты придаешь лицу непроницаемо-невинное выражение.

В металлических клетках-грилях, истекая соком, поджариваются сосиски. Ты слышишь, как двое мужчин перед тобой рассуждают о политике. Их стаканчики с коктейлями уже наполнены под завязку, осталось только расплатиться.

— …Та же самая чертова война, что и во Вьетнаме, и бог свидетель, никто не хочет, чтобы их ребенка привезли домой в мешке для трупов. Так-то.

— Насколько я понимаю, есть два выхода, а? Разбомбить полотенцеголовых, скинуть на них ракеты с боеголовками и все дела, или перейти в другую религию.

— Я за первое, приятель.

— Нет-нет, послушай: нужно сменить веру, причем всей страной. Перейти в ислам. Под крыло к всемогущему Аллаху.

— Черт, чувак, ты что, заодно с этими придурками с тряпками на головах?

— Но я же прав? Разве нет? Как ты думаешь, чего хотят эти ублюдки, а?.. Да, конечно, пачку «Лаки Страйк», пожалуйста. Скажите, а билеты «Суперлото» у вас есть? Вот этот дайте. Спасибо.

А теперь твоя очередь. Ты прикидываешь, какой тебя видит эта всклокоченная женщина. Может ли она по виду определить, что ты родом с Востока? Или принимает тебя за мексиканку? Знает ли она, что снаружи ты Модница, что оценки у тебя как у Зубрилы, а в душе ты Пай-девочка? По твоему лицу ничего не скажешь, оно невинное и будто замороженное. Один коктейль, пожалуйста.

Ты заворачиваешь за стойку, идешь к полке с журналами и, приближаясь к подругам, пытаешься придать себе победоносный и хладнокровный вид. Но чувствуешь себя мошенницей. Как будто из-за этого воровства ты перестаешь быть истинной мусульманкой и порочишь остальных людей своей веры.

— Это не воровство, — возражает Люси. — Мы делимся, просто делимся.

И ты тоже делишься. Втягиваешь через трубочку слоистую смесь вишня-кола-черника-вишня, пока не заболит лоб. Потом Джеки открывает рот, запрокидывает голову, опускается на колени, а другая девчонка нажимает рычажок, и вы все замираете, когда коктейльный аппарат начинает булькать. «Фу!» — говорит кто-то, но вы все под впечатлением эффектного трюка, и рейтинг Джеки взлетает до небес.

«О господи! Да когда ж это кончится?! Вы, малолетние бездельницы, а ну, убирайтесь отсюда! А ну, пошли! И не

вздумайте возвращаться! Вам сюда вход воспрещен, ясно? Воспрещен! Убирайтесь! Вон!»

Стайка детей, хихикая и повизгивая, несется через парковку, а уже на следующий день как ни в чем не бывало возвращается на место преступления, потому что продавщица не запоминает вас в лицо. Знает только, что украсть может всякий.

В тот день, когда ты впервые надеваешь хиджаб для пробы, кто-то с силой дергает за него сзади, он слетает с головы, а вместе с ним и клочья волос. Ты вспоминаешь, как девчонки-оторвы перед дракой останавливаются и снимают сережки. Тебе так больно, что хочется разреветься, но ты изо всех сил сдерживаешься. «Пожалуйста, не дай мне заплакать, пожалуйста, пожалуйста, не дай мне заплакать». Первый урок, Тейлор Брайанс замечает, что твоя пухлая нижняя губка дрожит, и вспоминает тот случай, когда он неправильно ответил у доски, а ты его поправила при всех (Не стручки! Семена! Ха!). Он начинает травлю, «Шала рёва-корова», шепоток ползет по классу, ты заливаешься краской, в глазах щиплет, из носа течет. Ты призываешь на помощь чувство собственного достоинства, поправляешь шарф и заново закалываешь булавку. Ты не видишь, как плывут по рукам записки, не слышишь, как произносят твое имя. Ты камень. Ты хладнокровна. Ты не заплачешь. Это не слезы. Звенит звонок.

Потом звонок звенит еще шесть раз, заканчиваются еще шесть уроков. К концу дня с тебя семь раз сдергивают хиджаб, из них четыре раза — на первой же перемене, а в очереди в столовую Тейлор Брайане дважды наступает тебе на ногу. После школы тебя окружает стайка восьмиклассниц, перезрелые дылды в лифчиках, все пялятся и дергают тебя за шарф. За этот день ты успела передумать насчет хиджаба. Ты будешь его носить. Любой ценой. Ярость клокочет в твоих венах как кипящая лава, подбородок высоко поднят, лицо исполнено самообладания и спокойствия, а на место былой неуверенности приходит новорожденная гордость. Я буду носить его, думаешь ты, во что бы то ни стало.

И все-таки дома ты плачешь, уткнувшись в мамино сари, и кричишь на нее, как будто она одна из тех безжалостных обидчиков.

— Я самая обычная, — подвываешь ты. — И всегда такой была!

— Ну что ты, маленькая моя, перестань, шшшш, все будет хорошо, — говорит мама. И замечает, что, может быть, сейчас не самый удачный момент, чтобы начать ходить в хиджабе. Она говорит, что можно прекрасно обойтись и без него, что ты

можешь снять его и забыть. Она повторяет все это, да, но сама носит строго сколотый под подбородком хиджаб постоянно. Она гладит тебя, но ее заверения имеют обратный эффект.

В тот вечер перед сном ты размышляешь о своем брате, о том, каково ему. Ты в ванной, смотришься в зеркало и накидываешь хиджаб на волосы, и тут же, словно бы по волшебству, превращаешься в женщину. Словно бы по волшебству все твои обязанности и роли смещаются и заостряются.

Тебе сложно вдвойне. Тебе нет покоя в своей собственной стране, тебя дергают за волосы. Но и в Индии ты — открытая мишень, в глаза сразу бросаются твои по-американски ухоженные ножки, маленький рюкзачок «Найк», ты — объект ненависти. Со всех сторон тебя окружают гнев, и зависть, и опасность. Ты — объект ненависти. Ты испорченная. Легкая добыча. Маленькая девчонка. А в мире есть столько всего, и все это — к твоим услугам.

Ты думаешь о своем брате, гадаешь, боится ли он.

Прежде чем надеть ночнушку, ты вооружаешься карманным зеркальцем и подносишь его туда, где еще никогда себя не разглядывала. Ты рассматриваешь в зеркальце собственное тело и думаешь: *здравствуй, я.* Тебе неловко, хотя рядом никого нет. Тебя посещает новое, незнакомое чувство. Ты думаешь, до чего же сильно ненавидишь Тейлора Брайанса. В тебе, как пар, поднимается возмущение. Ты стоишь в ванной с окровавленными руками, теперь ты знаешь себя лучше. *«Я мусульманка*, — думаешь ты. — *Я мусульманка, услышьте мой голос».*

Третий урок — физкультура. Горячие солнечные лучи припекают асфальт, и ты видишь вдалеке колышущийся воздух, мираж. Голова под шарфом почти сварилась, уши, соприкасаясь с тканью, горят, а волосы, пропитанные липким соленым потом, облепили затылок. Стоит только вам с ребятами разделиться на команды, как кто-то с силой дергает тебя за хиджаб. Ты теряешь равновесие и падаешь. Обдираешь коленки, и сквозь кровь на них проступают черные, как сажа, пятна грязи. Все оборачиваются поглазеть, и горстка девчонок тихо хихикает, прикрыв рот ладошкой. Булавка расстегнулась, и хиджаб на этом месте порвался, твой папа прав — такая конструкция гораздо лучше, а вот если бы вместо булавки хиджаб завязывался на узел, ты бы могла задохнуться. По влажной шее стекает струйка крови — острие булавки царапнуло кожу. И ты думаешь: ну всё. С меня хватит. Я выхожу из игры. Сдаюсь. Ненавижу.

Кто-то говорит:

— Вот черт! Девочка, ты в порядке?

Ты кое-как поднимаешься, выпрямляешься и уходишь, оставляя за спиной девчонок в растянутых физкультурных формах. Ты возвращаешься в прохладную затхлую раздевалку со шкафчиками, где в кои-то веки можно переодеться в одиночестве. Смывая грязь и песок с ладоней, ты глядишь на себя в зеркало. «Кровавая Мэри», — думаешь ты и крепко зажмуриваешься, а когда открываешь глаза, снова видишь только собственное лицо и бесконечные ряды шкафчиков на заднем плане. И никаких демонов, явившихся порезать тебя на куски.

Позже, когда ты покидаешь раздевалку, ты больше не Никто, ты больше не Неизвестно Кто. Теперь, чтобы пройтись по школе и ее окрестностям, тебе требуется собраться с силами, мобилизовать все имеющееся мужество, которое со временем укрепляется и укрепляется. Глаза становятся пустыми; не фокусируя взгляда, ты смотришь куда-то вдаль. Тем временем Тейлор Брайанс и Фернандо Круз следят за собой и дожидаются подходящего момента, чтобы никто их не видел, и тогда выскакивают и орут прямо тебе в лицо: «Арабка! Жирдяйка! Блин, ты такая уродливая, ты уро-о-о-одина!»

Запасы твоего терпения на пределе. Фернандо наступает тебе на ногу, и твой белый «Рибок» теперь весь в грязи. И все же на твоем лице, несмотря на боль, не дрогнул ни один мускул.

Звенит звонок. Большая перемена. Ты упорно прокладываешь себе путь сквозь толпу набившихся в туалет девчонок, там никак не уединиться, ты пытаешься пробраться туда, где к стене прикручен тусклый кусок металла (все мечтают, чтобы на его месте появилось нормальное зеркало), но там уже куча девчонок, красящих ресницы тушью, девчонок с карандашами для губ, вместо воздуха — дымка от аэрозольных дезодорантов, нечем дышать, и тебе не удается толком разглядеть, нормально ли застегнута булавка — в последний раз рванули не сильно, хиджаб удержался на голове. Но ты не можешь рассмотреть свое отражение как следует. А потом на тебя накатывает. Ты стоишь посреди моря локтей, плеч и кроссовок, внезапно на тебя накатывает, ты рыдаешь и не можешь остановиться.

— Эй, девочка, ты чего плачешь? Хочешь, я разобью в котлету того ублюдка, который обидел тебя? Потому что я бы могла, я же ненормальная. Ты мне только покажи его, и я все сделаю в лучшем виде.

И, залитая слезами, ты хочешь крепко обнять эту огромную, как гора, латиноску с добрым большим сердцем, хочешь

поцеловать ее кроссовки «Адидас», хочешь назвать имя Тейлора Брайанта, хочешь указать на него, хочешь чтобы его стерли в порошок, но велишь себе остановиться. Ты представляешь себе, чем все закончится, представляешь, как он будет унижен. Тощий шестиклассник, ссадины, фингал под глазом, стыд от пролитых прилюдно слез, ужас от того, что теперь у него есть враг, способный смять его, как лавина. Ты оглядываешься через плечо, смотришь мимо девчачьих голов, светлых вихров, каштановых кудряшек и косичек, мимо чудес окрашивания и секущихся концов, мимо всех этих девчонок, толкающихся и пихающихся, чтобы поймать свое тусклое, искаженное отражение в исчерканном фломастерами металле, а потом приглаживаешь складки на строгом черном хиджабе, утираешь сопливый нос и представляешь себе, как бы это все могло выглядеть.

Ты воображаешь, как она несется на него: «Эй, СУКА, да, я к тебе обращаюсь, pendejo,[3] и лучше бы тебе побыстрее уносить ноги, беленький ты мой, потому что я собираюсь отшлепать тебя по попке, чертов ублюдок!» В твоем воображении она похожа на танк. Тейлор Брайане замирает, потом спохватывается и бросается наутек, но она налетает на него, словно мощный селевой поток, и молотит его — вот так же груда грязи и обломков сравнивает с землей чей-то дом стоимостью в миллион долларов. Мысленным взором ты видишь его поражение, толпы ребят ликуют: «Драка! Драка! Драка!» Тесный круг из сцепленных рук, локтем к локтю, чтобы учителя не смогли прорваться, крики взрослых, писк раций, и вот уже охранники, замдиректоры, все дежурные учителя — все они как один пытаются разнять детей, чтобы отвести их в директорский кабинет на выволочку. И все это время ты смотришь на него, будто он — фотография у тебя в руке: слезы, царапины, синяки, безграничное чувство стыда в виноватых и злых глазах. И ты знаешь, что это ничего не решит, и подозреваешь, что это даже не помешает ему в следующий раз выдрать тебе клок волос или наступить на ногу. И, отдавая себе в этом отчет, ты распахиваешь свое сердце и прощаешь его.

А потом ты собираешь в себе по крупицам новообретенное чувство собственного достоинства, смотришь на латиноску, высовываешься из девчачьего туалета и указываешь пальцем.

*Перевод И. Копыловой*

* * *

*5 августа 2000 г. генеральные директора двадцати ведущих*

*компаний из списка «Форчун-500» получили письма от Дэниела О'Мары.*[4] *Это первое, далее последуют еще четыре.*

Кому:

\- - -
Хью Л. Макколу мл.
генеральному директору «Бэнк оф Америка»
100 н. Трион-стрит
Шарлотт, Северная Каролина
28 255

\- - -
Дорогой мистер Макколл,

Понимая, что Вы человек занятой, перехожу к делу. В последнее время я пишу небольшие заметки от имени пса по кличке Стивен, и мне хотелось бы показать Вам образец такого творчества. Вот он:

Я Стивен, родился в стеклянном ящике на порезанной в лапшу газетной бумаге. Прошло пять лет, и вот он я, вот мои лапы, когда-то белые, как бумага, сейчас — белые, как слоновая кость. Я гулял по улицам! И по лужайкам! Такого навидался! Кусал детей за руки! Они восхитительны с виду, а уж на вкус!

Нужно двигаться. Нужно двигаться. Я прыгаю на целую милю. Вот какой я пес, черт подери, — на целую милю могу прыгнуть. Отличный пес. Я вижу цвета, как вы слышите самолеты.

Я пошел искать нору. Найду маленькую-маленькую норку и пройду сквозь нее не хуже Ганди, черт подери.

На этом пока все.

От кого:

\- - -
Дэниел О'Мара
5811 Меса-драйв
Остин, Техас
78731

\- - -

# СЛЕЗЫ СКУОНКА И ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОТОМ
# Глен Дэвид Голд

В конце марта 1916 года, за неделю до приезда в Теннесси «Цирка Семьи Нэш», все стены в Олсоне, городке при железной дороге, были оклеены разнообразными афишами. Если забыть о вечном грохоте на сортировочной станции, больше всего Олсону подошло бы определение «сонный»; на место убийства он уж никак не походил. И семейство Нэш с их наемными исполнителями не внушало ровно никаких опасений.

В афишах со старыми картинками, которые уже выцветали, были обещаны номера с дрессированными животными. Вот наездник, вот клоун, а еще рыкающий лев и наконец пара жонглеров-клоунов (изображения были наклеены рядом — одна шайка-лейка как-никак). Собранные вместе, они выглядели такими же одинокими, как сиротки, которые торчали иногда рядом с шатром, воображая себе внушительное представление, имеющее мало общего с теми вялыми действами, какие разыгрывались обычно под заплатанной полотняной крышей шапито.

Клоуны семьи Нэш были так себе. Среди лошадей имелись и славные имена, но все они были притомившиеся, так как молодые их годы остались позади — к счастью, однако, не такие притомившиеся, как акробаты, которые по большей части думали только о том, как бы дождаться окончания войны и возвратиться в Германию. Нет, главным козырем семьи Нэш были не они, а нравственный стержень главы семьи, Ридли Нэша.

С цирком Нэш был связан с 1893 года, когда зародились передвижные аттракционы. Поработав поваром в Чикаго и изучив кухни разных стран, он готовил еду в международных павильонах Колумбийской выставки. И именно там и в то время он так полюбил цирк — развлечение сугубо семейное, — что приобрел в кредит у торговца из павильона галантереи свой первый вагончик.

К 1916 году его начали называть «полковником» Нэшем, к тайному его неудовольствию, ведь он не служил в армии и не считал себя вправе равняться с теми, кто честно заработал этот чин. Тем не менее такой уж сложился обычай у бродячих цирковых трупп — иметь во главе полковника, пусть ненастоящего, и Нэшу пришлось смириться.

Среди афиш цирка семьи Нэш было немалое число печатных листовок, которые составил сам Нэш. По его утверждению, каждое слово там соответствовало истине, от начальных «высоконравственное развлечение» до заключительных «23 года честной работы для американской публики». В промежутке содержались посулы, к примеру, «8 забавных клоунов», и в тех случаях, когда восьмой клоун находился в подпитии, полковник Нэш, дабы выполнить обещанное, сам надевал красный нос и подставлял спину под колотушки.

В центре одной из листовок красовался гравированный слон, Мэри, о котором было сказано, что среди всех ручных слонов он занимает третье место по величине. Слониха была наряжена в шапочку и пелерину, надпись рядом обозначала ее рост — двенадцать футов в холке.

Это действительно был третий по величине ручной слон и именно того роста, который был указан в объявлении; однажды утром намерили даже три дюйма сверх того, но полковник на случай проверки держался прежних цифр.

Афиши со слоном долгие годы ценились на вес золота — не ради нравоучения, а потому, что Мэри на них была показана в профиль и анфас. Нэш желал, чтобы на гравюре можно было различить «честно» (его любимое словечко), шапочку и пелерину слонихи, но иные зрители, побывавшие на ее последнем представлении (а затем присвоившие себе экземпляр афиши), отметили предусмотрительность полковника: изображение на афише походило на фото в полицейских документах.

В последнее утро жизни Мэри одни рабочие с кувалдами вбивали колья, другие равняли манеж — сорок два фута кругом центрального столба, воздвигнутого десятком подручных, напевавших, как во времена Дэна Райса:[5]«Раз, два, три — потянем».

Небо застили свинцовые облака, влажный воздух отдавал странным — ржавым и тяжелым — запахом; он тянулся из депо, в окружении которых Олсон казался крохотным. Городишко ютился в тени холма Уайлдвуд-Хилл, с кладбищем грузовых вагонов на вершине. Внизу, готовясь к параду, настраивал свои убогие инструменты оркестр, вдали высился громоздким силуэтом Ол-1400 — подъемник Маккеннонской железной дороги; он снимал с рельсов поезда и перемещал их, беспомощных, как черепашата, в груду металлолома.

Парад устраивали с целью показать зрителям для затравки кое-что бесплатно, подогреть их интерес перед вечерним представлением. В 11 оркестр был готов и пустился в путь:

неприбранные и унылые отпрыски Нэша, а с ними двое объездчиков лошадей и погонщик мулов, худо-бедно владевший тромбоном. Далее следовали три акробата; обыкновенно они крутили сальто на дороге, но теперь из-за грязи взгромоздились на повозку, запряженную козлами: выстраивали пирамиды то в задней ее части, то в передней. И замыкали процессию те самые восемь забавных клоунов, в 11 утра не склонных еще к забавам, поскольку их терзало философское недовольство миром.

Единственным заслуженным среди них был Скуонк. Когда в начале сезона они с Мэри присоединились к семейству Нэш, полковник честно написал в программках: «Джозеф Бейлз, изображает прославленного клоуна Скуонка», — но Бейлз, высокопрофессиональный артист, обучавшийся в Европе, пришел в ярость. «Нэш, — заявил он, скрестив руки на груди, — я высокопрофессиональный артист. Как нас учили в Европе, ни один артист ни за что на свете не раскроет своего имени». Пантомима, фальшивый нос, гигантские туфли, сказал он, являются не чем иным, как элементами поэтики (в Аристотелевом смысле), призванными беречь тайну. Ссылка на Аристотеля прозвучала внушительно, но осталась несколько непонятной, однако Нэш против воли, только чтобы утихомирить темпераментного Бейлза, стал обозначать его отныне кратко: «Скуонк».

Тем утром Скуонк (в дурацком колпаке и дутом комбинезоне в клеточку с тремя желтыми помпонами спереди) казался вездесущим: изображал трубу, надувал щеки, как тромбонист, грозился разрушить пирамиду акробатов. Он бесцеремонно вмешивался в выступления других клоунов, подогревая этим толпу, но зля коллег, глядевших на него волком. Скуонк продемонстрировал им, как следует подбрасывать ребенка: вскинул вверх и поймал маленькую девочку и вручил ей маргаритку, и все это одним плавным, бережным, прозрачным как стекло движением.

Но это были цветочки, ягодки еще ожидались. Двое ведущих во главе парада остановились и замахали руками, словно стараясь заблокировать прилегающие улицы. Они кричали: «Придержите лошадей! Слон идет!»

Толпа почтительно притихла, ожидая явления невероятного зверя: такие удивительные праздники случались не чаще раза в год. Иным эти диковинки — хобот, бивни, гигантские уши — представлялись доказательством существования милостивого и премудрого Господа. К той же идее склонялся и Нэш; ему случалось иногда заглядывать Мэри в глаза и зреть там поразительный ум. Скуонк выписал для него цитату, чтобы

использовать в разговоре: «По словам графа Жоржа Леклерка Бюффона, прославленного французского натуралиста, слон по уму настолько близок к человеку, насколько материя может быть близка духу».

Отсюда предостережение насчет лошадей. Слоны терпят, когда их приковывают к грузовику, погоняют шестом с крюком, принуждают стоять на задних ногах и трубить. Но лошадей они не терпят. Один вид лошади вызывает у них атавистическую ярость. Глаза заволакивает пелена, словно в мозг проникло слоновье бешенство.

Когда безопасность, как будто, была обеспечена, Скуонк, забыв о своих ужимках, размашистым шагом вышел вперед. Стало заметно, что он не зря несколько лет обучался в Европе. Его неподвижность, наклон головы, энергичный и притом изящный жест указывали на то, что за спиной у него находится поразительное произведение искусства, известное как слон. Толпа зааплодировала, трепетно, но несколько неуверенно.

Мэри шествовала медленно, хобот держала вопросительным знаком и поводила им из стороны в сторону, когда ступит в грязь. На ней были шапочка в блестках и длинная пелерина с гофрированным воротником шекспировских времен. На ухе виднелся рубец — буква М, ее инициал (кражи слонов случались редко, но это было дорогое имущество). Наиболее образованные покровители цирка, увидев это снаряжение, а также букву М, тут же понимали, насколько уместно это имя. Пока земля содрогалась под величавыми шагами, они бормотали: «Королева Мария».

Бейлз дрессировал Мэри особым образом — ее не учили обрызгивать людей водой или удерживать на хоботе мяч. Он был более требователен, более взыскателен. Мэри танцевала балет.

В плакате Нэша упоминались увлекательные номера, исполненные ею для венценосных особ Европы (как и в послужном списке Бейлза — он ссылался на Карла II Испанского и Софию Греческую: ему было понятно, что выражение «венценосная особа» расплывчатое и публика может усомниться). Толпа, наблюдавшая парад, ждала балета, и, если бы все шло обычным порядком, Мэри изобразила бы для них простейшее па — реверанс и вечером зал, как всегда, ломился бы от зрителей. Это было неописуемое движение — большинство тех, кто наблюдал парады прежде, делились со своими друзьями: «Это нужно видеть, просто видеть».

Увы, в 11.15, когда городские куранты пробили четверть часа, по узкому проулку между Вторым национальным банком и скобяной лавкой Танненбаума на парад приехал Тимоти Фелпс,

генеральный директор Маккеннонской железной дороги. Он прибыл верхом, самым изысканным манером, на своем английском скакуне Джаспере.

То, что случилось потом, столь ужасно, просто и невероятно, что, описывая это, нельзя полагаться на память местных жителей. Собственно, эта история наверняка откочевала бы в область фольклора, не окажись поблизости любитель с кинокамерой.

«Пате Прево», отличная профессиональная камера, имела один изъян: когда она падала на что-то твердое, неэкспонированная пленка в ней иногда воспламенялась. В тот день оператор-любитель по имени Александр Виктор экспериментировал с «безопасной» ацетатной пленкой. Он путешествовал по железным дорогам американского Юга, пытаясь усовершенствовать оптический дальномер; в его фильмах катили бесконечные локомотивы и махали в камеру подсобные бригады железнодорожников. В тот день он сошел с поезда в Олсоне ради циркового парада, сулившего интересные динамичные кадры.

Александр Виктор начал крутить ручку камеры на тротуаре, как раз напротив проулка. И тут местные свидетели, все прочее вспоминающие туманно, обретают четкость взгляда; где бы они тогда ни находились, происшедшее видится им с той самой выигрышной точки. Их воспоминания вобрали в себя поцарапанный негатив, неровный ход и таинственное освещение любительского фильма. Мэри, словно магнитом притянутая к Джасперу и его всаднику, свернула влево, раскидывая во все стороны горожан, которые стояли между нею и ее целью. Фелпс с конем у кирпичной стенки набережной (при покадровом анализе сцены они выглядят как серое пятно) нервно переступали вперед-назад, неспособные принять единое решение; и вот Мэри (шапочка и пелерина на ней подпрыгивали при каждом шаге) надвинулась на них. Проворный изгиб плеча, словно Мэри потянулась почесаться о грубую кирпичную стенку, — обратное движение, медленное и вальяжное — и с лошадью и всадником было кончено.

И это был ужас. Но дальше (камера по-прежнему работала, жители Олсона пятнами цвета сепии пересекали передний план) Мэри, словно придерживая труп Фелпса, опустила переднюю ногу ему на спину и обвила хоботом шею. Следующее движение было плавным — так извлекают из бутылки с шампанским непокорную пробку.

На улицах происходило столпотворение, народ не знал, куда бежать; заключительные кадры фильма Александра Виктора: бегущий человек в котелке, крупным планом его жилетка,

кармашек для часов и наконец чернота.

Нэш, застрявший в грязи, не видел в точности, что произошло, но своим профессионально-отчетливым рыком попытался — безуспешно — призвать народ к порядку. Он видел, как выбежал вперед деревенский кузнец, выхватил из фартука пистолет и разрядил его в бок Мэри. Пули оставили на шкуре Мэри маленькие отметинки, она беспокойно хлопнула ушами, но не остановилась. И больше ничего.

Скуонк застыл посередине улицы, челюсть у него тряслась. Снял свою остроконечную коническую шляпу, наклонил голову. Прикрыл ладонью глаза, пока Мэри, его верная приятельница, приближалась и осторожно тянула хобот за яблоком, полагавшимся ей после парада.

Разговоры о том, что шоу должно продолжаться, были начаты покровителями цирка и подхвачены газетчиками, которым нравилось это выражение. Свернуть цирк — дело минутное, и Нэш знал в полдень, в час дня и в два, что представления вечером не будет. Он вернул Мэри в ее грузовой вагон и отрядил большую часть своих подчиненных ее охранять. Когда явилась группа людей из города, взволнованных, как мальчишки перед первыми в своей жизни танцами, и вооруженных винтовками, пистолетами и динамитными шашками, Нэш сам их остановил. Нэш ожидал их и весь день собирался с духом, чтобы солгать. Это была первая ложь, сознательно сказанная им публике.

— Слона так не убить, — заявил он.

Он не узнал собственный голос, такой властный и повелительный. Это было как чтение Книги Левита.

— Ни ружье, ни динамит не пробьют ему шкуру.

Олсонцы переглянулись. Они столкнулись с трудностью, но среди них были и признанные умники, и после недолгой заминки кто-то выкрикнул:

— Электричество!

Нэш покачал головой.

— Сам Эдисон попробовал однажды, и ничего не получилось. Только разозлил слона. — Вторая его ложь.

Послышался ропот; Нэш понимал, чего ожидать: неудовлетворенность и нетерпение нарастали. Один из горожан завел уже речь о том, что позвонит своему двоюродному брату во Фрейзер, у того сохранилась пушка времен гражданской войны — может, она еще годится в дело, но тут вмешался Нэш. Он сам не ожидал, что проявит себя таким циркачом, когда заявил:

— Джентльмены, мы сегодня же уладим это сами. Мы не покинем этот город, пока не уладим это дело публично, окончательно и наглядно.

С какой стати он добавил «наглядно», Нэш и сам не знал, но он должен был оправдать надежды людей, которые, уверившись, что Мэри так или иначе умрет, разбрелись кто куда, с потерянным видом держа в руках свои винтовки и пистолеты.

И полковник засел в своем вагончике, который стоял на латунных тормозных колодках в болотистой впадине рядом с грузовым вагоном Мэри. Нэш не имел понятия, что делать. Слониха кого-то убила — судя по всему, намеренно. Правда, сам он этого не видел и до конца не был уверен. Горожане требовали возмездия — их можно было понять. Когда он вспоминал, что отвечает за животное-убийцу, ему становилось не по себе. Но хуже всего было другое (оттого-то он и солгал горожанам): если убить Мэри, он не сумеет заплатить долги.

Финансы цирка представляли собой такую же загадочную и ядовитую смесь, как комбинация трав Уральских гор — ею торговцы недвижимостью имели обыкновение приправлять выжимку денатурата «Стерно», которой услаждали себя в долгие зимние вечера. Это были ссуды, выкуп собственных обязательств, продажа с последующим выкупом по получении дохода от контракта. Короче говоря, единственным, чем располагал Нэш, был контракт Скуонка и Мэри, так как он задолжал одному чикагскому банку восемь тысяч долларов, которые должен был выплатить частями в конце летнего сезона. Из них он успел вернуть полторы тысячи. Итак, свести баланс он теперь не мог, а ведь в его глазах финансовая ответственность была основой современной цивилизации. Он никогда не противопоставлял эту веру вере в природное благородство животных, и когда обе веры вот так теснили одна другую, это его расстраивало.

В три часа он позвал к себе в вагончик Джозефа Бейлза — посоветоваться, что делать. Бейлз вошел с опущенной головой, и, когда Нэш заговорил, — начал с того, что все еще верит в разум слона и собирался обсудить, не подвержены ли слонихи припадкам под влиянием течки, — Бейлз прервал его.

— Повесить, — сказал он.

— Прошу прощения?

Этот разговор, помимо воли Нэша, всплывал в его памяти многократно. Подробности стерлись, но общее ощущение ужаса осталось.

— Мэри совершила преступление, — сказал Бейлз. — Она заслуживает казни. Через повешение. Это будет поэтично.

Речь Бейлза состояла обычно из множества оговорок, связанных в одно предложение при помощи сарказма. В тот день его было не узнать. Он был сама решимость, человек, сделавший правильный выбор и уверенный в нем. Его узловатый, костлявый

палец указывал в окно. Там, на вершине холма, высился стотонный железнодорожный кран, похожий на виселицу.

Нэш потряс головой, но промолчал. Бейлз поднялся на ноги, взялся за дверную ручку и на ходу нахлобучил на голову шляпу. Спина его тряслась, плечи дрожали. Решившись, он шепнул:

— И это будет поэтично вдвойне, — в глубочайшем смысле, как поэтичное правосудие, — если мы назначим плату за вход.

Когда дверь закрылась, у Нэша на глазах выступили слезы. Во рту появился противный медный привкус, словно за щекой лежала монета.

В тот вечер на холм Уайлдвуд-Хилл явился весь Олсон в полном составе. Полностью были представлены также города Софтон, Баррос, Майерз и Кармел, то есть две с лишним тысячи зрителей, которые за неслыханную плату в два доллара получили право стоять среди остовов поездов и любоваться повешением слона.

Сам Нэш решил не присутствовать. При мысли о столь жестоком насилии над животным его сердце рвалось на части. Перед самыми сумерками он вернулся к Мэри, которая, закованная в цепи, стояла у себя в вагоне, и в последний раз заглянул ей в глаза. В них он увидел тот же ум и ту же доброту, что и всегда. Чем дольше он стоял, тем больше раскаивался в том, что вовлек в решение вопроса финансы. Улегшись в постель, он провел остаток вечера и ночь без сна.

Александр Виктор настроил свою кинокамеру, но толку не добился. Даже при керосиновых лампах, с отражателями и случайными вспышками, света не хватало; сквозь чад и дым над возбужденной толпой различались лишь смутные тени, подобие дикарского ритуала.

Уайлдвуд-Хилл представлял собой пологий склон протяженностью две сотни футов, где вились рельсы и тропа, которые упирались в кладбище допотопных поездов. По тропе весело взбирались мужчины, женщины, дети, выбирая самую удобную точку по сторонам железнодорожного тупика. Будка подъемника, испускавшая дым, была водружена на электроустановку размером с локомотив. Из будки, средней точки ее железного брюха, торчало что-то вроде механического хобота: мускулистый кран из стальных балок с тупым стальным крюком на конце.

В семь часов ворота вагона, где стояла Мэри, распахнулись; при свете факелов слониху повели вверх по косогору. Толпа, завидевшая ее издалека, разразилась радостными криками, но поступь слонихи была скованной и медлительной, круговая тропа

— длинной, и крики вскоре сменились негромкими разговорами.

Когда Мэри наконец приблизилась, можно было подумать, что она спокойно подойдет к подъемнику, но при виде толпы она застыла. Иные клялись, что она заметила стальной крюк, но, вероятно, они переоценили ум слона. В это самое время суток ее обычно вели на представление; да, на ней была шапочка и пелерина, да, ее встречала ликующая толпа. Но не было шатра. И еще настроение толпы — существо, живущее не разумом, а чувствами, должно было уловить его и испугаться.

Она отшатнулась от дорожки и повернула бы назад, если бы не тычки шестом. Но ничто на свете не могло заставить ее зашагать вперед, навстречу своей участи. Минуты текли, толпа разочарованно шумела, и вот помощь пришла с неожиданной стороны. Кто-то протиснулся сквозь строй униформистов. Это был Джозеф Бейлз, без циркового костюма. Без грима. Шерстяная куртка, поношенные рабочие брюки, котелок. Судя по неуверенной речи и походке, он успел угоститься в вагончике яблочной водкой. Он вытирал рукавом глаза; приглядевшись, можно было различить вокруг них сеть красных жилок.

Мэри тут же потянулась хоботом к своему другу, тот легонько ее похлопал. «Сюда», — произнес он и сделал несколько шагов к подъемному крану. Слониха последовала за ним, но вскоре остановилась; ласки, одобряющие слова были бессильны — она ни в какую не желала приближаться к крюку.

Бейлз попытался ей улыбнуться, но не смог. Едва толпа снова заволновалась, он умиротворяющим жестом раскинул руки в стороны ладонями кверху. А потом повесив голову, тяжко, безнадежно вздохнул.

Когда он поднял взгляд, это был — пусть не загримированный — клоун Скуонк, легкий и гибкий, как тряпочка. Он потихоньку скакнул в сторону, в другую, вперед, назад и указал на Мэри. В ней пробудилась выучка: она шагнула вперед, потом назад. Влево, вправо, повернулась вокруг своей оси. Публика громко зааплодировала: Мэри исполняла балет!

Па-де-де было основано на *«La Chauve-Souris Dorée»*[6] Пластикова, одном из тех редких произведений, что славят не любовь, а повседневную, зачастую незаметную привязанность между мужчиной и женщиной. Пока Скуонк исполнял «соде-л’анж», Мэри, неспособная, конечно, оторвать от земли все четыре ноги, откликалась совершенной арабеской: левую заднюю ногу вытягивала назад, правую переднюю — вперед.

Она не замечала, как над головой разворачивался в нужную позицию кран.

Скуонк завершил танец серией «ассамбль-сюр-ле-пуэн»:

подпрыгивал ноги вместе, поворачивался в воздухе, поднимался на цыпочки и снова подпрыгивал. Грация его представлялась неподражаемой, но Мэри вторила, переступая по кругу, похожая на троллейбус из двух соединенных вагончиков. И в качестве торжественного финала она, как тысячу раз прежде, изобразила идеальный реверанс: задние ноги почти перекрещены, передние согнуты, живот едва не касается земли, голова наклонена, как бы в мольбе.

И тут Скуонк выступил вперед и закрепил крюк на цепи вокруг ее шеи.

Мэри рванулась назад, но было поздно. Вдали, в недрах электростанции, заскрипел передаточный механизм. Мэри выпрямилась, отряхиваясь, как промокшая собака. Затем ее передние ноги оторвались от пыльной земли. Она переступала, балансируя, задними, тут где-то сорвался ремень, механизм оглушительно взвизгнул и отработал назад, но ненадолго; с безжалостной силой слониху снова повлекло вверх, задние ноги тоже оторвались от земли.

Мужчины, женщины, дети на кучах металлолома, остовах пассажирских вагонов и проржавевших цистернах забыли о веселье. Слоны рождаются не для полета, и тошнотворное зрелище бросало вызов естественному порядку вещей, как если бы в церкви раскопали окаменелые кости или в пустыне пошел дождь из соленой трески. Под чадящими лампами все затаили дыхание. Мощные ноги Мэри взбрыкнули в воздухе, в широко открытых глазах на миг отразилось понимание того, что происходит. Из вытянутого хобота вырвался полузадушенный трубный глас разочарования, и тело слона обмякло.

Никто не знает в точности, как долго висел слон над Уайлдвуд-Хилл. Фотограф, обученный делать ночные снимки, предлагал публике попозировать вместе с трупом — желающих не нашлось. Все стали требовать Скуонка, последовала суматоха, потом стало ясно: он исчез. Вероятно, он ретировался, как только заработал кран. Больше его никто не видел.

Прошел год. Потом другой. Семья Нэш продолжала работать, большую долю контракта Мэри и Скуонка выплатили наличными, затем добавляли понемногу каждый месяц. Торжественного финала в их представлениях теперь не было. Взамен Нэш завел дрессированного шимпанзе; наряженный в тогу, тот управлял колесницей, которую везли две таксы. Кроме того, в труппу был принят капитан Тибор из цирка Спаркса с группой морских львов — выпускников колледжа, по его словам. Нэш покорно занес это в новые афиши; может, это и казалось ему раздражающе нелепым,

но вслух он не сказал ни слова. Он по-прежнему держался того, что предлагает зрителям высоконравственное развлечение, хотя о длительности честной работы для американской публики более не упоминал.

Зимний сезон 1918 года семья пропустила. Нэш провел это время в одиночестве, сняв гасиенду в малонаселенной долине невдалеке от Лос-Анджелеса, Калифорния. Расставаясь с семейством, он туманно объяснил, что займется поиском новых талантов, связанных с киноиндустрией: вдруг какие-нибудь акробаты или укротители разочаруются в кино и захотят поездить по миру.

Но казалось, он сам себе не верил, и никто из родных не спрашивал в письмах, как идут поиски. После казни Мэри Нэш потерял себя. В Лос-Анджелесе и окрестностях он никого не знал, пейзаж счел однообразным и странным: акры оливковых рощ и цитрусовых, незнамо как выживающих в пустынном климате. Однажды он робко постучался в дверь к «Знаменитым актерам», но в секретариате его завернули, потому что он забыл фамилию человека, к которому шел. Остаток дня был потрачен на то, чтобы добраться на трамваях домой.

Раздумывая о цирке в кулинарных терминах (привычка, унаследованная от прежней профессии), Нэш приходил к выводу, что существует два вида аттракционов — сладкие и кислые. Сладкие — это здоровые развлечения, дающие ровно то, что обещано: трапеция, звери, клоуны. Кислые — это все, что основано на обмане. Резиновые муляжи в спирту, которые выдают за двухголовых младенцев. Розовый лимонад, а на самом деле вода, в которой клоуны постирали свои трико. Вроде бы чего стоило не пересекать границу между этими двумя мирами, но Нэш в чем-то все же пересек ее и сам скис.

В один из февральских дней, после полудня, в дверь постучали, оторвав Нэша от обычного утреннего бритья. Опасаясь, что это кто-то из коллег явился прервать досрочно его отпуск, Нэш глянул в замочную скважину. Но нет, перед дверью стоял незнакомец. Стирая со щеки пену, Нэш его впустил.

Лицо у незнакомца было потрепанное, обветренное, кожа красная, в морщинах, глаза вечно щурились, словно под ветром. Сколько ему лет, было непонятно. Нэш впустил его не колеблясь, главным образом из-за знакомой черной накидки и шляпы железнодорожного детектива.

Нэш, отвыкший от себе подобных, неуверенно предложил незнакомцу кофе, тот согласился и назвал себя: «Леонард Пелкин». Он объяснил, что состоял в штате железнодорожной полиции, но теперь ушел в отставку и работает частным

сыщиком.

Они устроились друг напротив друга у откидного, как в вагоне, столика в тесной, но хорошо продуваемой ветром кухоньке Нэша; за спиной у него открывался вид на долину. Пелкин не преминул им восхититься, пока отыскивал у себя в рюкзаке портфель.

— Разрешите задать вам несколько вопросов?

— Конечно.

Пелкин бережно вынул пачку фотографий четыре на пять. Словно раздавая карты в покере, он выложил их лицом вниз, правильным пятиугольником.

— Речь идет об убийстве, — произнес Пелкин. Он откашлялся, словно собираясь что-то добавить. Нэш кивнул, обозначая готовность помочь. Пелкин кивнул в ответ и отхлебнул кофе. Кофейной чашкой указал на фотографию. — Подозреваемые, — продолжил он.

Пелкин перевернул фотографии. Они ложились на стол каждая с уверенным хлопком.

Нэш на мгновение онемел.

— Это подозреваемые в убийстве? — спросил он наконец.

Пелкин кивнул.

— Узнаете кого-нибудь?

— Это слоны, — проговорил Нэш.

— Взгляните еще раз.

Нэшу этого не требовалось. Он был раздавлен: всплыла история, которую он уладил давным-давно, пожертвовав при этом частью своей души.

— Я знаю только, что это слоны. И вам это ясно так же, как мне.

Пелкин поднял вверх палец.

— Один слон, — сказал он. — Всего лишь один.

Пять фотографий были сделаны в разные годы, самые ранние — в полосах и пузырьках эмульсии. На каждой был запечатлен слон на ярмарке с аттракционами или в цирке; Нэш узнал вагончик организации «Селлз», транспарант Ринглинга и, наконец, провисшую крышу собственного шапито, с заплатами такими же неповторимыми, как хирургические шрамы. Так вершина горы вспыхивает под солнечными лучами.

— Мэри, — проговорил он.

— Можете указать, где вы ее видите?

— Вы серьезно? Это слон, который стоит перед моим шатром.

— А на других фотографиях — она?

Определить было трудно. В одном случае на слоне было что-то вроде диадемы, в других — ничего.

— Возможно.

— У нее были особые приметы?

— Что ж… Да. В ней было ровно двенадцать футов росту. Вы это имели в виду?

Пелкин сощурился.

— Двенадцать футов? Или двенадцать футов три дюйма?

— Нет, ровно двенадцать футов, согласно афишам. — Нэш выдохнул. — Но правда, однажды утром в Денвере мы намерили двенадцать футов три дюйма.

Пелкин шлепнул ладонью по столу, так что подпрыгнули ложки.

— Ага!

Он наклонился вперед и спросил, словно бы сдерживая волнение:

— Могло так быть, что в другие разы, когда вы ее измеряли, она горбилась?

— Не понимаю.

Пелкин расслабился. Перевел взгляд на вязы за окном.

— Еще какие-нибудь приметы не вспомните? — чуть слышно спросил он.

— Буква М на ухе.

— Такая? — Пелкин перебирал фотографии, пока не нашел нужную, и она с хлопком легла на стол. Это был крупный план слоновьего уха.

Нэш кивнул.

— Да, только у Мэри было М, а у этого слона — N.

Пелкин сдвинул брови, размышляя, вынул авторучку, потряс и добавил палочку.

— Такое М было у Мэри?

— Простите, у многих ли слонов уши помечены буквами? Может, у всех. Я видел вблизи только одного.

Вдруг нахлынула горечь, от которой Нэш так старался отделаться. Глаза Мэри, зачатки ума, которые он там увидел, то, как с ней предательски обошлись.

— Я имею в виду одного слона, — продолжал Пелкин. — У Ринглинга была одна слониха, по имени Номми, четыре года назад она убила человека. Сдается мне, они вывели ее ночью через задний ход, поменяли ей имя и продали вам.

— Это невозможно. — Тем не менее, Нэш стал одну за другой рассматривать фотографии. — Тут всюду Номми?

— На одной. Еще на одной слониха Селлза, ее звали Вероника. Она тоже совершила убийство, шесть лет назад. И имя, видите, если… — Пелкин неловко соединил два пальца буквой V, добавил палец другой руки и получил неправильное

N. Попытался выстроить правильное, но у него не получилось. — А прежде было Иония. Это та, что в диадеме.

Нэшу хотелось сказать, что Пелкин спятил, но слова как-то не выговаривались. Его мучило подспудное ощущение вины, словно обвинили его самого.

— Человек, которого Мэри растоптала в Олсоне, был на лошади. — Это рассуждение должно было если не оправдать Мэри, то, по крайней мере, объяснить ее поступок: нельзя требовать от животного, чтобы оно пошло против своей природы.

— Мэри ведь не то чтобы буквально растоптала Фелпса, так? — спросил Пелкин.

— Ну…

Пелкин начал убирать фотографии, и Нэш понадеялся, что это конец. Но нет, ему было предложено еще одно фото, шириной дюймов в восемь, а длины такой, что оно было свернуто в трубочку. Пелкин развернул его и прижал с обеих сторон кофейными чашками.

На снимке было сафари. В центре — пятеро мужчин в белых тропических шлемах, на коленях — спрингфилдские винтовки со снятым затвором. По сторонам — носильщики-туземцы из неизвестного Нэшу племени. Некоторые из них, в том числе и женщины, прятали от камеры лица, не скрывая при этом других частей тела, и Нэш рассматривал фото неприлично долго, прежде чем понял суть дела.

Пятеро охотников позировали со своими трофеями: один взобрался наверх, двое стояли по флангам, двое — на коленях — впереди. Трофеи состояли из полудюжины африканских слонов.

— Боже мой, — вырвалось у Нэша.

Вокруг лиц, плохо различимых на потертой фотографии, виднелись карандашные надписи. Пелкин указал на мужчину справа (винтовка небрежно свисала у него с плеча).

— Тимоти Фелпс, — пояснил Пелкин, — в далекой молодости. В 1889 году правление железной дороги Саутерн-Кресент организовало для своего руководящего персонала сафари в Африке. Ныне все пятеро мертвы. Убиты слонами. — Пелкин поднял кофейную чашку, фотография свернулась. — Одним слоном.

Нэш сам расправил фото. Глядел и глядел, пока все не понял. Уловив смысл, он взбодрился. Едва удержавшись от усмешки, он шепнул:

— Выходит, это семья Мэри?

— Что?

— Слоны, убитые на той охоте. Это ведь семья Мэри? Выходит, она мстила.

Наступила напряженная тишина, Пелкин мерил Нэша удивленным взглядом. Взглядом, не внушавшим приятных чувств. Нэшу вспомнилась разом вся кислая изнанка циркового ремесла. Таким взглядом смотрит самая низкопробная деревенщина, любители «русалки с островов Фиджи», танцев «не бей лежачего», заспиртованных младенцев, лимонада — и прочего убожества.

— По-вашему… — оскалился Пелкин, — по-вашему, слониха Мэри — гигант мысли, так что ли?

— Ну да.

— Смотрите. — Пелкин вновь указал на группу охотников. Слева, поодаль от товарищей, без ружья, сложив руки на груди, стоял Джозеф Бейлз.

— Ой! Как же так? — Нэш беспомощно смолк.

— Вам он известен как Бейлз, верно? Его зовут иначе. Он Баулз. Умные люди, когда меняют имя, берут похожее, чтобы откликаться даже спросонья. Баулз рассчитывал получить повышение, но не получил. Я слышал, на сафари он портил всем настроение, шумел по любому поводу, у костра часами рассказывал товарищам, какие они неумехи. После сафари его уволили. И он затаил злобу, Нэш. Насколько он озлился, никто не знал. Из тех, кто вынашивает планы мести, редко кто их осуществляет. Большинство успокаивается. Но не Баулз. Как бывает с иными лелеющими мстительные замыслы, он уехал и сделался цирковым клоуном. Последние двенадцать лет он заманивал своих противников в смертельные ловушки. Накануне прибытия вашего цирка в Олсон Фелпсу пришла телеграмма, где его приглашали прибыть верхом на парад и обещали чудесный сюрприз, — Пелкин тряхнул головой. — На мой вкус, не такой уж он вышел чудесный.

Нэш долго молчал. Он чувствовал, что от него требуются какие-нибудь слова, но какие именно? Детали мрачного замысла выплыли на поверхность: Баулз хочет реванша, Баулз становится цирковым клоуном, изобретает поэтический способ мести — при помощи слона-убийцы. Наконец он произнес:

— Аристотель.

— Что?

— Ему нравился Аристотель. — Нэш слегка покраснел.

Пелкин пожал плечами и написал на обороте одной из фотографий: «Аристотель».

— Не знаете, куда он мог отправиться?

— Почему он ее убил?

— Простите?

Без малейшего усилия Нэш восстановил в памяти сцену: цирковой вагончик, напротив стоит Бейлз, сдерживает слезы (или

даже плачет?) и предлагает повесить Мэри.

— Он говорил, она заслуживает казни — это будет справедливо.

— Тоже мне, спец по справедливости. Ну да. Он сделал свое дело, Нэш. Прежде он четырежды ухитрялся ее спасти. Четырежды бежал с ней под покровом ночи, менял ей имя и себе тоже. Но в этот раз он в ней больше не нуждался. Всех, кого хотел, он убил, не оставлять же свидетельство своего преступления.

— Хм-м, — Нэш кивнул. — Выходит, он ее предал.

— Конечно. — Как большинство детективов, служащих на железной дороге, Пелкин был немногословен, но, раскрывая тайны, не стеснялся с удовольствием описывать сопряженные с ними ужасы. — Они были сообщниками. Но она до последнего не знала, что он ведет грязную игру.

— Понятно.

Нэшу захотелось, чтобы Пелкин поскорей ушел; в нем зародилось странное беспокойное нетерпение, словно он ожидал из дальней поездки любимого человека. Хотелось распахнуть дверь, глянуть в конец подъездной аллеи и увидеть с сумками в руках самого себя. Он едва слушал Пелкина, выложившего еще пару фотографий.

— Вот этих людей, похоже, Мэри — или как ее тогда звали — убила в 1902 году. Насколько мне известно, с Баулзом она встретилась только два года спустя. Я бы сказал, недурная парочка. Сообщники достойные.

— Да-да, понятно, — нетерпеливо кивнул Нэш. Он слушал уже не Пелкина, а собственный внутренний голос. Мэри, животное, чьи инстинкты обратил себе на пользу дурной человек. Трагедия ее жизни, помноженная на злобные намерения Баулза. Занятый этими мыслями, он постарался как можно скорей поставить точку в разговоре. Он не был уверен ни в чем, кроме одного: ему нужно было остаться в одиночестве.

На завершение беседы не ушло и пяти минут. Пелкин убедился, что ничего полезного не узнает. Поспешно пожав Нэшу руку, он вышел.

Оставшись наедине с собой, Нэш извлек восковый карандаш и лист оберточной бумаги и начал записывать все, что помнил о Мэри. Он старался найти баланс добра (ее ум и обычно кроткое поведение) и зла (убийства людей, например). Ему вспомнились соленые дорожки на щеках Скуонка (если они там действительно были), их блеск, — и им овладела ярость. Подлые, чудовищные крокодиловы слезы, бесстыдство, какое поискать, мошенник, каких мало; надо же, обвел его вокруг пальца, словно сосунка.

Нэш писал чуть не до вечера, легонько перекусил и принялся переписывать все заново, составляя краткую поучительную пьеску для розыгрыша в небольшом цирке. Речь в ней шла о злодее-клоуне и обманутом им слоне. Завершив сочинение, Нэш понял, что нужно покупать другого слона, и сделал пометку: отправить телеграмму на цирковую биржу в Сарасоту.

С 1919 по 1924 год семья Нэш выступала как обычно; в хорошие времена расписание было плотным, в плохие приходилось мотаться по дорогам, гоняясь за удачей. Стержнем представления была пьеска Нэша — мелодрама, живописавшая злобные деяния клоуна Мокси и несчастья грустной слонихи Регины; она страдала припадками, во время которых случайно убивала людей. В конце пьесы ее выводили наружу и вешали: казнь была показана в виде силуэтов на грубом полотне шапито.

В афишах и речи перед представлением Нэш объяснял, что каждое слово соответствует действительности, в том числе повешение; он только изменил имена. Добавлялось также, что заключительная сцена разыгрывается в виде театра теней ввиду особой выразительности этого приема, что было правдой, но не главной: прежде всего, это был необходимый спецэффект. Нэш ни за что не повредил бы своей любимой слонихе: это была вторая, бережливая любовь. Новую слониху звали Эмили, и рекомендации у нее были настолько безупречные, что владелец любил повторять: с такими прямая дорога хоть бы и в сенат.

Спектакль вызывал интерес и будоражил зрителя, но это был не тот успех, на который надеялся Нэш. После представления, когда поднимали откидные полотнища шатра, толпа не спешила расходиться и некоторые зрители оставались поговорить с Нэшем. Ходили слухи (среди других участников труппы тоже), что Мэри совершила несколько убийств еще до встречи со Скуонком. Ну да, он ужасный человек, но она ведь тоже не без греха? И не является ли казнь справедливым воздаянием, даже если палачом был Скуонк? А Бейлз — он, выходит, скрылся? А если он потом еще кого-то убил? Почему же он ускользнул из рук правосудия? Нэш пытался ответить на вопросы, но чувствовал при этом, что зрители упускают главное, огорчался и уходил спать в свой вагончик.

О последнем спектакле записей не сохранилось, это было событие отнюдь не исторического значения. Он был необычным — страсти в слоновьих масштабах, благородным по замыслу, но мелодрама не тот жанр, что возвещает высокие истины. Ну да, слоны, как и люди, бывают одновременно умными и порочными. Не все создания природы отличаются добротой.

На пороге нового века историю Мэри объявили фольклором, надерганными обрывками истины, которые опровергались устной традицией, рассказами старожилов Олсона; все это ложь — говорилось теперь. Ходили слухи о любительском фильме (давно утраченном, поскольку «безопасная» пленка живет не дольше, чем нитраты) — тот самый «ложный след», на каких основываются городские легенды. Да, существовали афиши, где упоминалась слониха по имени Мэри, и спустя несколько лет была поставлена странная пьеса о повешении слона. Но это было всего лишь цирковое представление — не иначе, как народ принял вымысел за правду. Повешение слона? На факультете антропологии в университете штата Теннесси был составлен научный доклад о контаминации рассказов о линчевании и о слоне. Автор объяснял, что легенда возникла, поскольку требовалось дегуманизировать жертвы или (противоположный вариант) — пробудить ярость в тех людях, которые не шевельнут и пальцем ради защиты ближнего.

Когда пытаешься оглянуться в прошлое и проанализировать его честно, трудно бывает понять, где сказка, где реальность, где жуть, а где путаница.

Однако недавно история получила продолжение: Уайлдвуд-Хилл, давно уже окруженный синей оградой и накрытый брезентом Суперфонда, был продан своим владельцем, нефтехимическим синдикатом, который унаследовал его от ныне не существующей Маккеннонской железной дороги. Местность стали готовить к очистке от вредных отходов, и прежде всего пробили шурфы, чтобы определить, как глубоко проникли жидкие химикалии.

В десяти ярдах от конца колеи, под грудой железнодорожной техники (шести ее поколений), находится яма в двадцать футов шириной и столько же глубиной; почти столетие назад отсюда была вынута земля и сразу же засыпана обратно. В центре, среди корней и сорняков, камешков, стеклянных и металлических обломков, лежат слоновьи кости.

На облепленном грязью, обтянутом высохшей плотью скелете поблескивает цепь из нержавеющей стали; имеется и саван: в свое время, предположительно, красный, роскоши — опять же предположительно — королевской, украшенный гофрировкой; ныне же он истлел и по цвету сравнялся с землей.

*Примечание: Этот рассказ не был бы написан, если бы не знакомство автора с книгой Чарльза Эдвина Прайса «День, когда повесили слона».*

*перевод Л. Бриловой*

# ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ
# А. М. Хоумз

Моя жена — она врач — больна. И вообще может умереть. А началось все внезапно. В выходные мы выехали на природу; сначала сходили с друзьями в кино, потом ели пиццу и вдруг — эта боль.

— Мне понравился эпизод, когда он бросается на женщину с ножом, — говорит Эрик.

— Так ей и надо, — замечает Энид.

— Прошу прощения, — извиняется жена, вставая из-за стола.

Через несколько минут я нахожу ее на дорожке — она стоит, согнувшись пополам.

— Как будто что прорывается изнутри.

— Может, попросить, чтобы нас рассчитали?

Она глядит на меня как на ненормального.

— Жене что-то нездоровится, — объявляю я, вернувшись к столу. — Придется ехать.

— Нездоровится? Но ведь с ней ничего серьезного, правда?

Эрик и Энид спешно выходят, а я жду, пока выпишут чек. Друзья подбрасывают нас до дома. Я отпираю входную дверь, жена отталкивает меня и мчится в ванную. Эрик, Энид и я стоим в гостиной и ждем.

— Как ты, в порядке? — кричу я жене.

— Нет! — отвечает она.

— Может, ей лучше в больницу? — предлагает Энид.

— Врачи не обращаются в больницу, — говорю я.

Жена — врач, оказывает экстренную медицинскую помощь. Весь день она на работе, собирает пациентов по частям, ну а потом возвращается домой, ко мне. Так что я совсем не из тех, кто привык о ком-то заботиться. Я — тот, кто вечно балансирует на грани.

— Если что — звони, — говорят Эрик и Энид, уходя.

Она лежит в ванной на полу, прижавшись щекой к белой плитке.

— Ничего, пройдет, — успокаивает она сама себя.

Я подкладываю ей под голову коврик и тихонько выхожу. Из кухни звоню знакомому врачу. Стою в темноте и разговариваю шепотом:

— Она лежит там, на полу. Лежит и все. Что делать?

— Ничего, — отвечает врач, даже слегка оскорбленный мыслью о том, что вообще что-то нужно предпринимать. —

Посматривай за ней. Либо все пройдет, либо случится что-то еще. Смотри и жди.

«Смотри и жди». Я размышляю о наших с женой отношениях. Мы давно уже не ладим. И приспособились жить в этой атмосфере, удушливой и уничтожающей — обоим любопытно, как далеко оно зайдет.

Я сажусь на краешек ванны и смотрю на нее:

— Что-то мне неспокойно.

— А ты успокойся, — отвечает она. — И нечего тут сидеть и пялиться.

Днем между нами произошла стычка, уж и не помню из-за чего. Помню только, что обозвал ее стервой.

— Я была стервой до того, как познакомилась с тобой, и буду ею еще долго после твоего ухода. Так что это не новость.

Я хотел сказать, что бросаю ее. Что вот, мол, она уверена, будто я никогда не уйду, потому и вытирает об меня ноги. Но я уйду. Мне хотелось сесть в машину и уехать. И поставить точку.

Ссора закончилась, когда она бросила взгляд на часы:

— Полседьмого. А в семь мы встречаемся с Эриком и Энид. Так что давай, надевай чистую рубашку.

Она лежит на полу, на щеке у нее отпечатался узор резинового коврика.

— Тебе как, удобно? — спрашиваю я.

У нее удивленный взгляд — как будто только осознала, что лежит на полу.

— Помоги, — с трудом поднимается она.

Ее губы, сжатые в узкую полоску, побелели.

— Принеси мусорное ведро, пакет, градусник, тайленол и стакан воды.

— Тошнит?

— Так, на всякий случай, хочу быть готова, — говорит она.

Всегда-то мы готовы. Вечная угроза всевозможных неприятностей — именно это нас и связывает, мы просто помешаны на том, чтобы предупредить все и вся. У нас всегда наготове ракетницы и огнетушители, портативные рации, надувной плот, небольшой генератор, сотня батареек всевозможных форм и размеров, тысяча наличными, запас туалетной бумаги и питьевой воды, достаточный, чтобы продержаться полгода. Во время поездок мы всегда берем с собой в ручную кладь дымозащитные капюшоны, протеиновые батончики, таблетки для очистки воды и большую пачку шоколадных драже.

Жена сует электронный градусник под язык; циферки ползут вверх — каждая десятая градуса отмечается сигналом.

— Тридцать восемь и шесть, — объявляю результат.

— Неужели температура? — недоверчиво спрашивает она.

— Жаль, что между нами все так плохо.

— Не так уж и плохо, — возражает жена. — Не жди слишком многого, вот и не разочаруешься.

Мы пытаемся заснуть; ее бросает то в жар, то в холод, она что-то там бормочет насчет «показаний к операции на брюшной полости», насчет «защитной фиксации и симптомов отдачи». Я никак не могу понять, это она про себя или про NBA.

— Невероятно! — жена садится в кровати прямая как палка и тут же сгибается пополам, морщась от боли. — Что-то так и рвется изнутри. Прямо как в фильме про пришельцев — вот-вот исторгну из себя нечто, выплюну наружу.

Она замолкает, потом переводит дух.

— И тогда все прекратится. Господи, кто бы мог подумать, что это случится со мной, да еще в субботу вечером!

— Может, аппендицит?

— Я уже думала об этом, но что-то сомневаюсь. Не те симптомы. Ни отсутствия аппетита, ни диареи. Я в самом деле была голодная, когда ела ту пиццу.

— Может, яичник? У женщин ведь много яичников?

— У женщин всего два яичника, — поправляет она. — Я уже думала — возможно, это синдром Миттельшмерца.

— Миттельшмерца?

— Отделение яйцеклетки, середина цикла.

В пять утра у нее уже тридцать девять и четыре. Она то обливается потом, то дрожит.

— Может, отвезти тебя домой, в город? Или до ближайшей больницы?

— Пожалуй, лучше так, чем на скорой. Подумать только: врач, доставленный на скорой, да еще с кислородной маской!

— Что ж, ладно.

Я одеваюсь, собираю вещи, прикидывая, что взять с собой: сотовый, записную книжку, ручку, что-нибудь почитать, пожевать, бумажник и карточку со страховым номером.

Мы быстро садимся в машину. Дольше медлить нельзя — состояние у нее явно нехорошее. Я гоню, выжимая семьдесят миль в час.

— Кажется, я умираю, — говорит жена.

Я подкатываю ко входу и помогаю жене выйти — она буквально виснет на мне. Машину я оставляю открытой, с работающим двигателем. Меня вдруг охватывает неодолимое желание бросить все и уйти.

В приемном отделении никого. На стойке регистратуры —

звонок. Я жму на него дважды.

Появляется женщина.

— Что у вас?

— Жене плохо, — говорю я. — Она — врач.

Женщина садится за компьютер. Вводит имя и номер удостоверения личности. Потом — страховой номер, температуру и давление.

— Боли сильные?

— Да, — отвечает жена.

Через несколько минут приходит врач, он надавливает жене на живот.

— Похоже на прободение, — говорит он.

— Чего? — спрашиваю я.

— Аппендикса. — И уже жене: — Дать вам демерол?

Она качает головой.

— Завтра на работу, у меня дежурство.

— А в каком отделении вы работаете?

— Экстренная помощь.

В палате по соседству кого-то рвет.

Приходит медсестра взять кровь:

— Барри Манилоу скоро будет. Он хороший хирург. — Медсестра снимает жгут с руки жены. — Мы называем его так, потому что он ну вылитый Барри Манилоу.[7]

— Не хотелось бы ошибиться, — говорит Барри Манилоу, прощупывая живот жены. — Вряд ли это аппендицит, да и насчет желчного пузыря тоже не уверен. Позвоню-ка рентгенологу — пусть сделает снимок. Согласны?

Она кивает.

Я отзываю врача в сторону:

— А ей здесь точно помогут? Может, перевезти в другую больницу?

— Ну, это же не пересадка почки, — успокаивает врач.

Медсестра приносит мне холодного лимонаду. Предлагает присесть. Я сажусь рядом с каталкой, на которой лежит жена.

— Хочешь, я заберу тебя отсюда? Вызову машину, и нас отвезут в город. В больницу получше.

— Не хочу я больше никуда ехать, — говорит она.

Вернувшись в палату, Барри Манилоу снова заговаривает с ней:

— У вас не аппендицит — все дело в яичнике. Геморрагическая киста; кровотечение и пониженный гематокрит.[8] Придется оперировать. Я уже вызвал гинеколога и анестезиолога — жду, когда придут. Сейчас перевезем вас наверх, в операционную.

— Скорей бы уж, — говорит она.

В коридоре я останавливаю Барри Манилоу:

— Вы можете спасти яичник? Она очень хочет детей. Просто раньше было как-то не до этого — сначала работа, потом я, теперь вот это.

— Сделаем все, что в наших силах, — отвечает врач, скрываясь за дверями с надписью «Только для персонала».

В приемной хирургического отделения никого; я сижу, листаю «Охоту и рыбалку», детский журнал, брошюрку про рак толстой кишки…

Не проходит и часа, как появляется Барри Манилоу:

— Яичник мы спасли. Вытащили кое-что размером с лимон.

— Лимон?

Врач поднимает руку, сжатую в кулак.

— Да, лимон. Правда, выглядел он как-то странно. — И пожимает плечами. — Мы отправили его в лабораторию на исследование.

Лимон, кровоточащий лимон, апельсин-королек… лимон, скисающий прямо в ней. Но почему они сравнивают опухоли с фруктами?

— Где-то через час ее привезут.

Когда я вхожу к жене в палату, она спит. Из-под одеяла торчит трубка, отводящая мочу в специальный мешочек. Жена подключена к кислороду и капельнице.

Я кладу руку ей на лоб. Она открывает глаза.

— Струйка свежего воздуха, — говорит она, берясь за трубку, подающую кислород. — Всегда было любопытно, что же при этом чувствуют.

Ей по капле вводят морфий, она сама может регулировать частоту капель. Переключатель у нее в руке, но она так и не нажимает на кнопку.

Я даю ей маленькие кусочки льда и ложусь рядом. А посреди ночи ухожу домой. И просыпаюсь утром с ее звонком.

— Цветы все шлют и шлют — завалили уже, — рассказывает она, — от больницы, от моих из неотложки, от клиники…

Врачи прямо как пожарные — когда свой попадает в беду, они точно с ума сходят.

— Катетер вынули, я сейчас в кресле. Уже пила сок и даже сама дошла до туалета, — гордо сообщает она. — Все такие предупредительные, прямо дальше некуда. Ну да и я просто идеальный пациент.

Я не даю ей договорить:

— Привезти тебе что-нибудь из дома?

— Чистые носки, тренировочные брюки, расческу, зубную

пасту, мыло для лица, радио, ну и, пожалуй, банку диетической колы.

— Тебя же оставили всего на пару дней.

— Ты спросил, вот я и отвечаю. Да, и не забудь выгулять собаку.

Через пять минут она перезванивает, глотая слезы:

— Знаешь, что у меня? Рак яичников!

Я выбегаю из дома. Когда вхожу в палату, там никого. Я ожидаю самую что ни на есть романтическую сцену: она в слезах прижимается ко мне и признается, как сильно любит, как ей жаль, что настали такие непростые времена, как я ей нужен, просто необходим, больше, чем когда-либо… Но кровать пуста. На секунду меня пронзает мысль: она умерла, выбросилась из окна, сбежала…

В туалете слышен шум спускаемой воды.

— Я хочу домой, — говорит она, выходя уже в верхней одежде.

— Цветы заберешь?

— Ну ведь они же мои. Как думаешь, все медсестры уже знают про то, что у меня рак? Не хочу, чтобы кто-нибудь знал.

Медсестра вкатывает коляску; втроем мы спускаемся в холл.

— Удачи вам, — напутствует она нас, загружая букеты в машину.

— Знает, — заключает жена.

Мы едем по скоростной дороге Лонг-Айленда. Я веду и одновременно набираю номер. Звоню нью-йоркскому врачу жены.

— Ей надо как можно быстрее показаться Киббовицу, — говорит врач.

— Как думаешь, я потеряю яичник?

Она потеряет все. В глубине души я понимаю это.

Вот мы и дома. Жена сидит в кровати, с собакой на коленях. Осторожно приоткрывает марлевую повязку — шрам кривой; такая неаккуратность оскорбляет до глубины души.

— Как думаешь, это можно исправить? — спрашивает она.

Утром мы отправляемся на прием к Киббовицу. Она снова на столе, ноги разведены и покоятся в держателях на стартовой позиции, в ожидании. До прихода врача ее успели опросить и осмотреть семеро студентов-медиков. Я их ненавижу. Ненавижу за то, что они говорят с ней, прикасаются к ней, а драгоценное время утекает. Ненавижу Киббовица — он вот уже второй час заставляет ее ждать, лежа на этом столе.

Она сердится на меня за то, что я раздражаюсь:

— Это их работа.

Появляется Киббовиц. Огромный, как игрок хоккейной

сборной, ведет себя грубо и бесцеремонно. Мне сразу же становится ясно, что жене он нравится. Она готова делать все, что скажет этот Киббовиц.

— Двигайтесь. Ближе, ближе, — говорит он ей, усаживаясь на стул между ее ног.

Она приподнимает попу и скользит вниз. Он осматривает ее. Заглядывает под марлевую повязку.

— Кривой, — отмечает он. — Одевайтесь и проходите ко мне в кабинет.

— Назовите мне конкретную цифру, — просит она. — Сколько выживает.

— Я с цифрами дела не имею, — отвечает он.

— И все же мне нужно знать.

Он пожимает плечами.

— Ну, процентов семьдесят, где-то так.

— Семьдесят?

— Семьдесят живут еще пять лет.

— А потом? — спрашиваю я.

— Потом для некоторых — все, конец, — говорит он.

— А что в итоге? — спрашивает жена.

— А чего вы сами хотите?

— Я хотела ребенка…

Такие вот непростые переговоры: каждая часть тела обсуждается.

— Я мог бы вынуть только один яичник, — говорит он. — После «химии» попробуете забеременеть, а когда родите, снова поборемся — вынем уже все остальное.

— А после «химии» беременеют? — спрашиваю я.

Врач пожимает плечами.

— Чудеса случаются… Вопрос в другом: вы не сможете вырастить ребенка, если умрете. Вам не обязательно решать прямо сейчас, сообщите мне через день-другой. А пока я закажу операционную на утро пятницы.

Он жмет мне руку:

— Приятно было познакомиться.

— Хочу, чтобы был ребенок, — говорит жена.

— Хочу, чтобы была ты, — говорю ей я.

И все, больше ни слова. Что бы я ни сказал, она поступит ровным счетом наоборот. Вот до чего мы дошли: злость, упреки, обвинения… Если что, не хочу потом оказаться крайним.

Она открывает дверь смотровой. И спешит по коридору за врачом, поддерживая живот с надрезом, свою рану.

— Удаляйте! — кричит она. — Удаляйте всё, черт с ним!

Врач стоит перед дверью другой смотровой, в руках у него

история болезни.

Он кивает.

— Вытащим через вагину. Яичники, матку, шейку, сальник, ну и аппендикс, если вы от него еще не избавились. Потом введем троакар и назначим химиотерапию — восьми циклов должно хватить.

Она кивает.

— Жду вас в пятницу.

Мы уходим. Я держу жену за руку, несу ее сумочку на своем плече — пытаюсь быть таким же заботливым и предупредительным, как и любой другой на моем месте. Она шипит и царапается — все равно что кошка, которую тащат к ветеринару.

— Почему они не говорят «вырежем»? Почему не скажут прямо: в пятницу мы вырежем вам то-то и то-то — так что будьте готовы?

— Хочешь, перекусим? — спрашиваю я у нее; мы идем по улице. — Может, закажем по супу? Тут рядом неплохое местечко.

Лицо у нее пунцовое. Я щупаю ей лоб. Она вся горит.

— У тебя жар. Ты сказала врачу?

— Это к делу не относится.

Потом, когда мы уже сидим дома, я спрашиваю:

— А помнишь наше третье свидание? Помнишь, ты спросила, каким способом я бы покончил с собой, если бы мне пришлось делать это голыми руками? Я сказал тогда, что разобью себе нос и вдавлю его прямо в мозг; а ты сказала, что голыми руками залезешь в вагину и выдернешь матку, швырнув ее через всю комнату.

— И что?

— Да нет, ничего, просто вдруг вспомнил. Разве Киббовиц не собирается вытащить матку через вагину?

— Вряд ли он швырнет ее через всю комнату, — заметила она.

Повисла пауза.

— Теперь, когда у меня нашли рак, тебе незачем оставаться со мной. Ты мне не нужен. Мне никто не нужен. Никто и ничто.

— Если я и уйду, то совсем не из-за того, что у тебя рак. И потом, я буду выглядеть законченным негодяем, все решат, что я попросту струсил.

— Не решат — я изображу из себя настоящее чудовище, без капли жалости, расскажу всем, что сама прогнала тебя.

— Так тебе и поверят.

Она вдруг пукает и в смущении убегает в ванную — как будто такое случается с ней впервые в жизни.

— Все, моя жизнь кончена! — кричит она, с силой захлопывая дверь.

— Подумаешь! Пернуть — это еще не самое страшное, — замечаю я.

Из ванной она выходит уже поспокойнее. Забирается в кровать и ложится рядом, дрожащая и измученная.

Я обнимаю ее:

— Хочешь заняться любовью?

— Ты имеешь в виду — последний раз перед тем, как я перестану быть женщиной? Перед тем, как превращусь в высохшую, морщинистую оболочку?

Так что мы не трахаемся, а ссоримся. Оба действия похожи — драматичные и иссушающие. Когда мы прекращаем, я откатываюсь от нее и, сжавшись, засыпаю на своей половине.

— Хирургическая менопауза, — произносит жена. — Прямо как приговор.

Я поворачиваюсь к ней. Она проводит рукой по волоскам внизу живота.

— Как думаешь, меня побреют?

Нет, я не могу оставить женщину, больную раком. Я не из таких. Вот только не знаю, что делать, потому что эта больная раком — настоящая стервозина. Надеяться, что, заболев, она взглянет на себя по-другому, примет недуг как возможность, необходимость измениться? Для жены не существует такого понятия, как связь между умом и телом, для нее существуют только наука и закон. Всё, кроме фактов, — сплошная ерунда.

В пятницу утром мы сидим в регистратуре, ожидая своей очереди; она объявляет очередной список требований:

— Завещание в верхнем левом ящичке столика. Если что пойдет не так, отключи приборы искусственного поддержания жизни. И чтобы никакой помпы. Пусть меня кремируют. Органы я завещаю. Отдай их все до единого, до последней капли.

И умолкает.

— Хотя… вряд ли я кому нужна такая… грязная.

Она произносит слово «грязная» с отвращением и досадой, как будто запачкалась, наделав в штаны.

Уже вечер, без малого восемь. Наконец, Киббовиц выходит сказать, что он закончил.

— Все настолько спеклось — прямо макароны с сыром. Времени ушло больше, чем я думал. Маточную трубу и стенку брюшной полости тоже захватило. Мы все вычистили.

Ее везут на каталке в палату — подавленную, обеспокоенную, сердитую.

— Почему ты не зашел ко мне? — упрекает она меня.

— Я все время сидел здесь, по эту сторону двери — ждал новостей.

Она делает вид, что не верит — наверняка в то время, как она лежала на операционном столе, я развлекался с секретаршей из соседнего отделения.

— Как ты?

— Как будто прилетела в чужую страну, а багаж потерялся.

Она морщится от боли. Я поправляю ей подушку, регулирую высоту койки.

— Что болит?

— Спроси лучше, что не болит. Болит все. Даже дышать больно.

Так как жена моя врач и ординатуру проходила в этой же больнице, мне выделили небольшую раскладушку — поставить в углу палаты. Я наклоняюсь развернуть раскладушку, и вдруг что-то случается со спиной — ее затапливает жгучая боль. Я осторожно опускаюсь на пол, хватаясь попутно за одеяло.

К счастью, жена спит.

Медсестра заходит проведать больную и видит меня.

— Что с вами? — спрашивает она.

— Такое и раньше случалось, — говорю. — Полежу немного, а там видно будет.

Медсестра приносит мне подушку и накрывает одеялом.

Заходят Эрик и Энид. Жена спит, я все еще на полу. Эрик стоит надо мной.

— Нам очень жаль, — шепчет он. — Мы уезжали за город, к родителям Энид, и узнали обо всем только сегодня.

— Господи, какой кошмар, как это внезапно, прямо гром среди ясного неба. — Энид подходит ближе к кровати жены. — У нее такое лицо, будто она ужасно сердится, даже брови нахмурены. Ей больно?

— Надо думать.

— Если мы можем чем-то помочь, дай знать, — говорит Эрик.

— Не могли бы вы выгулять собаку? — Я вытаскиваю из кармана ключи и протягиваю. — Она уже сутки сидит дома взаперти.

— Выгулять собаку… это мы можем, правда? — произносит Эрик, глядя на Энид.

— Мы наведаемся к вам утром, — говорит Энид.

— Ребята, пока вы не ушли… тут у нее в сумочке пузырек с перкоцетом… дайте две.

Ночью жена встает.

— Ты где? — спрашивает она.

— Прямо перед тобой.

Ее до того напичкали лекарствами, что в подробности она не вдается. Около шести утра жена открывает глаза и видит меня на полу.

— Опять спина?

— Ага.

— Рак покруче будет, — изрекает она и снова проваливается в сон.

Приходит уборщик со шваброй, и я буквально отдираю себя от пола. Пока стою, вроде ничего.

— Ты ходишь, будто у тебя кол в заднице, — замечает жена.

— Тебе чего-нибудь хочется? — я стараюсь быть внимательным к ней.

— Ага — поболей вместо меня, ладно?

Приходят несколько медработников проверить, не страдает ли пациентка от болей.

— Как вы себя чувствуете? Если по шкале в десять баллов? — спрашивает ее один.

— На пять, — отвечает жена.

— Это неправда, — возражаю я.

— В самом деле?

— Откуда вы знаете?

Приходит врач.

— А я вас помню, — говорит он при виде моей жены. — Мы с вами в одной школе учились.

Жена изображает подобие улыбки.

— Самая сообразительная во всем классе и вот, на тебе, — врач изучает историю болезни. — Рак яичников и вы… это чудовищно!

Жена сидит высоко в больничной койке; ее выворачивает в металлический лоток — ни дать ни взять ручная обезьянка, которую отравили. Рвет чем-то ярко-зеленым, прямо как в фильмах про инопланетян — эта жидкость вообще ни на что не похожа. Тед, ее начальник, смотрит как загипнотизированный.

В палату набилось полно народу — незнакомые мне люди, медперсонал, одноклассники жены, ее коллеги по ординатуре, парень, которому она пришила пальцы, какие-то родственники, которых я прежде и не встречал… Не понимаю, почему они не извинятся и не выйдут, почему не покинут палату? Все будто в первый раз видят, как человека рвет — уставились на мою жену, глаз не сводят.

Она не спит. Не ест. Не встает и не ходит. Она боится отойти от кровати, от этого лотка.

Я решаю повесить на дверь объявление. Прошу у старшей медсестры черный маркер и печатными буквами пишу: ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ.

Дверь открывают нараспашку. Входят с подарками, цветами, приносят еду, книги.

— Я видел объявление, но подумал — это для кого-то другого.

Я стираю зеленую жижу с губ жены.

— Хочешь, выпровожу их? — спрашиваю.

Я хочу выпроводить их всех до единого. Сама мысль о том, что эти люди претендуют на мою жену, на право веселить ее, отвлекать, беспокоить больше, чем я, сводит меня с ума.

— Может, попросить их уйти?

Она мотает головой.

— Нет, только цветы унеси. От них голова кружится.

Через час я снова выношу лоток. В палате все так же негде ступить. Я опускаюсь у ее койки на колени и шепчу:

— Я ухожу.

— Ты еще вернешься? — шепотом спрашивает она.

— Нет.

Она смотрит на меня непонимающим взглядом.

— Куда это ты уходишь?

— Ухожу.

— Принеси мне диетической колы.

Она так ничего и не поняла.

У меня сердце разрывается, когда вижу, как она сидит посреди койки в заляпанной ночной рубашке и не может попросить всех уйти, не может прекратить все это. К рубашке у нее прикреплен телефон, он несколько раз подает сигнал. Она отвечает. Она никогда не пропускает звонки. Представляю, как она говорит: «Господи, ну какого черта вы меня беспокоите — я занята, у меня рак!»

Через некоторое время я уже сижу на краю кровати и смотрю на жену. Она невероятно красива, стала гораздо более хрупкой и женственной.

— Дорогая?

— Что? — в ее голосе слышатся нотки сердитой птицы, упрятанной в клетку: «Кр-ра!». — Что? На что ты там смотришь? Что ты хотел? Кр-ра!

— Да нет, ничего.

Я обтираю ее прохладной губкой.

— Щекотно, — жалуется она.

— Почаще говорите ей, как она красива, — советует мне кто-то в коридоре. — Мужья, чьим женам сделали мастэктомию,[9]

должны постоянно напоминать своим любимым, что те еще очень даже привлекательны.

— У нее гистерэктомия,[10] — замечаю я.

— Все равно.

Через два дня из жены вынимают тампоны. Я сижу в палате, когда заходит врач-стажер с длинным пинцетом, похожим на щипцы, и вытаскивает из ее влагалища ярды марли и груду ватных тампонов — все запачканное кровью, как при боевых действиях. Прямо незадавшаяся шутка: про то, сколько народу поместится в телефонную будку — стажер все вытаскивает и вытаскивает.

— Что-нибудь еще осталось? — спрашивает она.

Стажер качает головой:

— Теперь там тупик, мы зашили вагину с одной стороны — получился рукав, который никуда не ведет. Не удивляйтесь, если заметите кровотечение — стежок-другой может разойтись.

Он сверяется с историей болезни и выписывает жену.

— Киббовиц прописал вам щадящий режим для тазовой области в течение полутора месяцев.

— Щадящий режим для тазовой области? — переспрашиваю я.

— В смысле не трахаться, — поясняет она.

Что ж, для меня это не проблема.

Мы дома. Она уже вторые сутки смотрит по кабельному фильмы про Холокост. И, хотя считает, что никогда не отождествляет себя с тем, что видит, все же вдруг узнает в лысых, голодающих военнопленных саму себя. Она кажется себе жертвой. Показывает на голый женский труп и говорит:

— Это я. Именно такой я себя и чувствую.

— Но она же мертва, — возражаю я.

— Вот именно.

От пресловутой бдительности жены не осталось и следа. Я взбиваю подушки, и тут из-под кровати выкатывается бейсбольная бита.

— Унеси ее в кладовку, — просит жена.

— Что так вдруг? — удивляюсь я, снова загоняя биту под кровать.

— К чему спать с бейсбольной битой под кроватью? К чему вообще суетиться, когда рак?

Во время перерыва между просмотром «Списка Шиндлера», «Холокоста» и «Скорби и сострадания» она жалуется:

— Мне недостает моих органов. А вдруг из одного удаленного яичника суждено было появиться на свет кому-нибудь гениальному? Вдруг этот человек придумал бы лекарство от

болезни, ну, или совершил какое другое открытие? Мы так и не узнаем, кто там был. Они — мои дети, которых я потеряла.

— Мне очень жаль, прости.

— За что же это? — нападает она.

— За все.

— В тридцать восемь раком не заболевают. Подхватывают болезнь Лайма[11] или там аппендицит. Изредка, в других странах, в этом возрасте рожают сиамских близнецов. Но только не рак.

Посреди ночи она просыпается и откидывает одеяло:

— Не могу дышать, аж вся горю. Открой окно — жарко. Господи, до чего же жарко.

— А знаешь, что с тобой происходит?

— О чем ты?

— У тебя же приливы.

— Вовсе нет, — мое предположение как будто оскорбляет ее. — Они так быстро не начинаются.

Начинаются.

— Отодвинься от меня, уйди! — срывается она. — Мне неприятно, когда ты рядом, — даже температура поднимается!

С понедельника — курс химиотерапии.

— Я облысею? — спрашивает жена медсестру.

— Большинство женщин покупают парик заранее, — отвечает медсестра, подключая жену к чудодейственному раствору.

Я боюсь, что перестану любить лысую жену. Просто не представляю ее без волос.

Одна из женщин, с красным тюрбаном на голове, придвигается ближе и шепчет:

— Муж говорит, я выгляжу как порно-звезда.

И подмигивает. У нее ни бровей, ни ресниц — ничего.

Мы идем покупать парик. Жена пробует модели всевозможных форм и цветов. В парике она выглядит мужиком, вырядившимся женщиной хохмы ради.

— Может, волосы все же не выпадут? — надеется она.

— Ничего страшного, — говорит ей продавщица. — Страховка предусматривает и это. Попросите вашего врача выписать рецепт на волосяной протез.

— Я сама врач, — говорит жена.

Продавщица смущается.

— Вот этот ничего, — говорит она, помогая жене надеть очередной парик.

Мы уходим с покупкой. Но парика я так и не вижу. Дома жена сразу же засовывает его в кладовку.

— Я похожа в нем на Линду Эванс из «Династии».[12] Ну не

могу я надеть его, не могу, — жалуется она.

У нее начинает зудеть кожа головы. И ей больно прикасаться к волосам.

— Как будто меня кто схватил за волосы и тянет что есть силы.

— Это волосы вот-вот выпадут. Все равно что мина замедленного действия. Сначала тикает, а потом взрывается.

— Ты что, врач? С каких это пор ты знаешь про рак, менопаузу и прочее?

К утру волосы начинают выпадать. Они валяются по всей подушке, по всему полу в ванной.

— Да ну что ты, не выпадают у тебя никакие волосы, — убеждает ее Энид, когда мы встречаемся с друзьями за ужином.

Энид протягивает руку к голове моей жены, прикасается к волосам, поглаживая их, — как будто утешает. На ладони остается полно волос — она вытащила их из головы жены. Энид предпринимает отчаянные попытки прикрепить волосы обратно, она похлопывает по голове, будто хочет вернуть их на место.

— И чего я волновалась насчет того, побреют меня внизу живота или нет? Вон, теперь волосы утекут в канализацию все до единого.

Она выглядит как крыса. Ее будто пожевали и выплюнули, пытались убить электрическим током, но не смогли. Через четыре дня она почти совсем лысая.

Жена стоит передо мной нагишом.

— Сними меня для истории.

Я снимаю. И отношу пленку в то самое фотоателье, где в витрине надпись: «Без цензуры».

Я даю жене бейсболку, чтобы она надевала ее на работу. Каждый день она уходит, она не пропускает и дня, что бы ни случилось.

А вот я работать не в состоянии. С тех пор, как все это приключилось, работа для меня как будто не существует. Все дни я занимаюсь лишь тем, что держу в себе чувства, храню ощущения.

— Ну я же не виновата, — говорит она. — Чем, черт возьми, ты занимаешься весь день, пока я в больнице?

Прихожу в себя.

Жена носит бейсболку с неделю, потом берет бритву, сбривает последние неряшливые клочки волос и идет на работу так: без шляпы, без парика — абсолютно лысой.

С голым черепом она выглядит какой-то агрессивной.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашиваю я по вечерам, когда она возвращается.

— Никак.

— Как это никак? Из чего же ты сделана?

— Из стали и дерева, — весело бросает она.

Перед сном жена рассказывает мне кое о чем:

— Это случилось в самом деле, как раз по дороге в больницу. На тротуаре я нечаянно налетела на кого-то. Сказала: «Прошу прощения», — и пошла дальше. Человек побежал за мной: «Простите, э, подождите… Вы выбили у меня из рук расческу. Вернитесь и поднимите ее». — «Что? — переспросила я. — Мы столкнулись, я извинилась — разве не достаточно?» — «Вы выбили расческу специально. Вы… ты просто лысая стерва! Чертова лысая стерва!» Я развернулась и побежала за ним: «Ах ты, задница! Сумасшедший! Задница!» Раза четыре крикнула, наверно. Ему еще повезло, что остался в живых, — заключила она.

Мне кажется, жена потеряла рассудок. По мне, так это ей повезло, что тот тип не прибил ее.

Она встает на кровати во весь рост, нагая. И принимает позу как какой-нибудь культурист. «Человек-Рак, — она напрягает мышцы, строя из себя нового супергероя. — Человек-Рак»!

Слава богу, страховка у нее что надо. Когда приходит счет за операцию, там все расписано по пунктам. Они берут отдельно за каждый удаленный орган. Яичник — семь тысяч, аппендикс — пять тысяч, всего — семьдесят две тысячи.

— За какой-то день работы, — говорит жена.

Мы лежим в кровати. Я — рядом, читаю газету.

— Хочу на необитаемый остров — чтобы там никого не было. И не возвращаться, пока все это не закончится, — говорит она и смотрит на меня. — А ведь это никогда не закончится — ты понимаешь? У меня не будет детей, я умру.

— Ты это серьезно?

— Да.

Я тянусь к ней.

— Не надо, — говорит она. — Лучше не напрашивайся.

— Да я и не думал. Просто я люблю тебя.

— Что-то не заметно, — говорит она. — Меня вообще сейчас ни к кому не тянет. Даже к себе ничего не чувствую.

— Но когда-нибудь мы с тобой?..

— Не знаю.

— Почему ты меня отталкиваешь?

— Я пытаюсь оправиться от удара, — возражает она.

— Но уже полтора месяца прошло.

У нее плохие анализы крови. Каждый вечер в течение пяти дней я колю ей нупаген — он повышает уровень белых кровяных

телец. Она учит меня, как приготовить раствор, как ввести иглу в мышцу ноги. Каждый раз, делая укол, я извиняюсь.

— Извинить? За что? — удивляется она.

— За то, что делаю тебе больно.

— А, ерунда, — отмахивается она, выбрасывая использованную иглу.

Во сне она откатывается от меня подальше. Она видит странные сны.

— Мне приснилось, что я со своим бывшим парнем, он превратился в черную рабыню, взобрался на меня и пристроился между ног — какая-то лесбийская фантазия с элементами подчинения.

— Обними меня, — прошу я.

Она смотрит на меня возмущенно.

— Ну что за настырность? Почему ты вечно просишь о том, чего я не могу сделать, чего не могу дать?

— Не можешь обнять?

— Не могу.

— Это может каждый. Вон, даже швейцар может обнять меня.

— Ну так у него и проси, — парирует она. — Надо выходить замуж за кого-нибудь, кто как цветок в горшке — ни о чем не просит.

— А поливать?

— Совсем чуть-чуть — пусть будет кактусом или орхидеей.

— Не очень-то гуманно с твоей стороны, — замечаю я.

— Не вижу никакого резона быть гуманной.

К этому мне следует прислушаться. Однако она говорит, а я не слушаю. Я просто не верю ее словам.

На ужин с Эриком и Энид я отправляюсь один.

— Странно-то как, — удивляются они. — Вроде бы болезнь должна смягчить ее, научить ценить заботу других. Вроде она должна задуматься о том, как проживет оставшееся ей время. А что она говорит, когда ты спрашиваешь? — хотят знать Эрик и Энид.

— Ничего. Говорит, что ничего не хочет, ни в чем не нуждается и ничего не желает. Еще говорит — ей нечего дать другим.

Эрик и Энид качают головами.

— И что ты будешь делать?

Я пожимаю плечами. Ведь так оно было и раньше, еще до болезни. Вот о чем важно помнить — она всегда себя так вела, сейчас все лишь обострилось.

Через несколько дней звонит одна знакомая; мы иногда встречаемся с ней и ее мужем.

— Привет, как ты? Как Том? — интересуюсь я. И слышу:

— Том — негодяй, каких мало! Разве ты не в курсе? Он бросил меня.

— Когда?

— Недели две назад. Я думала, ты знаешь.

— Да я что-то забегался — в общем, не слышал.

— Ну да ладно… Я, собственно, вот зачем: может, встретимся, сходим куда-нибудь пообедать?

— Конечно. Было бы неплохо.

За обедом она слегка флиртует, что очень даже приятно — давно уже никто не обращал на меня внимания. Под конец, когда принесли кофе, она решает выложить, зачем позвала меня:

— Ты, наверно, голову уже сломал: зачем это я позвала тебя?

— Ну, вроде того, — соглашаюсь я, хотя мне очень даже приятно сидеть и слушать за обедом о горестях других.

— Слышала, твоя жена больна… Наверно, вы нечасто спите вместе, а? Я тут подумала… Может, мы с тобой могли бы встречаться?

Я даже не знаю, что хуже: полное отсутствие какой-либо попытки соблазнить, упоминание болезни моей жены, сама идея о том, что из-за нездоровья жены я захочу переспать с другой или же поразительная тупость. Но все это чересчур.

— Так как мое предложение? Или я тебе не нравлюсь? Что, совсем-совсем? Может, ты считаешь меня ненормальной?

— Да нет, просто занят, — сказал я, не зная, что еще придумать. Я не хотел обидеть ее, но и не желал, чтобы она решила, будто я обиделся. — Очень занят.

Жена возвращается с работы.

— Сегодня поступил к нам один — уж больно тебя напомнил.

— А что с ним случилось?

— Из окна выпрыгнул.

— Насмерть? — спрашиваю.

— Ага, — откликается она из кухни, моя руки в раковине.

— То есть, когда его привезли, он был уже мертв? — Что-то в тоне жены наводит меня на мысль — уж не она ли убила его?

— Мертвее не бывает.

— И что же в нем напомнило меня?

— Да он с женой поцапался.

— Вот как?

— Стоит она в гостиной и не успевает даже договорить, как он р-раз — сигает в окно. Она даже не закончила свою мысль. Представляешь? Последнее слово осталось не за ней.

— А она попыталась остановить его? — спрашиваю.

— Не знаю, — отвечает жена. — Я полицейский протокол не

читала. Рассказала просто так — думала, тебе это покажется любопытным.

— Что будешь есть?

— Ничего, я не голодная.

— Но ведь надо что-то съесть.

— Зачем? У меня же рак. Я могу делать все, что в голову взбредет.

Нужно что-то предпринять.

Я покупаю билеты в Париж.

— Нам просто необходимо поехать, — убеждаю я жену и произношу волшебную фразу: — Случай экстренный, не терпящий отлагательств.

— Но ведь это ничего не даст. Не могу же я отложить болезнь хотя бы на день. Думаешь, прихожу с работы, а рака нет? Как бы не так — он повсюду со мной. Где бы мне ни случилось оказаться, я это я — больная раком. И в Париже у меня тоже будет рак.

Я отыскиваю карты, путеводители — все, что мы осмотрели и где побывали в прошлый раз, отмечено маркером. Я веду себя так, будто верю — если мы повторим путь, если вернемся туда, где нам было хорошо, жизнь сама собой наладится, в душу вернется покой и все встанет на свои места.

Я собираю вещи в дорогу: дымозащитные капюшоны, питьевая вода, фрукты, пачка шоколадных драже, журналы.

— Какой смысл? — недоумевает жена, бросая в чемодан пару-тройку вещей. — Можно думать, будто предусмотрел каждую мелочь, но все равно неизвестно, что ожидает впереди. Ты ничего не поймешь, пока не столкнешься с этим лицом к лицу.

Она указывает на кого-то на улице.

— Видишь того придурка — перебегает улицу прямо перед фурой? Почему у него нет рака? Он заслуживает того, чтобы умереть.

Она поднимает чемодан — слишком тяжелый. Выкладывает часть вещей. Оставляет капюшон на кровати.

— Если самолет заполнится дымом, я буду только счастлива, — говорит она. — Вдохну поглубже и умру первой.

Я запихиваю в свой чемодан оставленный ею капюшон, а еще ее дождевик, запасную пару туфель, бандаж для лодыжки, которая у жены иногда побаливает, многоразовые упаковки для льда — так, на всякий случай, — и витамин С. Поднимаю чемоданы и чувствую себя вьючным животным, настоящим шерпом.[13]

Французские таможенники не привыкли к лысым женщинам. Они обращаются к жене «сэр».

— Сэр, ваша очередь. Пожалуйста, перейдите сюда, сэр.

Жена стала мне мужем. И ей это нравится. Она улыбается. Ловит мой взгляд и тайком изображает супергероя-культуриста, напрягая мышцы.

— Человек-Рак, — произносит она.

— Какова цель вашего визита во Францию? — спрашивает чиновник. — Деловая поездка или туристическая?

— Примирение, — отвечаю я, глядя на нее, на этого Человека-Рака.

— Деловая поездка или туристическая?

— Туристическая.

Париж — это моя фантазия, последняя попытка спасти брак, себя, жену.

Мы регистрируемся в отеле, и я напоминаю жене о нашей прошлой поездке — шеф-повар порезался, да так, что чуть без руки не остался, но она спасла руку — ее пришили.

— Ты тогда прославилась. Помнишь, какой шикарный ужин они закатили в твою честь?

— Да уж… Но вообще-то мы собирались отдохнуть, — замечает она.

Служащий отеля проводит нас в номер; там на столе большая корзина с фруктами, бутылка шампанского и вода «Эвиан», а еще записка от консьержа с приветствиями.

— Не так уж и здорово, раньше было лучше, — она уже расстроена.

Открывает бутылку воды, отпивает. Ее губы кривятся:

— Даже вода какая-то невкусная.

— Может, дело не в воде, а в тебе? Вдруг это ты ошибаешься?

— Мы смотрим на вещи по-разному, — отвечает она, подразумевая, что права, что ошибаюсь именно я.

— У тебя настроение испортилось, или это все рак? — спрашиваю.

— А может, ты?

Мы выходим прогуляться, идем по мосту и спускаемся к Лувру. Можно ли желать чего-то еще более совершенного? Но я вдруг начинаю ненавидеть Париж, ненавидеть его красоту и изящество, приниженные скверными шутками жены. Я понимаю, что спасение невозможно, что не будет никакого примирения и освобождения. Все дрянь. Все ужасно и становится только ужаснее.

— Если ты так несчастна, почему до сих пор остаешься со мной? — спрашиваю я.

— Все еще надеюсь, что ты изменишься.

— Если я снова изменюсь, даже не представляю, каким стану.

— Что же ты не уйдешь, раз я такая стерва?

— В этом моя работа, мое призвание — остаться с тобой, чтобы ты смягчилась.

— Я совершенно не хочу смягчаться, ни на йоту.

— Знаешь, не в моих это привычках уходить, я приложил много усилий, чтобы быть там, где нахожусь сейчас, чтобы остаться.

Она спотыкается о булыжник мостовой. Я поддерживаю ее за локоть, но сам теряю равновесие. Она не успевает поймать меня, и я падаю, но тут же поднимаюсь.

— Попробуй оказаться на моем месте, — говорит она. — Я — врач, но ничего не могу поделать. Ни с собой, ни с тобой — такой вот я никудышный врач.

— Я теряю тебя, — говорю.

— Я и сама потерялась. Посмотри — похожа хоть?

— Ты ведешь себя как и раньше.

— Да, веду себя как и раньше, потому что приходится, потому что другие полагаются на меня.

— Я полагаюсь на тебя.

— Так не полагайся больше.

Мы идем садами Тюильри; вдоль всего пути стоят колеса обозрения, и самое большое колесо в мире — в самом центре.

— Давай? — предлагаю я и тяну ее к колесу.

— Не люблю я кататься.

— Да ведь это совсем другое. Похоже на карусель, только вертикальную. Ну же — будет весело!

Она залезает в кабинку. В кабинке ни ремней безопасности, ни предохраняющих поручней. Я ничего не говорю. Надеюсь только, что она не заметит.

— Интересно, как оно будет в самом конце? — вслух рассуждаю я, пока мы ждем, когда колесо закрутится.

— Я умру. Вот и весь конец.

Колесо начинает вращаться, нас поднимает вверх и переносит через самую высокую точку. Мы летим, парим; чем выше, тем шире становится панорама города. Зрелище захватывающее; мы оказываемся выше, чем я думал. Да и движемся быстрее. В любом аттракционе бывает момент, когда кажется, что тебя уносит слишком быстро, слишком высоко, слишком далеко или слишком размашисто, и ты вот-вот распрощаешься с жизнью.

— Никогда еще я не была так несчастна, — признается жена, когда мы приближаемся к верхней точке. — И причиной тому не только рак — до болезни я чувствовала себя так же. Вдвоем нам приходится несладко. Мы не уживаемся, мы не подходим друг другу. Ты согласен?

— Да, — говорю я, — в самом деле не подходим. Эта наша несовместимость настолько полная, что немыслимо с этим что-либо поделать.

— Мы застряли, — говорит она.

— Еще бы!

— Да нет, я про колесо. Колесо не двигается.

— Не застряли, просто оно остановилось. Так и должно быть.

Жена начинает плакать.

— А все ты. Ненавижу тебя! И все равно приходится терпеть твое присутствие. Каждый день ты маячишь у меня перед глазами.

— Почему приходится? Не хочешь — не терпи.

Она перестает плакать и смотрит на меня:

— Что ты собираешься сделать — прыгнуть?

— Сколько бы нам, тебе и мне, ни осталось прожить, мы не должны влачить жалкое существование. Нельзя, чтобы все так и продолжалось.

— Можно покончить самоубийством вместе, — говорит она.

— Не лучше ли разойтись?

Я веду себя как истинно взрослый человек, хотя обычно на такое не способен. Мне страшно при одной мысли о том, что я останусь без нее, но и по-другому не лучше. Колесо трогается.

Я привез жену в Париж, чтобы между нами все наладилось, но вдруг мне отчаянно захотелось оказаться как можно дальше от нее и никогда не заговаривать об этом снова. Даже если она будет при смерти, все равно не перестанет грызться со мной. Меня охватила паника, стало нечем дышать. Я почувствовал необходимость выбраться.

— Когда оно закончится?

— Может, скажем друг другу «до свидания»?

— А что потом? У нас ведь билеты на оперу.

Я не могу признаться ей, что ухожу. Придется улизнуть тайком, уйти на цыпочках, пятясь задом. Я должен все устроить сам.

Мы молчим. Висим между небом и землей. Нам не о чем больше говорить. Когда кабинка подплывает к земле, тишина становится еще более ощутимой.

В уме я строю план. По правде говоря, понятия не имею, что буду делать. Весь день я при каждом удобном случае обналичиваю дорожные чеки, снимаю деньги с кредитной карты — карман у меня набит, там валюты на пять тысяч долларов. Я хочу уйти, не оставляя следов, хочу с честью выпутаться из любого затруднения, в какое могу попасть. Меня охватывает истерия, и в то же время голова идет кругом.

Хотя для ужина и рановато, по дороге в оперу мы заходим поесть.

Я решаю действовать сразу после того, как подают кофе.

— Надо же, — спохватываюсь, ощупывая свои карманы, — очки забыл.

— Правда? — сомневается жена. — А мне показалось, ты захватил их, когда мы выходили.

— Наверно, в номере остались. Ты иди, я тебя догоню. Сама знаешь, терпеть не могу, когда ничего не вижу.

Она забирает у меня один билет.

— Тогда поторопись. Терпеть не могу, когда ты опаздываешь.

Это самый смелый шаг в моей жизни. Я возвращаюсь в номер и собираю сумку. Я решаю уйти. Собираюсь улететь. Может, никогда и не вернусь. Начну все сначала, другим человеком, который хочет жить; никто меня не узнает.

Беру сумку с кровати, и тут у меня подгибаются колени. Я чуть не падаю. Дергаю сумку, пытаюсь шагнуть с ней в руках — слишком тяжелая. Придется оставить. Придется оставить все. Я бросаю сумку, но все равно падаю, складываясь, и чувствую боль — она распространяется, разливается горячими и холодными волнами, как вода — по всей спине, сверху и до самых ног.

Лежа на полу, я думаю, что, если сохраню неподвижность, если снова задышу нормально, боль утихнет. И вот я лежу, ожидая, пока паралич пройдет.

Я боюсь, что он пройдет. Но ведь она не оставляет мне выбора, вечно отказывая в близости и беседах, этих жизненно важных вещах. И вот в чем загвоздка — несмотря ни на что мне нужна именно она.

Стук в дверь. Я знаю — это не она, она бы так быстро не вернулась.

— Entrée,[14] — отвечаю.

Горничная открывает дверь, в руке у нее табличка: «Просьба не беспокоить».

— Ой, — вскрикивает она, видя меня на полу. — Вам вызвать врача?

Я не уверен, о ком она: о моей жене или о враче, о другом враче, не о ней.

— Нет.

Она берет со своей тележки полотенце и подкладывает его мне под голову, достает из шкафчика одеяло и накрывает меня. Откупоривает бутылку шампанского и наполняет бокал, а потом слегка приподнимает мне голову, чтобы я мог сделать глоток. Идет к тележке, берет упаковку шоколадок, которые обычно кладут вечером на прикроватный столик, возвращается ко мне,

садится рядом и кормит меня шоколадом с шампанским, поглаживая лоб.

В номере звонит телефон, но мы не обращаем на него внимания. Горничная снова наполняет бокал. Снимает с меня носки и массирует ступни. Расстегивает рубашку и растирает грудь. Я немного пьянею. И только начинаю чувствовать себя лучше, как снова стук в дверь. Я еще не окончательно пришел в себя, но тело тут же узнает стук. И моментально сжимается. Спина снова каменеет, ноги ниже коленей теряют чувствительность.

— Я уже думала — случилось что-то ужасное. Звоню-звоню в номер… Ты почему не отвечаешь? Думала, руки на себя наложил.

Горничная извиняется и выходит. Она идет в ванную и снова смачивает прохладную махровую салфетку, которую потом кладет мне на лоб.

— Что ты делаешь? — спрашивает жена.

Мне нечего сказать.

— Кончай строить из себя мумию — сколько раз уже видела. Что ты делаешь? Задумал сбежать, да струсил? Не молчи же!

Заговорить — значит продолжить; на мгновение я будто немею. Я все равно что растение в горшке, однако жена и сейчас недовольна.

— Он парализован, — говорит горничная.

— Ничего он не парализован — я его жена. И я врач. Случись с ним что серьезное, я бы уже знала.

*Перевод О. Дементиевской*

# ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОВИНЦИИ
# Шейла Хети

С самого своего приезда в город человек искал себе какую-нибудь славную девушку, с которой можно было бы хорошо проводить время, но ни одна девушка не интересовалась им. Он не был уверен почему, но подозревал, что это было связано с его положением. Официантка, обслуживавшая его, назвала его бродягой, несмотря на то что жил он не на улице и у него было два костюма; и это только подтвердило его предположения.

Только когда его сосед по комнате узнал, отчего он так печалится, он позвонил девушке, с которой познакомился в парке, и пригласил ее к ним на ужин, состоявший из свинины и картофельного пюре с мускатным орехом.

Ее подтянутый зад, непостижимо вдруг оказавшийся чуть ли не на одном уровне с талией, наглядно демонстрировал, какая это славная девушка и как могло бы быть приятно проводить с ней вместе время. Еще у нее была милая улыбка, и она умела к месту сказать что-нибудь прелестное и забавное, и всякий раз, когда она смеялась, в окно проникал угасающий луч заходящего солнца. И, замечая все это, сосед продолжал ставить хорошую музыку, и к концу вечера человек и девушка уже танцевали вместе, и она смеялась ему в плечо — это был хороший знак.

Утром она, в рубашке из хлопка и вчерашнем белье, уселась на его кушетку и произнесла глубоким низким голосом:

— Я опаздываю на работу.

— Но сегодня же воскресенье.

— Ну и что, — она выглянула в окно, и пасмурная погода окончательно убедила ее. Поблуждав по комнате, она нашла свой костюм, оделась и застегнулась, а затем покинула квартиру, на прощание пожав плечами. Наблюдая, как она идет к автобусной остановке, человек понимал, что это не та девушка, которая согласилась бы хорошо проводить с ним время. Это было нелегко объяснить.

Днем, когда он прогуливался по улицам и пил теплую газировку из красного-белого вощеного стаканчика, воск на котором постепенно таял, с ним поравнялся мужчина с собакой, положил ему на плечо руку и беспечно спросил, что случилось.

Человек, еще не освоившись в городе, был немало удивлен: он не ожидал, что жители больших городов проявляют заботу друг о друге, но ответил, сказал:

— Да вот, женщине, которая ночевала у меня сегодня, я вроде

бы понравился, но утром она ушла, не собираясь больше со мной увидеться.

— Я знаю, как это бывает. Я так и подумал, по твоему обеспокоенному выражению лица, что это из-за женщин. Тебе бы не мешало прийти сегодня вечером туда, где я работаю, потому что там, где я работаю, много милых дам.

— А где ты работаешь?

— В танцевальном клубе.

— Ну, нет, — сказал человек, который был родом из маленького городка. — Я не хочу платить женщине, чтобы она раздевалась.

Тем вечером он сидел в закутке у стены, и высокая чувственная женщина с рыжими волосами подошла и села напротив него. Когда она заговорила, ее голос оказался нежным, как у девочки, а когда он ответил ей, и она заговорила опять, у нее загорелись глаза: она поняла, что перед ней хороший парень. Но, если проявленный к нему интерес как-то и утешил его, он не подал виду и продолжал заказывать себе напитки за семь долларов.

— Вот этот за мой счет, если позволите, — сказала она и повернулась так, что ее груди поднялись параллельно столу. Человек не преминул это заметить.

— Ты бы хотела пойти сегодня ко мне? — спросил он.

Вдруг сделавшись подозрительной, она сказала:

— Я думала, ты не такой, мне так сказал Генри, а теперь ты задаешь мне тот же вопрос, что и все.

— Мне так стыдно, — искренне отозвался он. — Я вовсе не имел в виду ничего такого, просто я не люблю быть один, а ты, судя по всему, хорошая женщина, с которой было бы приятно провести время, даже если просто за разговором.

Ответ показался ей достаточно искренним, ее тронуло, что он был совершенно чужд животных инстинктов; возможно, Генри был прав, Даже ее так называемые «сестрички», с которыми она поспешно советовалась в задней комнате, одобрительно закивали, когда увидели его скромный взгляд, большую часть времени блуждавший по интерьеру клуба.

В квартире было душно из-за жары, и вскоре они уже лежали на его кровати в нижнем белье, и он рассказывал, как вышло, что он овдовел так рано, и это была ложь — он никогда не был женат, и у него только один раз были хоть сколько-нибудь серьезные отношения. Поскольку, когда она в клубе заходила в заднюю комнату, чтобы переодеться в обычную одежду, она заметила, что он совсем не смотрит на танцовщиц, она теперь верила тому, что он говорил, каждому его слову. У женщин есть свои

незамысловатые способы отличить хорошего парня от плохого, и ее способ был так же глуп, как и любой другой.

Вскоре она уже делала ему минет; она старалась вовсю, потому что он, казалось, совершенно не получал от этого удовольствия. Когда он уложил ее, то сделал это очень заботливо, с тоскливым выражением лица, и это дало ей еще больше оснований верить ему.

Не прошло и трех недель, как они решили снять себе квартиру и жить вместе, что вызвало между человеком и его соседом некоторое напряжение, пока замена не была найдена.

Они жили тихой жизнью, полной учтивости и предупредительности, поскольку оба испытывали жалость к человеку, и к тому же тот факт, что присутствие этой женщины с рыжими волосами ничуть не смягчало его тоску, вызывал в нем смешанные и противоречивые чувства.

В душе они оба ожидали, что она рано или поздно забеременеет, и когда это, в конце концов, произошло, то не стало большой неожиданностью. Он только погладил ее по руке, когда она лежала возле кровати и плакала о том, что нет денег.

— Мне придется переехать к сестре, — сказала она ему. Она была далеко не в восторге от грядущей жизни: танцовщице с маленьким ребенком явно придется непросто. — Хочешь поехать со мной? — спросила она.

Его очень взволновало это предложение, и он вышел проветриться. Ее сестра жила в небольшом городке с мужем и тремя детьми, а человек, который сам был из провинции, уехал оттуда не от хорошей жизни и всего около года успел провести в городе. Теперь, когда он думал об этом, ему казалось, что не так уж и трудно было заполучить эту женщину с рыжими волосами; и не так сложно найти себе в мегаполисе девушку для приятного времяпрепровождения; он не понимал, почему ему раньше не приходило это в голову. Он ответил отказом, и она сбежала от него со своими чемоданами и слезами.

Но во второй раз найти хорошую девушку оказалось не так просто, и вскоре человеку стало одиноко. Через два месяца ему пришлось подыскать себе соседа, но единственным, кого он смог найти, оказался вонючий юнец со свисавшим во все стороны животом. Такое положение дел заставило человека почувствовать себя еще более одиноким, чем прежде, и однажды в час дня он решил навестить женщину с рыжими волосами. Проходя по пути на вокзал мимо фонтана, он заметил девушку лет восемнадцати, блондинку, которая, как ему показалось, была бы рада компании такого мужчины, как он. Пока тащил ее в парк, он выдрал две трети ее волос.

*перевод Н. Лебедевой*

# ПЫШНЫЕ ДАМЫ ПЛЫЛИ ПО НЕБУ, КАК ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ
## Аманда Дэвис

Пышные дамы плыли по небу, как воздушные шары.

В тот год мы забывали наши сны и просыпались, растерянно бормоча. В ту весну они скользили на ветру, легко поворачиваясь то так, то эдак. Издали они казались очень милыми, но почему-то я понимала, что это не к добру. Это могло означать только одно: мой бывший дружок снова в городе.

А как же — с Фредом-Везунчиком я столкнулась в тот же день. Провозившись с собаками, шла домой — и вот он, тут как тут, на городской площади, расселся на скамейке и смотрит, как кувыркаются в безоблачном небе пышные дамы. Ты! закричал он вскакивая. С ним не соскучишься.

Сколько лет, сколько зим, ответила я. И не могла оторваться от его глаз. Я повторяла себе: не смей, не смей, но в глубине души понимала, что это только вопрос времени. Глаза у него, как лакрица — блестящие и горькие.

Элоиз! снова позвал Фред, хотя между нами было всего несколько дюймов. Я знал, что ты пойдешь этой дорогой!

Нельзя вот так за здорово живешь взять и влезть обратно в чужую жизнь, хотела сказать я, но выходило только: А. Да. Ну.

Мы постояли пару секунд, разглядывая друг друга и пряча за пазухой намерения. Мои вообще-то спрятать было трудно. Фред, когда он удосужился обратить на меня внимание, оказался невероятным любовником, и с тех пор я чувствовала себя несколько одиноко.

Фред, начала я.

Теперь Джек, сказал он, я поменял имя.

Джек-Везунчик? спросила я. На ушах у меня висела лапша. Из ушей у меня лился утиный соус и сыпался белый рис.

Он кивнул.

Я решил, что больше похож на Джека, чем на Фреда, сказал он и засунул руки поглубже в карманы.

Так оно и есть. Он отдавал должное имени Джек.

Хотя Фреду от тебя многое перепало, я покраснела. Как бы во искупление.

Спасибо, сказал он и улыбнулся.

В этой части все просто. Я привела его домой, зная, что там

никого не будет, и приготовила ужин. По пути он говорил, что зря уехал и очень без меня скучал. Я знала, что это пустые слова, пустые крылышки давно разлетевшихся жуков, наперстки, в которые я всегда проигрывала. И все равно я позволила ему коснуться меня. Полегче, сказала я.

У него хватало забот. Бегство было не самой из них тяжелой, полет ни в чем не повинных пышных дам — тоже. Фред не мог себя контролировать. Он был, как говорила моя крестная Флоренс, тридцать три несчастья.

Он — стихийное бедствие, а ты — городок из фургонов, скрежетала Флоренс, прежде чем снова затянуться сигаретой.

Он — зудящая сыпь, прыщ под кожей. Он — зубная боль, а ты — просто онемевшая челюсть, деточка. Выдерни из себя это ничтожество и выбрось куда подальше.

Но я его люблю, сказала я настолько тихо, как только можно было произнести эти слова.

Ох, деточка, вздохнула Флоренс, это-то как раз и хуже всего.

Когда мы познакомились, я была доверчивее. Я только начинала ухаживать за собаками и, помнится, когда Фред заявился в магазин, чтобы меня встретить, подумала: как мило. Я повелась на такого красавца и даже слова не сказала, когда он запустил пуделя Апесонов на самую верхушку росшего перед библиотекой платана или умудрился поднять в воздух аффенпинчера Хендерсонов да так и оставил его выписывать круги над крышей конуры. Я думала про себя: такой необычный парень, артистическая натура, от меня только и нужно, что сгладить углы. Затем он насадил кота Лорински на фонарный столб и уронил городской автобус на далматина Лоусонов.

Где, черт побери, он выучился этим трюкам? посасывая сигарету, спросила меня Флоренс, окутанная кудрявым дымом.

Не знаю, ответила я ей, накручивая на пальцы волосы.

Вряд ли он понимает, что делает, пока не становится слишком поздно, сказала я. За окном носился по двору щенок Мейерзонов. Вряд ли он нарочно, сказала я, вовсе не уверенная в собственной правоте.

Кое-что я опускаю. Ну, например, мой смех. Смеюсь я ужасно — всю свою жизнь, просто кошмарно смеюсь. Когда я смеюсь, звуки из моего рта способны разнести вдребезги весь остальной мир. Мой смех опасен — у людей развиваются тошнота и сумасшествие. Прекрати немедленно, кричат они и, заткнув уши, бегут куда подальше. Дошло до того, что меня перестали пускать в кинотеатр. Это нарушение моих прав, заявила я им, и тогда они

решили устраивать сеансы для меня одной. Пока шел фильм, механик сидел перед кинотеатром на тротуаре. Когда кончалась бобина, я выходила и звала его обратно.

Теперь вы представляете, что значило для меня знакомство с парнем, которому это даже нравилось. Когда я впервые при нем засмеялась — мы сидели на крыльце, и у меня вырвался нервный безумный смешок, я принялась хватать его на лету рукой, запихивать обратно в глотку — Фред убрал мне за ухо локон и шепнул: ты такая красивая.

Тут я и поплыла. И какое мне было дело до того, что цветочные горшки, только что спокойно стоявшие на крыльце, теперь парят у нас над головами. И какое мне было дело до того, что во время нашего первого поцелуя они разлетелись на мелкие кусочки. Имел значение только Фред и то, как он меня обнимает. Имело значение только то, что мне теперь есть с кем смотреть кино.

Ну вот, а к тому времени, как Фред стал Джеком, я успела выйти замуж за парня по имени Стив. Понятное дело, я привела Джека домой, чтобы они познакомились. Вообще-то его звали не Стив — настоящее имя звучало как сорт колбасы, — однако он заплатил мне кучу денег, чтобы я стала его женой, и надеялся, что с именем Стив все будут думать, что он уже натурализовался. Ему не нравился мой смех, но он все же нанял меня работать своей женой, чтобы никто не мог депортировать его в эту серую тоскливую страну — его родину. Узнав о Джеке, Стив, похоже, расстроился — правда, я не всегда понимала, что творится у него внутри. У нас были проблемы с общением.

Ты и я заключенность, сказал он, когда Джек ушел в туалет.

Ты и я заковыристость, сделал он еще одну попытку. Заделость.

Нет, сказала я, листая глянцевый журнал. И даже не подняла глаз.

Зарубайство, сказал он. Закрывайство.

Занятие? предложила я. Мне нравилось сбивать его с толку.

Нет! Ты не понимаешь. Ты и я как дерево, продолжал он свои попытки.

Заросли? Я перевернула страницу.

Нет! (еще страница, еще)

Закорючки!

Джек забирает жена, начал он с начала, уронив в отчаянии руки. Муж забывает, муж забывот.

В комнату вернулся Джек, я отбросила журнал и встала с кресла. Приду поздно, сказала я.

Понимаете, любовь — не была частью сделки. Я знаю, любовь никогда и т. д. и т. п., но я рассчитывала на большее уважение. Я буду твоей женой, сказала я ему. Профессионально. Это моя работа, можно сказать. Ты меня нанял, и это моя работа — жена. И ничего больше.

Правильно, просиял он. Жена.

Мне еще долго не приходило в голову, как мало он тогда понимал.

Значит, Фред ему не понравился. Но Фред нравился всем. Так устроена вселенная: люди знакомятся с Фредом, и он им нравится. Так устроен мир. Но не Стив Колбасный. Первое, что он сказал, познакомившись с Фредом: он нехороший человек. Он не муж для тебя.

Правильно, сказала я ему, ты меня нанял. Он сбежал. Он просто мой отличный до неприличия бывший приятель, который странно действует на людей.

Стив не понял. Он это не хороший, бормотал он и таращился на Фреда.

Должна признать, Джек-Фред вовсе не ангел, но он точно и не плохой человек. Ну, то есть он ведет себя безответственно, это да, но чаще всего из добрых побуждений, думала я, а вовсе не злонамеренно.

И все же что-то вертелось в голове, может, забытые сны, мимолетные мысли, ощущение, будто передо мной прокручивается список чего-то потерянного, чего-то оставленного позади. Мы вышли из дома, я посмотрела на Фреда, но, засунув руки в карманы, он таращился в ночное небо, где пышные дамы заслоняли собою звезды, как черные дыры, как перехваченное дыхание, как забытые облака. Я трясла головой, разгоняя мысли, мечтала, чтобы он меня коснулся, тогда злость, которую я ношу в себе, спрячется куда подальше.

Он подождал, когда я его догоню, обнял за плечи, поцеловал в лоб, и мы пошли домой.

Утром мы завтракали в забегаловке рядом с парком. Я тянула кофе, Фред глодал банановый кекс. Перепуганные официанты не сводили с нас глаз — они помнили, какой разгром может устроить Фред. Пожалуй, нам все же не стоит, крутилось у меня в голове, но сказала я только: хорошая погода.

По радио всерьез обсуждали, как достать с неба пышных дам. При свете дня вид у них был вполне довольный, но представляю, как они успели проголодаться.

И тогда я подумала: может, так и происходит эволюция, так крутится мир. Может, к пышным дамам это тоже относится —

возьмите какую-нибудь вещь: сейчас это апельсин, а через минуту — персик. Может, они постепенно будут худеть и снижаться, пока, в конце концов, не встанут обеими ногами на землю, как все мы — замороченные измученные люди, которым не снятся сны, — и от их восхитительной округлости ничего не останется.

*Перевод Ф. Гуревич*

# ХВАЛЕБНАЯ РЕЧЬ ПАМЯТИ САУЛА ШТЕЙНБЕРГА
## Иэн Фрейзер

За месяцы, минувшие со дня смерти Саула, те, кто знали и любили его, говорили о нем немало. Мы заглядывали друг к другу на огонек, собирались все вместе и, сами того не замечая, могли беседовать о нем часами. Причины понятны. Но мы говорили о нем не только от скорби, но, мне кажется, еще и потому, что он был единственным в своем роде. Познакомиться с ним было все равно что своими глазами увидеть чудо природы, как если бы вы гуляли в лесу и вдруг повстречали медведя или, к примеру, пуму. Когда такое случается, вы начинаете рассказывать об этом всем и каждому, просто не можете удержаться. Вы стараетесь ухватить ускользающие воспоминания, описать их. Снова и снова пытаетесь передать их окружающим. И, как правило, вам это так и не удается. Слова не равны самому переживанию; они, пользуясь излюбленным эпитетом Саула, слишком «неуклюжи».

Не так давно я как раз говорил о Сауле — провел целых полдня в деловом районе, общался с другом Саула, его бывшим подчиненным, Антоном ван Даленом. Мы сидели у Антона на крыше и болтали. Антон держит голубей, они летали у нас над головами, белые голуби на фоне синего неба. Мы просто говорили о Сауле, делились воспоминаниями. Когда мы зашли в студию Антона, он показал мне открытку, сделанную руками Саула, — пейзаж с фигурками. На обратной стороне был текст письма и адрес Антона. Саул надписал имя и адрес, а потом, вместо того чтобы приклеить почтовую марку, взял да и нарисовал ее, а сверху печать гашения, а в центре марки, словно это начало координат, было написано «Штейнберг». Саул просто бросил открытку в почтовый ящик, и почта не вернула ее назад, а переслала по месту назначения.

Это напомнило мне о поистине необычайной любви Саула к переписке. Мы жили довольно далеко друг от друга. Сколько лет мы дружили — и всегда нас разделяли расстояния, так что общались мы в основном по переписке. Надежда заметить среди кучи корреспонденции конверт с его почерком поднимала удовольствие от походов к почтовому ящику до небывалых высот. Каждый раз, когда я шел туда, в голове вертелось, что среди рекламных отбросов и прочей ерунды может обнаружиться

драгоценное послание от Саула. Я вспоминал его рассказ о том, как во времена его детства, еще в Бухаресте, отец, собираясь отправить письмо, иногда брал сынишку с собой. Они подходили к почтовому ящику, отец поднимал мальчугана повыше, тот бросал конверт, а потом, наклонившись к самой щелочке, выкрикивал название города, до которого предстояло добраться письму. Думал, что так оно уж точно дойдет куда нужно. Городок, куда они отсылали письма чаще всего, назывался Буцау (не уверен, что правильно произношу). «БУЦАУ!» — вопил маленький Саул в щель ящика. Отправляя письма, я часто представляю себе эту картинку — Саула, кричащего в щелочку. Я и сам пробовал так делать, на душе становится теплее.

Приятельница Саула Пруденс Краузер рассказывала мне о его коллекции опытов, которые он проделывал с почтой. Уверен, многие из них прекрасно вам знакомы. Он пересылал тоненькие досочки, раскрашенные так, будто это письма; один раз он даже отправил лист морского винограда — если вам доводилось бывать на самом юге США, в Ки-Уэст, вы наверняка замечали, что в определенное время года вдоль прогулочных дорожек распускаются огромные овальные листья. Он говорил, эти листья — что-то вроде фотобумаги, они вечные. Саул написал на листе морского винограда адрес, приклеил марку и послал по почте — и письмо доставили! Как-то раз он отправил долларовую банкноту, рассказала Пруденс. Тоже надписал на ней адрес, наклеил марку, и почта переслала ее адресату, аккуратно запаковав в прозрачный пластик.

Гедда Штерн, жена Саула, недавно произнесла такую фразу: «Реальности приходилось приспосабливаться к Саулу». И она совершенно права; реальность действительно удивительным образом подстраивалась, чтобы совпасть с той картиной мира, какую видел Саул. Гедда привела пример: когда Саул был в армии, его там учили на сапера, и однажды ему дали задание взорвать дерево. Ну, он недолго думая пошел и заложил заряд взрывчатки прямо под корнями, потом размотал провод, отошел подальше и нажал на гашетку. Когда пыль наконец осела, дерево стояло ровно на том же самом месте. Саул подошел посмотреть, и знаете, что обнаружилось? От сильного взрыва дерево взлетело в воздух, а потом упало прямо в образовавшуюся воронку и стояло там себе как ни в чем не бывало — присутствие Саула словно бы отменяло элементарные законы физики, действовал только высший закон мультипликации.

Однажды мы с ним отправились поужинать, и, вместо того чтобы заказать два десерта, он заявил: «Зачем нам два десерта? Давай закажем один и разделим пополам». А когда подошел

официант, Саул попросил: «Принесите один десерт и чистую тарелку». Другой бы сказал «вторую тарелку». А он попросил чистую. И когда тарелка появилась, это было истинное произведение искусства. Простая белая тарелка с красной… нет, с синей каемочкой (точно не помню) — она действительно создавала ощущение чистоты. До сих пор жалею, что не попросил тогда у хозяев ресторана разрешения забрать тарелку на память, я бы мог повесить ее на стенку…

Та власть над повседневностью, какой обладал Саул, была почти на грани волшебства. Однажды мы с ним отправились в Атлантик-Сити, поиграть в казино. Мы сели в автобус, и Саул сказать: «Ездить автобусом — здорово. Ты едешь на самой благородной высоте — как рыцарь на коне». С тех пор я полюбил автобусы еще больше, всякий раз вспоминаю про «благородную высоту». Мы добрались до Атлантик-Сити и пошли в первое же, выбранное им наугад казино. Там он направился прямо к рулетке и сказал: «А теперь мы с тобой разделимся». Он не хотел, чтобы я топтался у него за спиной, но я просто не мог пропустить такое зрелище. На нем был светлый пиджак, светлые просторные брюки и белая шляпа из мягкого фетра. Он принялся раскладывать фишки на столе с номерами, соответствующими секторам рулетки. Такие, знаете ли, в старом стиле написанные номера, шрифт викторианской эпохи, такие больше нигде кроме казино и не увидишь. Саул будто нутром чуял все эти номера и раскладывал фишки с видом художника, наносящего финальные мазки. При каждом вращении рулетки один из Сауловых номеров непременно выигрывал, и вскоре перед ним уже собралась стопочка фишек. Она все росла и росла. Крупье, надо сказать, попался опытный. Он знал, как себя вести с такими вот волшебниками. Сразу раскусил, что Саул не хотел бы привлекать к себе внимание, поэтому всякий раз восклицал: «Ого, вы только посмотрите!» — в общем, сделал из Саулова везения настоящее шоу. Вскоре вокруг Саула образовалась целая толпа. Стопка фишек уже доходила до подбородка, а Саул все продолжал, повинуясь интуиции, делать ставки. Попутно он попытался было обменять свой выигрыш на фишки большего достоинства — чтобы горка была менее внушительной и скопище зевак рассосалось. Но крупье был стреляным воробьем и не дал Саулу проделать этот хитрый маневр. Наконец Саулу надоело всеобщее внимание, он смахнул фишки в свою белую шляпу, отнес их к окошку и обменял на наличность. Ему всегда везло в рулетку.

Я часто вспоминаю о нем из-за каких-нибудь мелочей. В голове всплывают его мимоходом брошенные ремарки, которые заставляли посмотреть на те или иные вещи по-новому.

Несколько лет назад я пытался выучить русский, отчаянно бился с кириллицей. Я решил поделиться своими впечатлениями с Саулом: «В русском алфавите целая куча букв, и некоторые из них весьма странные». На что Саул ответил: «Это не буквы, это чихи». С той поры некоторые буквы кириллицы так и остались для меня чиханием.

Это очень кстати, что здесь прозвучала пьеса Россини, та самая, с мяуканьем, потому что я как раз хотел закончить речь рассказом о коте Саула. У него был самый потрясающий кот на свете. Черный сиамец, Саул звал его Карапузом. По-моему, сначала кот принадлежал подруге Саула Сигрид Шпец, во всяком случае, животина жила в ее квартире, а потом он каким-то образом очутился в доме Саула в Лонг-Айленде. Кот всегда был в курсе всех передвижений Саула. Он был очень тактичным и умным, этот котяра. Любил сидеть у Саула на плечах, обвиваться вокруг шеи, как экзотическое боа. Когда Саул вел машину, кот клал голову ему на плечо и вскидывал ее, когда они с хозяином вместе смотрели в ветровое стекло. Карапуз был очень милым и ласковым, а потом он внезапно брал и исчезал. Если он убегал в лес, то надолго — возвращался лишь через несколько часов или даже дней. Однажды мы с женой навещали Саула в Амагансетте, он рассказал нам о Карапузе и добавил:

— Сейчас Карапуз в бегах, но к вечеру должен вернуться. Как пить дать вернется.

А вечером Саул вдруг воскликнул:

— А вот и Карапуз!

Он поглядел на дальний конец лужайки, а лужайка была длинная, и тут из зарослей в самом деле выбрался Карапуз. Саул приоткрыл дверь и вышел на крыльцо. Карапуз увидел хозяина и кинулся к нему на полной скорости, безрассудно и бесстрашно. Пересек лужайку за секунду. Нечасто увидишь, чтобы кот так мчался. Скорее так бегают собаки — вперед, без оглядки. Он подскочил к Саулу и потерся о его ноги, а Саул улыбнулся, засмеялся и сказал:

— Вот он какой, мой Карапуз.

Если вы любили Саула, то становились подобны Карапузу. Вы стремились к нему. Безрассудно — вот ключевое слово, хотя это такой сдержанный вариант безрассудства. Вы всем сердцем привязывались к нему и уже не беспокоились о частностях. При этом Саул, конечно, был человеком непростым, и порой то, что совсем недавно нравилось ему, вдруг начинало его раздражать. Это касалось и его самого, а иногда и друзей. И эта переменчивость поначалу сбивала меня с толку — все казалось, что я должен как-то отличиться, чтобы заслужить его внимание,

что я должен быть интересной личностью или чудаком. Но через некоторое время я перестал волноваться; я просто доверял дружеским чувствам Саула. Я твердо знал, что душевно расположен к нему и что он тоже расположен ко мне, как бы он себя ни вел. Его характер выражался во всем: и в работе, и в дружбе, и в том, как он смотрел на мир. Гедда недавно сказала мне: «Саул относился к миру с великой нежностью». И иногда его щедрость и любовь к жизни вдруг проявлялись, всплывали на поверхность — и это было не сравнить ни с чем. Антон напомнил мне об одном характерном жесте Саула, над которым я давно не задумывался. Изредка он неожиданно поворачивался к тебе, протягивал руку и говорил:

— Ну, обними же меня…

И ты обнимал его.

Саул, мы обнимаем тебя, пусть пребудет с тобой наша любовь. Мы будем по тебе скучать. Благослови тебя Господь.

*Перевод И. Копыловой*

# НАБЛЮДАТЕЛИ
# Пол ЛаФарг

*Наблюдая — разрушаешь.*

*Поль Пуассель*

## *I*

Для начала позвольте сказать, что, принимаясь строить обсерваторию, я вовсе не собирался заглядывать в прошлое. Точнее, я вообще не собирался ее строить — это выросло само из паутины обстоятельств, как вырастают грибы из дождя и полумрака. Сначала был мартовский ураган — из тех, что воспринимаются как личное и умышленное оскорбление, как разговор с вымогателем, не показывавшимся три недели, а потом звонящим среди ночи, дабы сообщить, что никакой последней отсрочки не будет — сейчас или никогда. Небо сделалось сперва серым, потом черным. Оно плевалось градинами, те сбивали насмерть птиц с веток и оставляли выбоины на жестяных городских крышах. Упав на землю, град превращался в лед, снегоочистители завалили снегом припаркованные машины, не оставив никому возможности никуда уехать. Моя подружка вышла из подъезда бросить в ящик письма, поскользнулась и сломала руку — медицинской бригаде пришлось обуваться в специальные башмаки на ребристой подошве, чтобы забрать ее с тротуара. Газеты назвали этот ураган fin-de-sicle,[15] при том, что метеобюро, где я работал, его проморгало. Как только почистили дороги, мне было поручено придумать слоган для кампании по спасению репутации нашего бюро.

— Суть должна быть в том, что ошибиться может всякий, — сказал руководитель креативного отдела. — Мы должны им объяснить: дожди неизбежны в жизни каждого человека.

Я промучился целый день, силясь сочинить что-нибудь философское и оптимистичное. В голове крутились раздолбанные машины, побитые крыши и вмерзшие в землю трупики ласточек. Когда шеф явился за результатом моего труда, я лишь покачал головой.

— Ну, что вы нам покажете?

Я протянул ему листок с единственным слоганом, который смог придумать: «И приметы бывают не правы»

— Что это? Что за мудацкие шутки? — шеф порвал лист на четыре части и бросил на пол.

На следующий день на городских автобусах красовался слоган «ДОЖДИК ПУЩЕ — ЦВЕТЫ ГУЩЕ», а я остался без работы. Свою историю я рассказал подружке.

— Ну, ты и влип, — прокомментировала она.

Я попытался объяснить: что-то и в самом деле идет неправильно, ураган был знаком именно этой неправильности. Вот что я сказал:

— Нельзя делать вид, будто мы умеем заглядывать в будущее — будущее над нами смеется.

— Возможно, — она укачивала загипсованную руку. — Но что ты теперь будешь делать?

Я ответил, что придумаю. Вместо этого я целыми днями смотрел по телевизору исторические программы и мечтал, как стану святым, гангстером, ковбоем или астронавтом — подойдет любая профессия, чем проще, тем лучше, только бы где-нибудь подальше. Моя подружка, работавшая фонотиписткой, проявляла заботу о своей руке и о множестве близких друзей — о последних по телефону до поздней ночи. Она сказала, что нельзя просидеть так всю жизнь, тратя накопленные деньги на еду из забегаловок и на телеящик. Я не поднял глаз.

— Знаешь, оказывается, в Риме был не один император по имени Нерон, а целая куча.

Первого июня она позвонила мне с незнакомого номера — он начинался кодом, добавленным недавно, чтобы охватить растущее население Кливленда, — и наговорила всяких слов на автоответчик. Без нее я не мог платить за квартиру, а потому упаковал свои пожитки и отправился на север в Коммонсток, где в нашем старом доме до сих пор жил мой отец. Дом был для него слишком велик, но отец не хотел расставаться с вязами, лужайкой во дворе, видом на озеро Коммонсток и рыбами, которых каждый день выбрасывало на берег, — жертвами кислотных дождей. Я вновь поселился в комнате моего детства. Ничего с тех пор не изменилось, разве только летом после первого курса я сам сорвал висевшую над кроватью афишу к «Ветру в ивах»[16] и водрузил на ее месте фотографию дамы с вуалью и сигаретой «Голуаз». В колледже она казалась мне загадочной, теперь — в лучшем случае, холодной и немного пресной, из тех женщин, что вместо «да» говорят «несомненно». Я снял ее и повесил Лягушку и Жабу в старых канонических позах, потом убрал с полок учебники за первый курс и поставил на их место детские книжки. Неделю я нежился в лучах последнего безоговорочно счастливого периода

моей жизни — примерно от двенадцати до пятнадцати лет, когда худшая часть детства уже позади, а ты, пережив ее, чувствуешь себя весьма оперившимся и способным на все. Затем я наткнулся на свой дневник тех времен. Двадцать пятого января — в день, когда мне стукнуло пятнадцать, — я записал: «Мы напрасно тратим время, жалея животных, на самом деле животные должны жалеть нас». В тот же вечер я снял со стены Жабу с Лягушкой и отнес детские книжки обратно на чердак.

В колледже я изучал философию, ибо еще верил, будто мир можно понять, если о нем думать. Это оказалось заблуждением, я забыл почти все, о чем читал, но кое-что осталось при мне — один момент, та часть в самом конце «Пира», где Сократ говорит: «Начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все время, словно бы по небесной лестнице, подниматься ради самого прекрасного вверх — от одного прекрасного тела к двум, от двух — ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям» и так далее. Небесная лестница. До чего же красивая мысль: просто о чем-то думая, можно возвыситься над привычным, подняться от земли к небу, а потом выше, выше и выше.

Обведя взглядом пустую комнату, отец спросил, что я намерен делать дальше.

— А что, — ответил я, — построю обсерваторию. — Ни о чем подобном я раньше не думал. Звезды вообще никогда меня особенно не интересовали. После ночевок в палатке и прочих турпоходов полагается уметь различать среди них какие-то фигуры. У меня даже имелась одна из иллюстрированных книг, в которых обычно рисуют очертания зверей, охотников и так далее, а рядом другие картинки, совсем не похожие на первые, с разрозненными звездами и линиями между ними. Аналогию между двумя типами фигур было довольно сложно ухватить даже в книге, а для тех же самых фигур, развернутых во всю ширь ночного неба, это представлялось и вовсе невозможным. Я так и не научился распознавать ничего мельче Млечного Пути, Луны и ее отражения в озере Коммонсток. И все же именно из тех времен мне в голову проникла мысль построить обсерваторию. Это будет мое собственное сооружение — небольшое, закрытое со всех сторон, лишенное окон, не считая узкой прорези в крыше для телескопа, — и построю его я сам.

— А-а, — сказал отец.

— Хочу что-то сделать своими руками. Я ведь никогда ничего не строил.

— А как же модели самолетов?

Еще бы ему не знать. Самолеты — его идея, нужно было чем-то занять маленького мальчика, которому, похоже, начало надоедать все, что предлагала жизнь из реестра «правильных» занятий.

— Это были игрушки. А теперь по-настоящему. Настоящая рабочая обсерватория. — Я представил, как это будет выглядеть. — Крыша должна поворачиваться. Чтобы можно было смотреть на звезды в разных частях неба.

— Зачем тебе смотреть на звезды?

— А что плохого в звездах?

— Подожди, я хочу разобраться. Тебе хочется чего-то необычного, новых свершений?

— Еще бывают кометы и туманности.

— Но так, чтобы не слишком сложно.

— Черные дыры, пульсары и квазары.

— А давай возьмем палатку и куда-нибудь уедем? — В моем детстве это было еще одним отцовским увлечением. — Заберемся на Гору-Голову, поболтаемся пару деньков. Вдвоем. Звезд там — знаешь сколько? Ну как?

— Я читал пару дней назад, будто ученые открыли новую планету. В отличие от остальных, она не движется.

Отец покинул комнату, склонив голову в знак поражения.

Разумеется, он не мог не приложить руку к проекту. Вместе мы облазили вдоль и поперек весь участок, вооружившись старым секстантом, валявшимся без дела на каминной полке с тех пор, как мы переехали в Коммонсток. По словам отца, секстант принадлежал жившему до нас в этом доме капитану, но, поскольку предыдущим хозяином на самом деле был страховой брокер, я всегда подозревал, что сей прибор — просто декоративная побрякушка, доставленная с барахолки в Мистике ради удовлетворения чьих-то представлений об оседлой жизни в Новой Англии. Отец устроил целое представление, подводя один конец этой штуки к глазу и наклоняя другой, пока в перспективе он не совпадал с верхушками деревьев; после этого отец показывал мне инструмент и записывал показания в градусах. Так ли полагается использовать секстант, я не знаю; в любом случае, на участке имелось только одно подходящее место для обсерватории — что-то вроде бугра на пол пути от дома до воды, с которого можно было беспрепятственно обозревать озеро, соседские дома и совсем вдалеке изящные очертания Горы-Головы. Если смотреть из дома, бугор располагался точно на линии обзора — если построить там обсерваторию, она заслонит

озеро. Тем не менее, отец, в восторге от своей новообретенной способности обращаться с секстантом, выдал мне разрешение на строительство в этом месте и даже потребовал, сверившись с таблицей измерений, чтобы я строил именно там.

В ту ночь, когда небо сделалось цвета синих чернил, я вышел посидеть на бугре. Луна еще не взошла, и воздух был неподвижен — над головой у меня, наверное, тысячи видимых звезд. Ни одну из них я не знал по имени. Имена звездам давали арабы много лет назад в своей пустыне, отделяя невооруженным взглядом бесчисленное множество безымянных светил от горстки, которую они успели сделать своей собственностью. Звезды сливались и путались у меня в голове, зато арабов я представлял достаточно ясно. Они сидели с прямыми спинами на песчаных дюнах, пили чашками арабский кофе, а их кони в это время терпеливо ждали под деревьями. Арабы продавали золотые кольца, допивали кофе, затем, как будто спохватившись, давали имена звездам.

В публичной библиотеке Коммонстока хранилась большая коллекция старых номеров соответствующей периодики: «Скай», «Телескоп-Мэйкинг», «Зенит» и «Азимут». С их помощью я начал свое погружение в мир полуанонимных личностей, объединенных особым отношением к небу. Я читал о телескопах Ньютона, телескопах-рефракторах, кассегреновских телескопах и видел, точно воочию, размытые увеличением небеса, почти бесцветные, но с болью и во всех подробностях врезающиеся в память, словно каждый небесный объект представлял собой чрезвычайно важное слово, произнесенное на пределе слышимости. Я читал об обсерваториях и семейных раздорах, два этих явления были одинаково сложны и прочно связаны друг с другом. Никогда прежде мне не приходило в голову, что так много людей сбегают от мира в маленькие комнатки, одни на всю ночь. От их записок: «7 июля. В 23:17 великолепный Сатурн. Уговаривал жену посмотреть», — у меня теплело на душе, и я улыбался ангельской улыбкой другим посетителям читального зала библиотеки Коммонстока. Не все журнальные новости были хорошими: с учетом стоимости материалов и моего ничтожного опыта в возведении больших конструкций, обсерватория с крышей, которую я представлял вначале, оказалась непрактичной. Листая схемы, я наткнулся на модель под названием «обсерватория со скатывающейся крышей»; изобретение Роберта Э. Рейзенвебера из Эри, Пенсильвания. Она была похожа на большую караульную будку, крышу которой можно сдвинуть на вбитые рядом подпорки, и таким образом открыть телескопу звезды. Для строительства не требовалось специальных приспособлений, от

начала до конца это будет стоить меньше тысячи долларов. На стену своей комнаты я повесил фотографию обсерватории со скатывающейся крышей, и долгое время она была там единственным украшением.

— Вы когда-нибудь работали с деревом? — спросил продавец стройматериалов. Всем своим видом он выражал привычный скепсис. Коммонсток — летний поселок, и продавцу, должно быть, надоели посетители, являвшиеся к нему по выходным с планами веранд, мансард и пристроек, которые все равно никогда не воплотятся.

— У меня много времени, — сказал я. — Здесь живет мой отец.

Продавец стройматериалов хмыкнул.

— Какой у вас фундамент?

— Пока никакого.

— М-да, а какой будет?

Мне не приходило в голову, что понадобится фундамент. Заглянув еще раз в схему, я понял, что Роберт Э. Рейзенвебер построил свою обсерваторию на уже стоявшей у него во дворе бетонной плите — предположительно, это были остатки построек древней цивилизации, существовавшей когда-то в Эри, Пенсильвания.

— Очевидно, бетонный.

— Нужно, чтобы кто-то вам его залил. — Продавец написал «Джордж» и телефонный номер на обратной стороне своей визитной карточки. — Вы вообще откуда?

— Из Нью-Йорка.

— Ну и как вам там?

— Слишком много фонарей на улицах, — сказал я. — Ночью ни черта не видно.

— А-а, — продавец пожал плечами, его подозрения насчет ньюйоркцев полностью подтвердились. — Ладно, звоните Джорджу, если вам нужен бетон.

Я думал сделать фундамент десять на восемь футов, но Джордж сказал, что надо больше.

— Там даже кошке будет не развернуться.

Я попробовал объяснить, что мой план строительства обсерватории не предусматривает разворачивания кошек.

— Меньше чем двенадцать на двенадцать я делать не буду, — объявил Джордж, на том и порешили.

За день до его приезда мы с отцом взяли лопаты и отправились копать яму, подобно археологам, исследующим

древний курган. Мне было приятно опять над чем-то работать. Яркое солнце висело прямо у нас над головами, в воздухе пахло чистой водой. Мы с отцом радостно хмыкали, с довольным видом поглядывая друг на друга. Джордж не сказал, какой глубины должен быть фундамент, так что мы прикинули сами. Когда яма стала глубиной по пояс, мы устало отложили лопаты и уселись лицом к лицу на холмике свеженасыпанной земли.

— Ты никогда не был трудным ребенком, — сказал отец. — Только очень замкнутым.

Я уперся ногой во что-то твердое.

— Это череп?

Отец оттер землю.

— Камень, — сказал он. — Ты был настолько погружен в себя, что мы волновались, все ли с тобой в порядке.

— Что за камень?

— Обычный камень. Потом ты вроде бы выровнялся, — он грустно смотрел на меня. — Слыхал, что Джули Эйсенман опять вышла замуж?

— А она уже была замужем?

— Ага, хирург-ветеринар какой-то.

— А-а.

— Она ведь тебе нравилась.

— Правда? — Вполне возможно, так оно и было. Мне вообще нравились люди, даже в детстве. Хотя это могла быть очередная отцовская фантазия. Достоевский в «Братьях Карамазовых» пишет, что дьявол существует для того, чтобы в нашей жизни хоть что-то происходило. Вовсе нет, для этого у нас есть родители.

— Когда была свадьба?

Отец меня уже не слушал. Он потянул мышцу спины, и мне пришлось в буквальном смысле слова оттаскивать его от раскопок.

Джордж, представлявшийся мне по телефонным разговорам большим и жизнерадостным, оказался тощим мужичком с длинной шеей, голубиными лапками и острым хищным личиком. Увидев нашу яму, он рассмеялся.

— Слишком глубокая?

— Смотря что вы собираетесь строить — обсерваторию или бункер.

Он ушел, посмеиваясь, и вернулся на цементовозе со словом «ПУЛИАДИС» на боку, намалеванным выцветшей красной краской. Машина оставила на траве глубокую грязную колею. Отец наблюдал из садового кресла, как мы мешок за мешком высыпаем цемент в яму. Вскоре стало ясно, что ничего не

выходит: когда кончился цемент, фундамент — который заодно будет служить обсерватории полом — на три фута не доставал до края. Значит, придется мастерить лестницу, о которой в плане не говорилось ни слова. У меня не было инструкции, как строить лестницу, и я обратил к отцу беспомощный взгляд, наверняка знакомый ему со времен моделей. Он помахал мне с лужайки рукой.

— Отличная работа! — прокричал отец. — Всего-то пару футов не хватило!

Джордж заметил, что до звезд и без того далеко, так что несколько лишних футов ничего не решат. Справедливое замечание, но мне от этого легче не стало. Я всегда считал обсерваторию чем-то высоким, а теперь, чтобы попасть в мою, придется спускаться вниз. Как-то это неправильно.

— По пиву? — предложил Джордж.

Я думал, пиво у него в машине, но когда подошел поближе, Джордж скомандовал:

— Полезайте в кабину. Вот и отлично.

Мы приехали в бар; я пил пиво, а Джордж рассказывал о полукриминальных делах, которыми он зарабатывал на жизнь.

— Слышите птиц? — спросил он.

— Конечно.

— Это мои.

Выяснилось, что целлюлозный комбинат платил Джорджу, и тот ездил в какую-то глушь, где воздух до сих пор чист, ловил сетями птиц и возил их обратно в Коммонсток, в котором почти все они умирали от грязно-желтого выхлопа этого же самого комбината. Джордж также время от времени снабжал озера рыбой, оттаскивал ядовитый ил в морскую лабораторию Нью-Лондона и даже, если верить его словам, красил из пульверизатора листья в желтый и красный цвет для японских туристов-автобусников, являвшихся в начале года любоваться новоанглийской осенью, когда до осени еще очень далеко. Можно сказать, он, не покладая рук, создавал видимость того, что природа функционирует по-прежнему, как в былые времена. Мы пили пиво, курили сигареты и швыряли бычки в озеро. Солнце грело мне плечи и руки. Что за глупость — переживать из-за обсерватории. Несколько ступенек вверх или вниз ничего не изменят, а если изменят, я запросто с этим справлюсь. Развалившись в кресле, я слушал доносившуюся из бара песню о том, что птицы свободны, но на два доллара выпивку уже не купишь. Все это неправда, радостно думал я, по крайней мере, по части птиц.

Лето вступало в свои права, а я набирался сил, словно впитывая в себя прочность моей конструкции. Я еще раз встретился с продавцом стройматериалов, купил у него доски, гвозди, металлические фланцы, шайбы и болты, резьбовые шпильки и шлифовальные круги, ролики, переключатели, муфты и красные лампы для внутреннего освещения. Я купил клей, настолько прочный, что на нем забуксовал бы небольшой грузовик, электродрель, отвертку и машинку для извлечения сорванных болтов, переносную электропилу, пояс для инструментов и фартук с карманами для всяких штук, которому я не знал названия. На ночь я убирал инструменты в гараж, а днем доставал и раскладывал их на земле рядом со строительной площадкой в надежде, что всякий прохожий незнакомец, увидев, как сияют на солнце металлические приспособления, подумает: ого, какие у этого семейства инструменты! Вот что значит практичные люди! Заглядывал Джордж Пулиадис — посмотреть, как идут дела, и всякий раз, заслышав шум его подъезжающей машины, я проникался чем-то вроде товарищеского духа, словно мы с ним, каждый на свой лад, возвращали этот мир в его прежнее, более счастливое состояние.

Как и любой человек, впервые потративший деньги на механические приспособления, я задумался о конце цивилизации и о том, как к нему подготовиться. Я отправился в магазин и купил там сухофруктов, растворимого какао, портативную плиту, бинты, пластыри и пузырек йода. Отцу я сказал, что это для непредвиденных случаев и холодных ночей, в действительности же мое воображение занимали самые мрачные картины: беспорядки, война, эпидемия неизвестной болезни, превращающей человеческие кости в желе, а сердца в лед. Уцелею я один, в своей обсерватории, с какао и йодом, буду хладнокровно вести хронику бедствия и транслировать ее звездам. Я поехал в Мистик и забрал телескоп — восьмидюймовый ньютоновский, предлагавший оптимальное увеличение за разумную цену. В этом старом морском порту я не был уже несколько лет, с тех пор дома отреставрировали, и теперь он выглядел как в прежние времена, когда оттуда уплывали, ощетинившись гарпунами, корабли, чтобы вернуться домой с грузом ворвани и амбры, китового уса, китовой шкуры и морских историй. Трехмачтовые корабли, деревянные тротуары, в витринах солоноватые ириски, свечи, провизия и парусина — все это поразило меня своим оптимизмом. Еще не поздно повернуть назад — говорили вывески «Канатов на любой вкус», «Неботорга», «Бережка слоновой кости» и кафе «Рогатый мыс». Я шел к машине, насвистывая и взгромоздив на плечо телескоп, смутно

напоминавший орудийный ствол.

## *II*

Джордж Пулиадис был прав: когда я закончил вбивать гвозди в наружную обшивку, обсерватория, вопреки посулам доброго мистера Рейзенвебера, больше всего напоминала низенькую крепость для защиты дома от захватчиков. Я был вне себя от счастья и, не дожидаясь ночи, решил заглянуть в телескоп прямо сейчас. Его основание я прикрутил болтами к закрепленной на полу металлической опоре, затянул как следует гайки, после чего взмахом руки — таким жестом дирижер пробуждает к жизни оркестр — отвернул крышу и предоставил лучам света впервые коснуться открытого объектива телескопа. Вот какие откровения ждали меня, когда я наклонил телескоп пониже над водой: первое — сфокусироваться на чем-то почти невозможно, и второе — в телескопе все перевернуто вверх ногами. Деревья махали ветвями под озером, а еще ниже утопали в бездонной синеве горы. Сперва я изучил именно их, поскольку горы располагались дальше всего. Вот гора Давид, а вот Красная Колючка, а между ними каменная корона Горы-Головы. Переместившись ниже, то есть, конечно, выше, телескоп отправил меня в полет над осенним лесом. Затем размытое белое пятно. Я подкрутил болты и, мягко касаясь ручек, умудрился поймать фокус. Это был дом на другой стороне озера, на крыльце стояла девушка. Она собирала на затылке длинные каштановые волосы, затягивала их в хвост, и мне было видно ее лицо со всеми его черточками, так же четко прорисованы крошечные города на задних планах картин Северного Возрождения. Дом я не узнал, хотя вид у него был вполне коммонстокский: белые доски, зеленые наличники и ставни; крыльцо, по-видимому, соорудили дачники — объект презрения продавца стройматериалов. Девушка опустила руки к небу. Свет словно искал путь сквозь ее тело, отчего девушка казалась более плотной, более трехмерной, чем все женщины, которых я обнимал, касался и знал. Она повернулась, и на какой-то миг я рассмотрел — или мне показалось, что рассмотрел, — тени по обеим сторонам позвоночника. Затем она ушла из поля зрения телескопа, не очень вообще-то широкого, и, пока я ослаблял болты на треноге и наводил прибор на резкость, исчезла окончательно. Крыльцо опустело, и дом издалека казался безмолвным. Я отвел глаза от телескопа, но мои мысли еще долго не могли вернуться в обсерваторию, а когда, наконец, вернулись, все здесь показалось мне странным — слишком большим и

слишком тихим. Я поднялся по ступенькам на лужайку и надолго застыл, моргая от солнечного света.

Этим вечером она сидела у себя в спальне, шторы были отодвинуты, окно приоткрыто. Она играла сама с собой в карты. По тому, как она мотала головой, я догадался, что в комнате включено радио. Каждые две-три минуты она поглядывала на дверь, словно кого-то ждала. Затем снова тасовала колоду, раскладывала, замирала, опять смотрела на дверь. Я вдруг испугался, что обижаю столь сильный телескоп слишком близкими целями, а потому ослабил болты и предоставил прибору бродить среди звезд. Там не было ничего, кроме темноты. Изредка проплывали яркие дрожащие объекты, и я пытался на них сфокусироваться. Оказалось, даже в телескопе звезды плоские, бесцветные и еще менее реальные, чем значки, изображающие их на картах. В поисках музыки я покрутил радио, надеясь придать небесному зрелищу остроты. Но музыки в эфире не было, только разговаривали какие-то люди, приятные голоса, помехи с другой стороны планеты, невозможность уснуть у себя дома.

На следующее утро было облачно, небо угрожающе нависло над головой, словно подыскивая слова, перед тем как сообщить неприятную новость. Я проехал на машине вокруг озера, мимо Бендетсенов, Хоффманов, Ротштейнов, мимо пустого дома Дональда Патрисса, знаменитого дрессировщика (он приезжал в Коммонсток только на лето), мимо домов соседей, знакомых, друзей и совсем посторонних. Белого дома с зелеными ставнями нигде не было. Конечно, в телескопных делах я был всего лишь любителем. Даже разглядев нечто весьма далекое, я понятия не имел, на что смотрю и где его искать в не увеличенном мире.

Вернувшись, я встретил Джорджа, показывавшего обсерваторию полудюжине ребятишек в шерстяных свитерах и жестких, негнущихся ботинках.

— Не самая худшая постройка в округе, — сказал Джордж, потирая подбородок.

— Спасибо.

— Надеюсь, вы не против.

Проигнорировав телескоп и предусмотрительно придавленную чем-то тяжелым крышу, дети направились прямо к какао.

— Ничего не трогайте! — рявкнул на них Джордж, но чуть ли не половина пакетиков «Свисс-Мисс» все-таки осела у пацанов в карманах.

— Извините, — сказал Джордж. — Это немцы. — Он

объяснил, что подрядился сводить детей в воскресный поход в парк «Хайуош». — Мы ищем окаменелости, — признался он.

— Я и не знал, что они тут есть.

— Wie viele Asteroide kennen Sie? — спросил ребенок. — Ich, dreißig.[17]

— Я не понимаю по-немецки, к сожалению.

— Целое кладбище трилобитов, — Джордж подмигнул.

Я представил, как он засевает холмы доисторическими рыбами и папоротниками, возможно, купленными в сувенирной лавке при музее. Дети будут рады.

— Принесите одну штуку мне, — попросил я.

— Raus, Kinder, — окликнул он детей. — Alle Kinder raus![18]

Он уехал в парк, и вскоре после этого пошел снег. Я отправился в супермаркет пополнить запасы какао, потыренного немецкими детьми. Там мы встретились с Джули Эйсенман — жена ветеринара-хирурга толкала перед собой тележку с убогим до странности набором: овощи, бумажные полотенца, жидкость для чистки ковров — ничего веселого и приятного на вид, или хотя бы яркого.

— Давно ждала, когда ты объявишься, — сказала Джули. — Твой отец сказал, что ты приехал.

— Мне он сказал, что ты вышла замуж.

— Так и есть.

— Ну и?

Джули пожала плечами.

— Приходи как-нибудь на ужин. Карл будет рад.

Она потянулась за бутылкой со стеклоочистителем. В миг, когда ее рука оказалась впереди, голова откинулась назад, а воротник блузки отстал от шеи, Джули стала поразительно похожа на девушку в телескопе. У нее были глубже посажены глаза, волосы она зачесывала наверх, однако во всем остальном эти две женщины были словно два кадра одного фильма, разделенные всего лишь временем.

— Джули, — мягко сказал я, — ты потрясающе выглядишь.

— Скажешь тоже!

— Нет, — сказал я, — действительно потрясающе.

Она схватила меня за руку и затащила в пустой проход, где были сложены ручки и бумага.

— Отец за тебя волнуется, — пробормотала Джули.

— С чего бы это?

— Он думает, тебе нужно больше разговаривать с людьми. Тогда ты почувствуешь себя лучше.

— Он может думать все что угодно.

— Так говорят все ненормальные.

— Я вполне нормален.

— Я слышала про твою подругу. Сочувствую.

Подошел какой-то мальчик спросить, не знаем ли мы, где тут у них блокноты с замочками.

— Все здесь, мой хороший, — сказала Джули. Затем мне: — Хотя я слышала, это не такая уж большая потеря.

Мальчик смотрел на нас.

— Давай-ка приходи прямо сегодня, — предложила Джули.

— Хорошо.

Она продиктовала мне адрес: на той стороне озера.

Я вывалился из супермаркета в мир, вдруг потерявший свою прозрачность. Снег налип на деревьях, машинах и моих бровях. Я шел по улице с полузакрытыми глазами и открытым ртом. Я искал разницу во вкусе снежинок, силясь понять каждую по отдельности, выяснить, во что они складываются все вместе.

В четырнадцать лет мы с Джули Эйсенман искали в озере Коммонсток сокровища. Мы старались нырнуть как можно глубже и запустить руки в тягучие водоросли. Мы добывали оттуда ракушки, ботинки и пивные бутылки, которые ребята постарше бросали в воду. Однажды, выбравшись из озера, я отдал Джули найденный там белый камень. Она поцеловала меня в губы и обняла так, что я почувствовал своим животом ее голый живот.

— Пошли ко мне, — предложила она.

— Потом, — ответил я, опасаясь, что от меня потребуется что-то красивое и страшное.

— Приходи вечером, — она помахала мне с крыльца рукой, и я заметил, как в такт дыханию втягиваются и выпирают ее ребра. Я шел домой по обочине дороги, специально наступая на острые края камней, чтобы поранить ноги. Вечером я никуда не пошел — боялся незаметно выбираться из дому, боялся пробираться в темноте вокруг озера, боялся того, что произойдет, если я к ней приду.

Белизну за окном назвали по радио снежной бурей. Школьников распустили по домам, по радио прозвучало штормовое предупреждение. Я приготовил отцу чай и сказал, что поеду в город к Джули Эйсенман. Я попробовал рассказать ему о своем открытии.

— В телескоп можно увидеть то, что было много лет назад, — сказал я. — Как будто все когда-то происходившее происходит сейчас где-то очень далеко. То есть, конечно, не сейчас, ведь на самом деле мы видим в небе все очень старое. — Я принес ему статью из «Азимута», самого литературного из всех журналов для

небесных энтузиастов. Статья называлась «Телескоп: Окно в затерянный мир?». Автор объяснял, что если на достаточно большом расстоянии от земли поднять в космос достаточно мощный объектив, то взгляду станут доступны предполагаемые события, и прямо сейчас можно будет увидеть нашу планету в далеком прошлом. — В такой телескоп можно было бы наблюдать за Платоном и Сократом, Микеланджело и Ван Гогом и, наверное, узнать о них больше, чем мы знаем сейчас.

— Зачем инопланетянам смотреть на Платона?

— Не в этом дело. А в том, что телескоп всегда смотрит в прошлое.

Отец одарил меня взглядом, который я помнил еще по летним дням моего детства. Каждый август он по несколько недель проводил в специальном лагере для учителей, откуда возвращался обожженный солнцем, искусанный комарами и с далеким рассеянным взглядом человека, взобравшегося на настоящую гору и заглянувшего за воображаемый горизонт. В мое пятнадцатое лето, пока он был в своем лагере, мать уехала в Огайо. После этого отцовский взгляд становился все пристальнее, ближе, и можно было даже подумать, что он доберется и до меня, но этого не произошло. Просто мир далеких вещей вокруг моего отца вдруг сделался ближе, сместив все, что до сих пор было от него скрыто.

— Это как-то связано с гравитационными волнами. Гравитационные волны изгибают свет и направляют его обратно к Земле.

— Когда ты был маленьким, мы ни в чем тебе не отказывали, — сказал отец. — Мы тебя очень любили.

— Ты мне не веришь? Приходи, сам увидишь.

— Мы очень сильно тебя любили, — сказал он, глядя мимо меня в окно на обсерваторию. Заваленная снегом, она напоминала эскимосскую хижину. Отец смотрел на нее так, будто не мог понять, с какой стати эта эскимосская хижина, этот бункер, эта непроницаемая штука оказалась у него во дворе, между ним и его обожаемым озером, которое, впрочем, все равно было не разглядеть из-за снега.

Джули с мужем жили в старом фермерском доме, переделанном изнутри так, что он стал похож на галерею, демонстрирующую быт Новой Англии. Разнокалиберные лампы, керамическая супница, островок кухни, где Карл шинковал овощи. Маленький и чисто выбритый, он подозрительно напоминал тех внешне жизнерадостных людей, которые, когда их никто не видит, любят давить руками мелкие предметы. Джули,

наоборот, была воплощением красоты и спокойствия. Она распустила волосы и, вопреки погоде, надела летнее цветастое платье. Мы что-то пили в тесной комнатке и говорили о буране, как теперь называло этот снегопад радио. Выяснилось, что таких сильных и ранних снегопадов не было с 1915 года.

— Мифическая погода, — пошутил Карл. — Значит, скоро конец.

— Конец чего?

— Это еще ерунда по сравнению с весенним ураганом в Нью-Йорке.

— Именно это я и хотел сказать. Великаны вырвались из Йотунхейма,[19] — сказал Карл.

— Из Йотунхейма?

— Карл, ты говоришь загадками.

— Тот ураган в Нью-Йорке тоже был ужасный.

— У тебя там вода не кипит?

Карл ушел проверять кастрюлю. Мы с Джули остались на диване, я подвинулся поближе и как бы невзначай коснулся ее руки.

— Я без тебя скучал, — сказал я. Секунду она смотрела на меня с нежностью, затем отодвинулась на другой край дивана и так там и просидела, пока мы не пошли ужинать.

Карлу захотелось узнать, тяжело ли было строить обсерваторию.

— Не очень, — сказал я. — Нужны всего-то элементарные навыки.

— Готов спорить, этого мало.

— Мне немного помогли с фундаментом. Но все остальное я сделал сам.

— И она не рухнет? — спросила Джули.

— А почему она должна рухнуть?

— Никто в тебе не сомневается, — пояснила Джули. Карл заверил меня, что он сам никогда бы ничего подобного не сделал.

— Что значит, не сделали бы? Вы считаете обсерваторию глупой затеей?

— Карл просто хотел сказать, что ты посвятил ей много времени.

— Очень многие люди строят собственные обсерватории. Обычные люди, из Пенсильвании и других штатов.

— Ну да, конечно.

— Вы считаете их всех ненормальными?

— Успокойся, никто ничего подобного не говорит.

Я задал Карлу несколько вопросов о ветеринарной хирургии. Он словно бы растерялся и ответил, что вообще-то в этом не

разбирается — его работа придумывать названия новым сортам растений, которые выводят в лаборатории Миссури.

Не помню, о чем там дальше шел разговор.

После ужина Карл ушел на кухню мыть посуду, а Джули ущипнула меня за руку.

— Скотина, — прошипела она, — как ты мог?

Я не понял, что я сказал обидного. По-моему, лечение больных животных — одна из самых благородных профессий, которые только можно себе представить, благороднее даже, чем лечить больных людей, поскольку с животными трудно рассчитывать на благодарность.

— Ветеринарным хирургом, — объяснила Джули, — был мой первый муж.

— Как его звали?

— Ансельм.

— А чем он был плох?

— Он мог разговаривать только о животных.

— Джули, — спросил я, — а я тебе когда-нибудь нравился?

— Нет.

— И тебе никогда не хотелось, чтобы я еще раз тебя поцеловал?

— Мы никогда не целовались.

— Неправда. — Я рассказал ей о камне, и об озере, и о том, как она звала меня к себе. — В ту ночь ты ждала меня и раскладывала карты. Но я не пришел.

— Ты пьян, — сказала она.

— Не в этом дело. — Я объяснил, что в мой телескоп, купленный в «Неботорге» в Мистике, Коннектикут, можно увидеть прошлое. Я рассказал о возрасте звезд, о гигантском объективе в космосе, о том, как с помощью системы зеркал, линз, трубок и механизмов телескоп может принимать световые сигналы, покинувшие Землю много лет назад. — Я видел тебя в твоей комнате, когда тебе было четырнадцать лет, — сказал я. — Я видел все так, словно это происходит сейчас.

— Ты совсем пьян, — сказала Джули.

— Ты была очень красива, — сказал я.

— Карл, отвези его домой. Он не может вести машину.

Не помню, как мы ехали вокруг озера. Оказывается, меня затошнило, и я попросил Карла остановиться. Оказывается — по словам Карла — я долго стоял на коленях, то блюя, то просто глядя в воду.

## *III*

После того вечера жалюзи на окне Джули были все время опущены. Но зато я сделал другое открытие: на Горе-Голове горел костер. Вокруг огня двигались маленькие тени, одни быстрее, другие медленнее. Сначала я не мог разобрать, кто это, потом прямо у меня на глазах тени превратились в фигуры, а фигуры — в детей. Они махали руками, прыгали и бегали вокруг костра. Что они там делают? Родители знают, где их дети, или те просто улизнули из дому и заняты сейчас чем-то предосудительным? Например, пьют пиво, а когда им надоест танцевать, отправятся в кусты тискаться. Я ликовал. Точно так, думалось мне, чувствуют себя астрономы, когда в их тщательно вымеренном участке ночного неба появляется комета — что за немыслимая честь, пусть только на одно мгновение, стать единоличным владельцем, что там говорить, небесного тела! Нечто подобное я чувствовал по отношению к этим детям. Ибо за ними наблюдал я один, они были моими, даже более моими, чем если бы в этот самый миг заявились ко мне в обсерваторию — на самом деле их физическое воплощение только разрушило бы все мои к ним теплые чувства, такие в тот момент сильные, что пришлось вытереть глаза, чтобы не замочить окуляр.

Счастливые дети, думал я, закрывая крышу обсерватории. Я сварил на спиртовке какао, стал пить и думать о Джули, молодой и старой: годы выжигают людей, и вместо танцев вокруг костра они ходят по магазинам или выходят замуж за мужчин-головешек с именами Карл или Ансельм. Разумеется, то же самое можно сказать о звездах. Если бы звезда открылась нашим глазам такой, какая она сейчас, а не тысячу лет назад, вышла бы печальная картина: обращающаяся в ничто огромная черная глыба — ком, которого вы и знать не захотите.

На следующую ночь дети были там же и танцевали с еще большей энергией, хотя их костер казался с виду немного меньше. Может, они заблудились? Может, то, что я считал танцами, было сигналом и просьбой о помощи, может, они размахивали руками и кричали, чтобы пришли взрослые и увели их с этой непривычной для них высоты? Но что я мог поделать? Они заблудились не только во времени, но и в пространстве — то, что я видел в телескоп, происходило много лет назад и, может быть, совсем в другом месте. Кто-то из детей, кажется, махал флагом. Я вспомнил прочитанную давным-давно историю о том, как дети играли на острове посреди озера. Кажется, она плохо кончилась. Но у детей на той горе был вполне довольный вид. Это невозможно, я знаю, но в тишине обсерватории я словно слышал их восторженные крики.

В День благодарения опять шел снег, и я поехал в Коммонсток в кино. Показывали фильм-катастрофу — о том, как в Лос-Анджелесе разразилась эпидемия чумы, а принесли ее загадочные существа, возможно, инопланетяне, чьи тела были извлечены при раскопках из доисторических отложений. В финале умненькая симпатичная биологиня и саркастичный поп-расстрига спасают мир, установив контакт с хорошими инопланетянами, явившимися на землю с вакциной и мешком тысячелетних тайн на хлипких красноватых плечах.

Шагая к оставленной машине, я встретил Джорджа Пулиадиса. Он словно постарел на десять лет — помятое лицо обросло щетиной, которая совершенно ему не шла.

— Есть пятьдесят долларов? — спросил он меня.

— Для чего?

— Отдам, как только увижу вас в другой раз.

— Конечно. — Уж эту-то малость я мог для него сделать в благодарность за всю его помощь.

— Как прошел поход? Много нашли ископаемых?

— Тсс!

— В чем дело? Я думал, вы любите природу.

— Природа, — сказал Джордж, — будет лупить вас под зад при каждом удобном случае. При каждом. — Он забрался в свою машину, укатил прочь и, насколько мне известно, никто его с тех пор в Коммонстоке не видел.

Отец заглянул в обсерваторию меня навестить. Стал разглядывать фотографии детей, которые я сделал фотоприставкой к телескопу. На одной было отчетливо видно, как они прыгают на фоне костра. На другой они держались за руки, хотя, возможно, двое, стоявшие прямо, несли третьего, лежавшего у них на руках.

— Что это?

— Что-то в небе.

— Это галактики? — он указал на языки пламени.

— Скорее туманность, — ответил я.

— Господи, какая еще туманность. А это что? — он показал на верхнюю часть туловища одного из детей.

— Темное вещество.

Отец присвистнул.

— Надо показать астрономам. Готов спорить, им не каждый день доводится смотреть на такие фотографии.

— Это точно.

— В этих фотографиях что-то есть.

— А то.

— Между прочим, ты давно видел Джорджа?

— Давно. А что?

Он покачал головой.

— Говорят, что-то с ним стало не то с тех пор, как он вырыл нам этот слишком глубокий фундамент.

Я напомнил отцу, что фундамент — наша работа, а не Джорджа.

— Гм, — ответил он. — В этих фотографиях что-то есть.

— Да, конечно.

— Ты себя нормально чувствуешь?

— Как никогда лучше.

После снега в День благодарения дети исчезли с вершины горы. Я искал их ночь за ночью, на Горе-Голове и ближайших холмах, но их костер погас, а танец закончился. Мне трудно было смириться с мыслью, что их больше нет. Целыми днями я валялся на диване, читал журналы, а когда темнело, понемногу гулял вдоль озера. Однажды вечером совершенно случайно я заметил что-то вроде планеты, зависшей над зубцами деревьев. Она казалась размытой и как бы пунктирной, неподвижной и почти совсем неинтересной по сравнению с тем, что я видел раньше, но, по крайней мере, она напомнила мне, что не стоит бросать наблюдения. Мы болтаемся без дела, словно уже наступил конец света и ничего нельзя исправить, а оказывается, сами того не ведая, мы все это время заселяли небеса собственными ошибками.

В январе я уехал из Коммонстока обратно в Нью-Йорк, где нашел работу в рекламном агентстве, занимающемся исследованием рынка на предмет выпуска водосточных труб нового типа. Я снял квартиру в Озон-парке, высоко над разбросанными по улицам фонарями, и установил свой телескоп на самодельное переносное основание. Я редко в него смотрю, но иными ночами все-таки засиживаюсь допоздна, грядя через окуляр на северо-запад. Я спрашиваю себя, что стало с моими детьми, как они спустились с горы и когда же, когда же они придут ко мне.

*Перевод Ф. Гуревич*

# МОЛЛЮСКИ
# Артур Брэдфорд

Наткнувшись в чистом поле на старые машины, мы с Кеннетом принялись их обыскивать. Думали: вдруг там найдется что-то ценное. Однажды в такой машине Кеннет откопал старый радар — из тех, которыми полицейские измеряют скорость. Радар не работал, но Кеннет сказал, что пригодится на запчасти.

Эти машины посреди поля, можно подумать, побывали на пожаре. Краска на них пузырилась и отслаивалась. Прямо сквозь пол пробился бурьян и всякая другая растительность. Под сиденьем старого «форда» я нашел серебряную чашку. Чистое серебро, представляете?

Кеннет заполз в старый «понтиак» в стороне от всех остальных машин. Мой друг не пробыл там и минуты, как вдруг заорал, чтобы я немедленно бежал к нему. Я завозился, а Кеннет все кричал:

— Быстрее! Быстрее, ты только посмотри…

Кое-как отодвинув пассажирскую дверь, я заглянул внутрь и увидел, что Кеннет таращится на открытый бардачок. Я тоже сунул туда нос и — что за зрелище! Прямо в бардачке сидел трясущийся желтый слизень величиной примерно с буханку хлеба.

Мы затаились — чтобы убедиться, что он шевелится. Кожа блестела от слизи.

— Господи, — только и сказал Кеннет.

Короче, мы решили забрать гигантского слизняка с собой. По правде говоря, идея была Кеннета. Это он сказал:

— Я знаю, что мы сейчас сделаем. Отвезем малютку домой.

В тот момент я об этом, может, и не подумал, но вообще-то у Кеннета есть деловая хватка. Он на несколько лет старше меня и раньше зарабатывал себе на жизнь всякими разными штуками. Мы нашли большой полиэтиленовый мешок, из тех, что дают в супермаркетах, я подержал его открытым, а Кеннет закатил туда слизняка. Тот попросту свалился — шлеп. Слизняк был тяжелый, как большой кусок ветчины, разве что помягче.

Вот, значит, что мы добыли из этих машин минут за пятнадцать: серебряную чашку (чистое серебро, мое), старую зажигалку «Зиппо» (поломанную, Кеннета) и гигантского слизня (десять фунтов, не меньше, в основном Кеннета).

Всю обратную дорогу я держал слизняка на коленях. Кеннет твердил, чтобы я был с ним поаккуратнее.

— Не поцарапай кожу, — говорил он. — Смотри, чтобы на нее не попала соль. — Где, интересно, я возьму соль?

Мы приехали к Кеннету. У него был симпатичный домик, только весь захламленный, поскольку ни сам Кеннет, ни его ненормальная жена Тереза никогда ничего не выбрасывали. Как-то он высказался по этому поводу:

— Десять долларов в месяц, чтобы какие-то мудаки приезжали и уволакивали хлам. Почему я должен им платить? Назови мне хоть одну причину.

Кеннет был вне себя от счастья, предвкушая, как покажет Терезе слизняка. Настолько вне себя, что, с визгом тормозя перед домом, опрокинул полный мусора пластмассовый ящик из-под молока.

— Блин, — буркнул он и выскочил из машины.

— Тереза, милая, беги скорее сюда! Скорее, смотри, что у нас есть! Смотри, что мы нашли! — закричал он.

Появилась Тереза с глазами такими круглыми, будто ей не терпелось увидеть, что мы там для нее купили. Тереза совсем маленькая, почти как ребенок. Они с Кеннетом очень забавная пара, Кеннет — вообще-то здоровяк, здоровее многих. Не знаю, что надеялась увидеть Тереза в этом полиэтиленовом мешке, но уж всяко не огромного желтого слизняка.

Она завизжала, бросилась к Кеннету и двинула ему в челюсть.

— Как ты посмел притащить мне это дерьмо?!

Поскольку Кеннет был занят — держался рукой за ушибленную челюсть, — пришлось вступить мне.

— Мы подумали, за него дадут неплохие деньги.

— А то как же, — Тереза уперла кулачки в бедра. — За эту уродину!

Мне стало неловко. О боже, думал я, посмотрите на меня. Что за идиот! Кроме всего прочего, это я держал мешок. Наверное, я и сам в тот момент был похож на червяка.

Но Кеннету попала под хвост вожжа.

— Уродины тоже стоят денег.

Тереза, видимо, так не считала, ибо развернулась и ушла в дом. Не баба — огонь! Да, я знаю, она жена Кеннета, и все равно она мне очень нравилась. НЕ ВОЖЕЛАЙ ЖЕНЫ БЛИЖНЕГО СВОЕГО, верно? А пошло оно все в жопу, думал я, глядя на Кеннета. Он же не Казанова. Собиратель слизняков. Где он умудрился добыть себе такую женщину?

Мы сунули гигантского слизняка в старый аквариум. Между прочим, там еще были рыбки, но Кеннет запросто выплеснул их на пол, чтобы освободить для слизня место. Выплеснул прямо на

пол гаража, и они запрыгали по цементу.

— Я ей покажу, — повторял он. — Я срублю за слизняка монет, и мы с тобой поедем куда-нибудь вдвоем, а ее не возьмем.

— Ага, — соглашался я, хотя на самом деле думал вот о чем: это мой шанс. Знаю, что глупость, но не забывайте: Кеннет только что выкинул на землю беззащитных рыбок. Где же его сострадание?

Так что пока он нянчился со слизняком, я ушел в дом искать Терезу. Она сидела за станком и ткала. У них дома огромный ткацкий станок. Он занимал целую комнату, всю заваленную нитками и пряжей. Тереза ткала из нее ковры.

Я сказал:

— Эй, у меня для тебя сюрприз.

Она ответила:

— Надеюсь, не очередной долбанный моллюск.

— Нет, — сказал я, — это чашка, чистое серебро.

Я протянул свою находку Терезе, и она оборвала работу. Она как-то умеет поднимать одну бровь. Выходит очень симпатично. Она сказала:

— Ты точно хочешь мне ее подарить?

С деньгами у меня и вправду тогда было туго, и эта штука пригодилась бы мне самому, Тереза была права. Так что я сказал:

— Ну, может, придется оставить ее у себя, — и Тереза понимающе кивнула. Ну и хитрюга.

Вошел Кеннет со словами:

— Мне нужно кое-кому позвонить.

Дело шло к вечеру. За окнами темнело, а Кеннет уже который час висел на телефоне.

— Ага, Лерой, — говорил он, — у меня есть для тебя интересная штука. Думаю, тебе понравится… Ага, точно… Сегодня нашли… Гигантский слизняк… Больше десяти фунтов, запросто… Что?.. Брось, Лерой… Лерой?.. Блядь! — И он набирал другой номер.

Я, между тем, изо всех сил охмурял Терезу.

— Какой красивый ковер!

— Спасибо, — сказала она. Ее детские ручки носились вверх-вниз по вертикально натянутым нитям. Ковер был разноцветный, в ярко-желтых и огненно-красных тонах. Честно говоря, уродство. Если бы что-то подобное лежало у меня на полу, меня бы затошнило.

Кеннет:

— Здравствуйте, мистер Логан… Да, Боб Уиллис порекомендовал мне обратиться к вам… Именно так, он сказал, вашу организацию может заинтересовать одна любопытная

научная находка, которую я…

— Прости меня за этого слизняка, — сказал я Терезе.

Она ответила:

— Да ладно, ерунда. Я уже привыкла, Кен вечно носится со всякой херней.

С херней! Она явно им недовольна, подумал я про себя.

Кеннет кричал в телефон:

— Боже мой! Это ужасно! Ваши люди, наверное, чего-то перекурили! — Он швырнул трубку и ворвался к нам.

— Эти сатанисты собрались сжечь моего слизня! — объявил он. — У них вуду ритуал, для которого им нужны моллюски! Да пошли они на хуй! — У Кеннета был усталый вид. Он теребил свои сальные волосы то с одной, то с другой стороны.

— По-моему, ты принимаешь эту штуку слишком близко к сердцу, милый, — сказала Тереза.

— Ага, — согласился я. — Сколько они тебе предлагают?

Кеннет обалдел. Он гневно развернулся и выскочил из комнаты.

— Фашисты! — возопил он. — Блядские торгаши!

Тереза обернулась ко мне:

— Давай выйдем, мне нужно тебе кое-что сказать.

Я ответил:

— Ну конечно. — А думать мог только об одном: это мой шанс, это мой шанс.

Деваться в этом захламленном доме было некуда, так что мы остановились в гараже. Там сидел в аквариуме гигантский слизняк, залитый светом и переливающийся желтизной. Ну и чудище! Он не помещался в аквариум. Склизкий хвост лупил по стеклу.

— Я очень надеюсь, он не удерет, — сказал я.

Торжественно глядя на меня, Тереза произнесла:

— Я ничего не говорила Кеннету. И никому вообще. У меня будет ребенок.

— Ой. Ай, — сказал я. — Ребенок.

Тереза заплакала, а я заключил ее в свои объятия. Положил ей руку на живот.

— Где он? — Я ничего не чувствовал.

— Он еще маленький, — объяснила Тереза.

— А-а, — сказал я.

Так мы и стояли в обнимку в этом странном аквариумном свете. Я убрал руку с живота Терезы и махнул в сторону трясущегося слизняка.

— А что если твой ребенок будет как эта штука? — Я хотел как бы пошутить, но Тереза не поняла.

— О господи, — ахнула она.

Я придвинулся к ней поближе и почувствовал под ногой хлюпанье дохлой рыбки. Романтики во всем этом было маловато, но я все же наклонился и поцеловал Терезу.

Она не оттолкнула меня, но как-то не особенно воодушевилась. Губы остались холодными, собственно говоря. Так что мы перестали целоваться. Я обнимал ее, крепко прижимая к себе хрупкое тело. И шептал на ушко:

— Я заберу тебя отсюда, Тереза. Я буду о тебе заботиться.

Разумеется, я не мог этого сделать. Я всегда смотрел на Кеннета снизу вверх. Не знаю, с чего мне в этот миг вдруг пришло в голову, будто я стану для Терезы лучшим мужем, чем он. Но это не имело значения. Пока мы обнимались, в гараж заявился Кеннет и застыл в изумлении. Он посмотрел сначала на Терезу, потом на меня, потом опять на Терезу.

Затем он посмотрел на слизняка.

— Черт, — пробормотал он.

Кеннет бросился к гаражной двери и резко ее поднял. Ворвался ночной воздух. Шагнув к аквариуму, Кеннет запустил в него руки. С грозным рычанием поднял чудовище над головой. И так застыл, держа слизняка на вытянутых руках, словно кубок за первое место или призовую рыбу; он смотрел сверху вниз на меня и на Терезу.

— Будь я проклят, — провозгласил Кеннет, — если позволю, чтобы эта штука встала между нами.

Вылетев через гаражную дверь, он со всей силы швырнул слизняка в пространство ночи. С глухим стуком тот плюхнулся на траву.

— И плевать, сколько они собирались мне за нее заплатить, — добавил Кеннет, почти рыдая.

Разумеется, к этому времени я уже выпустил Терезу, она бросилась к Кеннету и обвила его руками. Кеннет вытер ладони о штаны, чтобы избавиться от слизи, и тоже обнял Терезу. Я в эту минуту чувствовал себя последним мерзавцем, но должен признать, так оно, пожалуй, лучше.

Слизень в ту же ночь отправился в бега, оставив после себя широкий слизистый след, исчезавший среди деревьев. Возможно, нашел еще какой-нибудь заброшенный бардачок и назвал его своим домом. Позже выяснилось, что какой-то коллекционер предлагал за слизняка пятьсот долларов, так что со стороны Кеннета это был не просто жест — вот так взять и выбросить. Я даже расстроился, узнав о таких деньгах. Решил, что Кеннет дурак. Но потом подумал: кто мы такие, чтобы решать судьбу земных тварей? В конце концов, моллюски первыми заселили

нашу планету. Миллионы и миллионы лет они странствовали по земле задолго до того, как на свет появились первые из нас.

*Перевод Ф. Гуревич*

* * *

Кому:

_ _ _
Роберту Дж. Миллеру
Генеральному директору «Райт Эйр»
30 Хантер-лэйн,
Кэмп Хилл, Пенсильвания,
17011

_ _ _
Дорогой мистер Миллер,

Мы с Вами не знакомы, мое дело не имеет к Вам непосредственного отношения, и тем не менее я претендую на Ваше внимание. В последние несколько недель я отправляю письма людям, подобным Вам, от имени пса по кличке Стивен. Вот одно из таких писем, оно для Вас:

Я Стивен, родился, когда дети пришли из школы домой. Я лаял все дни напролет, сам не зная зачем. В те времена я просто лаял и лаял до хрипоты, до потери сил, зная прекрасно, что сам не знаю, зачем я лаю, и все время надеясь когда-нибудь с этим разобраться.

Вчера я бегал среди высоких вязов, их там целая сотня, высажены в ряд. Я бежал к поляне с легкой нежно-зеленой очень мягкой травой, глаза на бегу стекленели от холода, я бежал и вспоминал сестру, с которой нас разлучили много лет назад, еще до того, как у нее открылись глаза. Шерсть у меня на вид как наждачная бумага, зато на ощупь — роскошная.

Я так и не знаю, зачем я лаю. Почти неделю стоит пасмурная погода, и наконец-то мне хорошо, я отдыхаю и думаю, что никогда больше не буду лаять. Но совсем скоро окажется, что я лаю опять, лаю до хрипоты, не могу прекратить, и, господи боже, люди смотрят на меня, как будто я сейчас умру от собственного лая.

Пожалуй, вам пора заняться делом, мистер Миллер.

От кого:

– – –
Дэниел О'Мара
5811 Меса-драйв 216
Остин, Техас, 78731
– – –

# ПЧЕЛКИ
# Дэн Чаон

Фрэнки, сын Джина, закричал и проснулся. В последнее время такое происходило часто, раза два-три в неделю и в любое время: в полночь, в три часа ночи, в пять утра. Высокий истошный стон вырвал Джина из забытья, словно укус острых зубов. Ничего хуже этих воплей Джин не мог вообразить — это был крик ребенка, который умирает страшной смертью: падает с крыши; застрял в каком-то аппарате, который отрывает ему руку; оказался в пасти хищника. Сколько бы раз Джин ни слышал этот крик, он всегда вскакивает, у него в сознании проносятся дикие картины, он бежит, с грохотом врывается в детскую и видит там Фрэнки, сидящего в кровати с закрытыми глазами и широко разинутым ртом, как у детей, поющих рождественские гимны. Ощущение такое, словно он в состоянии спокойного транса, а если бы его в этот момент сфотографировали, то можно было бы решить, что ребенок зажмурился в ожидании ложки мороженого, но никак не предположить, что это он только что испустил кошмарный вопль.

— Фрэнки! — кричит Джин и резко хлопает в ладоши перед самым лицом сына. Это помогает. Крик всегда резко обрывается, Фрэнки открывает глаза, моргает, смотрит на Джина, слабо соображая, что к чему, потом снова устраивается на подушке, недолго сопит и постепенно затихает. Спит он крепко, он всегда спит крепко, но даже теперь, несколько месяцев спустя, Джин не может удержаться — он наклоняется и прикладывает ухо к груди сына, чтобы убедиться, что тот по-прежнему дышит, а сердце у него бьется. Каждый раз все оказывается в порядке.

Объяснения они так и не нашли. По утрам ребенок ничего не помнит, а в тех редких случаях, когда им удавалось разбудить его прямо во время приступа, он был всего лишь сонным и смурным. Один раз Карен, жена Джина, трясла и трясла Фрэнки, пока тот наконец не проснулся, ничего не соображая.

— Милый! — сказала она. — Милый, тебе приснился страшный сон?

Но Фрэнки только что-то проворчал.

— Нет, — ответил он. Он был удивлен и недоволен, что его разбудили.

Никаких закономерностей. Приступы случаются в любой день недели и в любое время ночи. Они никак не связаны ни с тем, что он ел, ни с тем, чем он занимался днем, ни — насколько они

могут судить — с психологическими перегрузками. Днем он совершенно нормальный и веселый ребенок.

Несколько раз они водили его к педиатру, но та не смогла сказать ничего внятного. Физически ребенок вполне здоров, сказала доктор Банерджи. По ее словам, с детьми этой возрастной группы (Фрэнки пять лет) иногда случается подобное, но чаще всего такие аномалии проходят сами.

— У него были психологические травмы? — спросила врач. — Может быть, что-нибудь дома?

— Да нет, — пробормотали Джин и Карен одновременно и покачали головами, а доктор Банерджи пожала плечами.

— Дорогие родители, — сказала она. — Скорее всего, беспокоиться просто не о чем. — Она быстро им улыбнулась. — Я понимаю, вам трудно, но я бы посоветовала подождать, пока все само уляжется.

Но доктор Банерджи никогда не слышала этих криков. Утром после «ночных кошмаров», как называла их Карен, Джин был нервным, на взводе. Он работал шофером в Объединенной службе доставки посылок и весь день краешком уха улавливал какой-то едва различимый гул — настойчивое электрическое жужжание следовало за ним повсюду, пока он петлял в своем фургоне по бесконечным улицам. Он останавливался на обочине и прислушивался. На ветровом стекле плясали тени шелестящей летней листвы, а по дороге с ревом проносились машины. Где-то в кронах деревьев стрекотала цикада — звук был вибрирующим, как шум автоклава.

«Что-то дурное уже давно выслеживает меня, — подумал он, — и теперь, наконец, подобралось совсем близко».

Вечерами, когда он приходит с работы, дома все хорошо. Они живут в старом доме в пригороде Кливленда и иногда после ужина вместе копаются на заднем дворе в маленьком огороде, где растут помидоры, тыквы, фасоль, огурцы, — а Фрэнки возится на земле со своим «лего». Гуляют по окрестностям, а Фрэнки едет впереди на велосипеде, с которого лишь недавно сняли маленькие колесики по бокам. Вместе сидят на диване и смотрят мультики, играют в настольные игры или берут цветные карандаши и рисуют. Когда Фрэнки засыпает, Карен сидит за кухонным столом и занимается (она учится в школе для медсестер), а Джин — на веранде, листает журнал или роман и курит. Он обещал Карен, что бросит, когда ему стукнет тридцать пять лет. Сейчас ему тридцать четыре, Карен двадцать семь, и ему все чаще и чаще приходит в голову, что такую жизнь он не заслужил. Ему слишком повезло. На него словно снизошла

«благодать» — это слово часто говорит его любимая кассирша в супермаркете. «Удачи вам и благодати», — произносит она, когда Джин расплачивается, а она протягивает ему чек, и ему кажется, что она просто и ласково благословила его. И тогда он вспоминает один эпизод из прошлого, когда пожилая медсестра в больнице взяла его за руку и сказала, что молилась за него.

Сидя в шезлонге и делая очередную затяжку, он думает об этой медсестре, сам того не желая. Вспоминает, как она наклонялась над ним и расчесывала ему волосы, а он глядел на нее, весь закованный в гипс и терзаемый мучительным абстинентным синдромом и детоксикацией.

Тогда он был совсем другим. Он был алкоголиком, чудовищем. В девятнадцать он женился на забеременевшей от него девушке и принялся медленно, но верно пускать их жизнь под откос. Когда он их бросил, оставил жену с сыном в Небраске, ему было двадцать четыре и он был серьезно опасен и для себя, и для других. Сейчас он думает, что, сбежав, он оказал им услугу, но, вспоминая об этом, он никак не может избавиться от угрызений совести. Несколько лет назад, уже бросив пить, он попытался их разыскать. Ему хотелось покаяться за то, что он вытворял, задним числом заплатить за содержание ребенка и попросить прощения. Но он нигде не смог их найти. Мэнди уже не жила в том маленьком городке в Небраске, где они познакомились и поженились, а нового адреса они не оставили. Ее родителей не было в живых. Куда она переехала, никто не знал.

Карен была не в курсе этих подробностей. К его облегчению, она не слишком интересовалась его прошлым, хотя и знала, что когда-то он пил и это было скверное время. Знала она и о том, что он был женат, но не знала, как далеко все зашло. Она не знала, например, что у него есть еще один сын, не знала, что однажды вечером он сбежал от первой семьи, даже не сложив вещи, — просто уехал на машине, зажав коленями фляжку, и гнал на восток что было сил. Не знала она и про автокатастрофу, в которой он должен был погибнуть. Она не знала, каким он был мерзавцем.

Карен была славной. Может быть, чуточку слишком «домашней». Сказать по правде, ему становилось стыдно — и даже страшно, — когда он представлял себе, что она могла бы ему сказать, узнай она всю правду о его прошлом. Он не был уверен, что, узнав все от начала до конца, она сможет по-настоящему доверять ему, и чем дольше они знали друг друга, тем меньше ему хотелось рассказывать. Ему казалось, что он сбежал от себя прежнего, а когда Карен вскоре после свадьбы

забеременела, он сказал себе: у меня появился шанс все переиграть, переписать начисто. Они вместе с Карен купили дом, осенью собираются отправлять Фрэнки в детский сад. Он прошел полный круг и вернулся ровно к той же точке, где его предыдущая жизнь, жизнь с Мэнди и сыном Ди Джеем, рухнула в тартарары. Он поднял глаза, когда Карен подошла к задней двери и позвала его из-за ширмы.

— Думаю, уже пора спать, милый, — ласково сказала она, и он выкинул из головы все мысли и воспоминания. Он улыбнулся.

В последнее время он находился в странном состоянии. Стали сказываться месяцы регулярных ночных пробуждений. После приступов Фрэнки ему бывало трудно заснуть. Когда Карен будила его по утрам, он часто бывал заторможен, соображал туго, как будто с похмелья. Не слышал будильника. Выбираясь из постели, ощущал, что ему трудно контролировать свое настроение. Он буквально чувствовал, как внутри вскипает злоба.

Конечно, он изменился и изменился давно. Но все-таки его не оставляло беспокойство. Говорят, после нескольких безмятежных лет накатывает вторая волна: пройдет лет пять-семь, и она без предупреждения тебя накроет. Он подумывал, не походить ли опять на собрания Анонимных алкоголиков, хотя он не бывал там уже довольно долго. С тех пор, как встретил Карен.

Нет, у него не дрожали руки, когда он проходил мимо винного магазина, он не испытывал ни малейшего дискомфорта, даже когда сидел с друзьями в кабаке и весь вечер пил содовую или безалкогольное пиво. Нет. Самое неприятное начиналось ночью, когда он засыпал.

Ему стал сниться его первый сын. Ди Джей. Может быть, тут как-то сказалась его тревога за Фрэнки, но несколько ночей подряд Ди Джей являлся ему в снах — там ему было лет пять. В этих снах Джин был пьян и играл с Ди Джеем в прятки во дворике за кливлендским домом, где он жил сейчас. Там растет плакучая ива с густой кроной. Джин наблюдал, как ребенок появляется из-за нее и бежит по траве, счастливый, бесстрашный, как бежал бы Фрэнки. Обернувшись, Ди Джей смотрел через плечо и хохотал, а Джин ковылял за ним — счастливый, хмельной папаша, само благодушие объемом в шесть банок пива. Сон был настолько реальным, что, проснувшись, Джин все еще чувствовал себя пьяным. Чтобы хмель сошел, требовалось несколько минут.

Однажды утром, после того как ночью этот сон приснился ему в особенно яркой версии, Фрэнки, проснувшись, пожаловался

на странное ощущение. «Вот тут», — сказал он и показал на лоб. Нет, голова не болела. Он сказал, что в голове у него как будто «пчелки». «Пчелки, и они жужжат!» Он потер рукой бровь. «У меня в голове». На секунду задумался. «Знаете, как пчелки бьются об стекло, если залетели в дом и не могут улететь?» Это объяснение ему понравилось, он легонько постучал пальцами по голове и сказал: «Жжжжж», — демонстрируя, как они жужжат.

— Тебе больно? — спросила Карен.

— Нет, — ответил Фрэнки. — Щекотно.

Карен бросила на Джина тревожный взгляд. Она уложила Фрэнки на диван и велела немного полежать с закрытыми глазами. Через несколько минут он, улыбаясь, приподнялся и сказал, что все прошло.

— Ты уверен, милый? — спросила Карен. Она откинула его волосы назад и провела ладонью по лбу. — Температуры нет, — добавила она, и Фрэнки нетерпеливо сел: ему вдруг понадобилось отыскать машинку, которую он уронил под стул.

Карен вытащила один из своих медицинских справочников, и Джин заметил, как посерьезнело ее лицо, пока она медленно листала страницы. Она изучала раздел третий — «Нервная система», а Джин смотрел, как она то и дело останавливается, пробегая взглядом перечни симптомов.

— Пожалуй, надо еще раз сводить его к доктору Банерджи, — сказала она. Джин кивнул, вспомнив, что доктор говорила о «психологической травме».

— Ты боишься пчел? — спросил он у Фрэнки. — Ты часто думаешь о пчелах?

— Нет, — ответил Фрэнки. — Вообще не думаю.

Когда Фрэнки было три года, его ужалила пчела в лоб над левой бровью. Это случилось во время прогулки, и тогда они толком не знали, что на пчелиные укусы у Фрэнки аллергия «средней тяжести». Через несколько минут после укуса лицо Фрэнки стало раздуваться, распухать, а глаз заплыл и не открывался. Мордашка была совершенно перекошена. Вряд ли Джину хоть раз в жизни было так же страшно, как тогда, когда он бежал по тропинке, прижав головенку Фрэнки к своему сердцу и мечтая скорее добраться до машины, отвезти сына к врачу, — ему казалось, что ребенок умирает. Сам Фрэнки был совершенно невозмутим.

Джин откашлялся. Ему было знакомо ощущение, о котором говорил Фрэнки, у него самого бывало это, такая вот странная, легкая вибрация в голове. Сказать по правде, он чувствовал ее и сейчас. Джин приложил кончики пальцев к бровям. «Психологическая травма», — пронеслось у него в сознании, но

думал он о Ди Джее, а не о Фрэнки.

— А чего ты боишься? — спросил Джин у Фрэнки секунду спустя. — Боишься чего-нибудь?

— Знаешь, что самое страшное? — спросил Фрэнки и вытаращил глаза, делая вид, что смертельно напуган. — Женщина без головы, она бредет по лесу и ищет свою голову. «Отдай… мою… голову…»

— Господи, где ты услышал этот ужас? — спросила Карен.

— Папа мне рассказывал, — ответил Фрэнки. — Когда мы ходили в поход.

Джин покраснел раньше, чем Карен с упреком взглянула на него.

— Так-так, — сказала она. — Замечательно.

Он не смотрел ей в глаза.

— Мы просто рассказывали истории про привидения, — тихо сказал он. — Я думал, ему будет весело.

— Господи, Джин! — воскликнула она. — И это при том, что ему снятся кошмары? О чем ты вообще думаешь?

Воспоминания, нахлынувшие на него, были скверными, из числа тех, которых ему обычно удавалось избегать. Он неожиданно вспомнил Мэнди, свою бывшую жену. Карен посмотрела на него точь-в-точь таким же взглядом, что и Мэнди, когда он делал что-то не то. «Ты что, идиот? — говорила она тогда. — Совсем чокнулся?» В те времена Джин вообще ничего не мог сделать как следует, и, когда Мэнди кричала на него, у него внутри все сжималось от стыда и невыразимой ярости. Ну я же стараюсь, думал он про себя, я стараюсь! Это чувство не давало ему покоя постоянно, и в конце концов, когда дела пошли совсем скверно, он ее ударил. «Какого хрена ты меня все время попрекаешь, — процедил он сквозь зубы. — Я тебе что, кусок дерьма?» А когда она вытаращила на него глаза, он врезал ей с такой силой, что она упала со стула.

Это произошло после того, как он сводил Ди Джея в луна-парк. Было воскресенье. Он немного выпил, поэтому Мэнди была недовольна, но в конце концов, думал он, это все-таки и мой сын тоже и у меня есть право провести какое-то время со своим собственным ребенком. Мэнди ему не начальница, что бы она там себе ни воображала. Ей просто хочется сделать так, чтобы он сам себя возненавидел.

А разозлилась она из-за того, что он повел Ди Джея на «центрифугу». Уже потом он понял, что сделал это зря. Но ведь Ди Джей сам умолял, чтобы они туда сходили. Ему было всего четыре, Джину недавно стукнуло двадцать три, и из-за этого он

чувствовал себя невыразимо старым. Ему хотелось немножко поразвлечься.

Кроме того, его ведь никто не предупреждал, что Ди Джея туда водить нельзя. Когда они проходили мимо ворот, билетерша даже улыбнулась им, словно хотела сказать: «Вот идеальный молодой отец, который развлекает сынишку». Джин подмигнул Ди Джею, глотнул мятного ликера и ухмыльнулся. Он чувствовал себя Прекрасным Отцом. Как бы ему хотелось, чтобы его собственный папаша водил его на карусели в луна-парке!

Дверь в «центрифугу» открывалась как люк большой серебряной летающей тарелки. Изнутри гремело диско, а когда они зашли, музыка стала еще громче. Помещение было круглым, стены — с мягкой обивкой; один из служащих поставил Джина и Ди Джея спинами к стене и закрепил их ремнями. От ликера Джину было тепло, и он был готов обнять весь мир. Он взял Ди Джея за руку и почувствовал, что его буквально распирает от любви.

— Приготовься, малыш, — шепнул он. — Сейчас будет круто.

Дверь-люк «центрифуги» наглухо закрылась, испустив шипящий вздох. А потом стены, к которым их пристегнули, начали медленно вращаться. Они закрутились, набирая скорость, и Джин крепче сжал руку Ди Джея. Через секунду мягкая стена скользнула наверх, но сила вращения удержала их, прижала к поверхности крутящейся стены, как железки к магниту. Щеки и губы Джина оттянулись назад, и он рассмеялся от ощущения собственной беспомощности.

И в этот момент Ди Джей стал кричать.

— Не надо! Не надо! Остановите! Остановите ее!

Он истошно вопил, и Джин еще крепче сжал его руку.

— Все в порядке! — весело заорал он, стараясь перекричать музыку. — Все в норме! Я здесь!

Но в ответ ребенок только еще громче заголосил. Его плач летел за Джином по кругу, кувыркаясь и кувыркаясь по окружности, словно призрак, который, пролетая, оставляет за собой дорожку эха. Когда же карусель наконец остановилась, Ди Джея трясло от рыданий, и человек за пультом уставился на них. Джин кожей чувствовал, что все вокруг смотрят на него — смотрят сурово и осуждающе.

Джин чувствовал себя премерзко. Только что он был так счастлив — вот наконец-то они проведут время вдвоем и еще долго будут об этом вспоминать, — а теперь его сердце словно провалилось в темную бездну. Ди Джей не прекращал плакать, даже когда они выбрались из центрифуги и шли вдоль прохода, даже когда Джин, пытаясь отвлечь его, пообещал купить сладкую

вату и игрушечных зверюшек.

— Я хочу домой! — плакал Ди Джей, и еще: — Я хочу к маме! Хочу к маме!

Эти слова пронзили Джина в самое сердце. Он заскрипел зубами.

— Отлично, — прошипел он. — Пошли домой, к мамочке, маленький плакса. Честное слово, никогда больше не возьму тебя с собой. — Он слегка встряхнул Ди Джея. — Да что с тобой такое, а? Ты видишь, что все над тобой смеются? Видишь? Люди говорят: ай-ай-ай, такой большой мальчик, а ревет, как девчонка.

Эти воспоминания пришли к нему как будто из тумана. Он совершенно забыл о том случае, но теперь стал мысленно возвращаться к нему вновь и вновь. Чем-то вопли Ди Джея, то и дело без предупреждения прорывавшие оболочку его памяти, напоминали ночные крики Фрэнки. На следующий день он поймал себя на том, что снова вспоминает о том, как кричал Ди Джей, и эти воспоминания пронзили его сознание с такой силой, что ему пришлось поставить фургон на обочину и закрыть лицо руками: господи, какой кошмар! В глазах ребенка он должен был выглядеть каким-то чудовищем.

Он сидел в фургоне и пытался понять, как отыскать Мэнди и Ди Джея. Он так хотел сказать им, что ему стыдно, и выслать им денег. Он сжал пальцами лоб, а мимо него по дороге проносились машины, и старик в доме напротив раздвинул занавески и выглянул в окно, надеясь, что Джин привез ему посылку.

«Где же они могут быть?» — думал Джин. Он попробовал восстановить в памяти город и дом, но там была лишь пустота. Мэнди есть Мэнди, а значит, она уже отыскала бы его, чтобы стрясти деньги на содержание ребенка. Она с наслаждением подала бы на него в суд как на злостного алиментщика, наняла бы адвокатов, чтобы те отобрали у него его зарплату.

И внезапно здесь, на обочине, его осенило. Они мертвы. Он вспомнил про аварию, в которую попал неподалеку от Де-Мойна, — ведь если бы он погиб, они бы никогда не узнали. Он вспомнил, как проснулся в больнице, вспомнил пожилую медсестру, которая сказала ему: «Молодой человек, вам очень повезло. Вы должны были погибнуть».

«Что, если они и правда погибли?» — думал он. Мэнди и Ди Джей. Эта мысль поразила его как молния — ведь это все объясняет. Вот и ответ, почему они его не разыскали. Ну конечно же!

Он не знал, как ему справиться со скверными предчувствиями. Да, они дурацкие, в них сказывается и его

жалость к себе, и его паранойя, но сейчас, со всей этой нервотрепкой из-за Фрэнки, он ничего не мог поделать со своей тревогой. Когда он вернулся с работы, Карен посмотрела на него строго.

— Что случилось? — спросила она.

Он пожал плечами.

— Ты ужасно выглядишь, — сказала она.

— Со мной все в порядке, — ответил он, но она продолжала смотреть на него с недоверием. Потом покачала головой.

— Я сегодня еще раз водила Фрэнки к врачу, — сказала она после паузы, и Джин присел рядом с ней за стол, где были разложены ее учебники и тетради.

— Боюсь, ты решишь, что я мать-невротичка, — сказала она. — Может быть, я слишком много думаю о всяких болезнях, и все дело только в этом.

Джин покачал головой.

— Нет-нет, — сказал он. Он почувствовал, что в горле у него пересохло. — Ты абсолютно права. Тут лучше перестраховаться.

— Хммм, — задумчиво протянула она. — Мне кажется, доктор Банерджи скоро меня возненавидит.

— Да ну, — отмахнулся Джин. — Как тебя можно ненавидеть? — Он выдавил из себя нежную улыбку. Поцеловал ей пальцы, запястье, как и подобает заботливому мужу. — Постарайся не переживать, — добавил он, хотя у него самого все внутри ходило ходуном. Со двора доносился голос Фрэнки — тот выкрикивал какие-то команды. — С кем он разговаривает? — спросил Джин, и Карен не подняла головы.

— Ох, — сказала она. — Наверное, всего лишь с Буббой. — Буббой звали воображаемого приятеля Фрэнки.

Джин кивнул. Он подошел к окну и выглянул во двор. Фрэнки делал вид, что в кого-то стреляет: большой и указательный пальцы были сложены так, словно мальчуган нажимает на курок. «Взять его! Взять его!» — выкрикнул Фрэнки, и Джин заметил, как он юркнул за дерево. Во Фрэнки не было ни капли сходства с Ди Джеем, но, когда он высунул голову из-за густой листвы плакучей ивы, Джин почувствовал легкую дрожь — вспышку — что-то вроде этого. Он сжал зубы.

— Я от этих занятий свихнусь, — сказала Карен. — Каждый раз, когда я читаю о неблагоприятном исходе, тут же начинаю нервничать. Так странно. Чем больше знаешь, тем меньше в чем-либо уверен.

— А что на этот раз говорят врачи? — спросил Джин. Он неловко повернулся, продолжая смотреть на Фрэнки, и ему показалось, что в углу двора кружатся и прыгают черные

точки. — С ним все в порядке?

Карен пожала плечами.

— Они считают, что да. — Она снова посмотрела на учебник и покачала головой. — На вид совершенно здоров.

Он ласково положил руку ей сзади на шею, и она потерлась об его пальцы.

— Даже представить себе не могу, что со мной может случиться что-нибудь страшное, — сказала она ему однажды вскоре после их свадьбы, и эти слова его напугали.

— Не говори так, — шепотом попросил он, и она рассмеялась.

— А ты суеверный, — сказала она. — Это так мило.

Он не мог заснуть. Странное чувство, что Мэнди и Ди Джея нет в живых, тяжким грузом осело в его сознании, и он потер ногу об ногу под одеялом, стараясь устроиться поудобнее.

До него доносился приглушенный стук старой электрической пишущей машинки — это Карен заканчивала реферат для медицинских курсов, и вылетавшие очередями слова вызывали у него ассоциации с каким-то языком насекомых. Когда Карен наконец пришла и легла в кровать, он закрыл глаза, притворившись спящим, но в его сознании продолжали бегать маленькие, торопливые картинки: его бывшая жена и сын; вспышки фотоаппарата, делавшего снимки, которых у него не было, которых он не сохранил. Они мертвы, говорил уверенный голос в его сознании, говорил ясно и отчетливо. Их охватило пламя. И они сгорели. Голос, звучавший у него внутри, был не совсем его собственным; внезапно у него перед глазами возникла картинка горящего дома. Это был трейлер где-то на окраине маленького городка, из открытой двери которого валил черный дым. Пластиковые оконные рамы покорежились и начинали плавиться, а в небо из трейлера устремлялись клубы дыма, так что он походил на старый паровоз. Заглянуть внутрь ему не удалось, были видны лишь вспыхивавшие с треском темно-оранжевые языки пламени, но Джин знал, что они там, внутри. На секунду он увидел озаренное светом лицо Ди Джея; который не отрываясь смотрел в окно горящего трейлера, а его рот был как-то неестественно широко раскрыт, как будто он пел.

Джин открыл глаза. Дыхание Карен было ровным, она крепко спала, и он осторожно выбрался из постели и стал беспокойно бродить по дому в пижаме. Нет, они не мертвы, пытался внушить он себе, остановившись у холодильника и выпив молока прямо из картонной упаковки. Это было старое приятное чувство, памятное ему еще по тем дням, когда он только бросал пить, а густой вкус

молока чуть притуплял его позывы к спиртному. Но сейчас молоко не помогало. Этот сон-видение сильно его напугал, он уселся на диван, накинул на плечи плед и уставился в телевизор, где шла научно-популярная передача. Какая-та ученая дама изучала мумию. Ребенка. Голова была без волос — похожая на череп, но не совсем. Пленочка древней кожи плотно облегала глазные впадины. Губы растянулись, обнажив маленькие, искрошившиеся зубки, похожие на зубы грызуна. Глядя на него, Джин не мог снова не вспомнить о Ди Джее, и он торопливо, как прежде, обернулся и посмотрел через плечо.

В последний год их жизни с Мэнди Ди Джей порой вытворял такое, что у Джина мурашки бежали по коже. Он его пугал. Ди Джей был неестественно тощим ребенком, голова у него была как у птенца, ступни — длинные и костлявые, а пальцы на ногах — чересчур вытянутые, словно предназначались для того, чтобы ими что-нибудь хватать. Он вспомнил, как Ди Джей, босой, скользил по комнатам, крался, шпионил, подсматривал — Джину казалось, что он все время за ним подглядывает.

Эти воспоминания ему на много лет почти удалось выкинуть из головы; он ненавидел их и не доверял им. Ведь тогда он пил запоем, а алкоголики воспринимают реальность искаженно. Но теперь, когда они прорвались наружу, давно забытое чувство просочилось в его душу струйкой дыма. Тогда ему казалось, что Мэнди специально настраивает Ди Джея против него, что Ди Джей каким-то сверхъестественным образом, едва ли не физически, превратился из его родного сына в какое-то другое существо. Джину вспомнилось, как иногда он сидел на диване и смотрел телевизор, и вдруг у него возникало какое-то странное чувство. Он оборачивался и видел, что на пороге комнаты стоит Ди Джей, сгорбив костлявый позвоночник и выгнув длинную шею, и смотрит на него своими неестественно огромными глазами. А бывало и по-другому: Джин с Мэнди из-за чего-то спорили, и тут Ди Джей неожиданно проскальзывал в комнату, подкрадывался к Мэнди и в самый разгар важного разговора укладывал голову ей на грудь. «Я хочу пить», — говорил он, нарочно сюсюкая. Ему было уже пять лет, но он придуривался и разговаривал как двухлетний. «Мамотька, — говорил он, — я хоцю пиць». И на секунду его глаза останавливались на Джине, холодные и полные расчетливой ненависти.

Разумеется, сейчас Джин понимал, что все это не так. Он знал: тогда он много пил, а Ди Джей был всего лишь несчастным и перепуганным маленьким ребенком, который пытался как-то справиться с тяжелой ситуацией. Позже, когда он лечился,

воспоминания о сыне заставляли его в буквальном смысле вздрагивать от стыда, и у него не хватало смелости поделиться ими, даже когда он проходил свои «двенадцать шагов». Ну как он мог рассказать, что маленький ребенок отталкивал его от себя, да вдобавок еще и пугал? Господи боже, Ди Джей был всего лишь несчастным пятилетним малышом! Но в памяти Джина с ним было связано что-то зловещее: с тем, как он нарочито по-детски прижимался головой к материнской груди, как говорил нараспев, сюсюкающим голоском, устремив жесткий, немигающий взгляд на Джина и слегка улыбаясь. Помнится, Джин хватал его сзади за шею. «Хочешь говорить — говори нормально», — шипел Джин сквозь зубы и сжимал пальцы на шее ребенка. Ди Джей скалил зубы и начинал тоненьким голосом, с присвистом, поскуливать.

Когда он проснулся, у него перехватило дыхание. У него возникло зыбкое, удушливое ощущение, что на него смотрят, что на него направлен пристальный, ненавидящий взгляд, и он задохнулся, хватая ртом воздух. Над ним наклонилась женщина, и на секунду ему показалось, что сейчас она скажет: «Вам очень повезло, молодой человек. Вы должны были погибнуть». Но это была Карен.

— Что ты здесь делаешь? — спросила она.

Было уже утро, и ему стоило немалых усилий понять, где он. Он лежал на полу в гостиной, а телевизор все еще работал.

— Господи, — проговорил он и поперхнулся. — Господи боже.

Он вспотел, его лицо пылало, но, увидев испуг в глазах Карен, он постарался успокоиться.

— Приснился плохой сон, — сказал он, пытаясь совладать с прерывистым дыханием. — Господи, — повторил он и покачал головой, пытаясь выдавить из себя ободряющую улыбку. — Ночью я проснулся и больше не смог уснуть. Наверное, я стал смотреть телевизор и отрубился.

Но Карен молчала и по-прежнему смотрела на него, а на лице ее были написаны страх и неуверенность, словно он — уже не он, а кто-то другой.

— Джин, — спросила она, — с тобой все в порядке?

— Ну конечно, — хрипло ответил он, и по его телу невольно пробежала дрожь. — Конечно.

И тут до него дошло, что он абсолютно голый. Он сел, почти инстинктивно прикрыл руками пах и огляделся по сторонам. Нигде не было видно ни трусов, ни пижамы. Не было пледа, в который он закутался, когда смотрел по телевизору про мумий. Он начал неловко подниматься и вдруг увидел, что в дверном

проеме между гостиной и кухней стоит Фрэнки, вытянув руки по бокам, как ковбой, готовый в любой момент извлечь из кобуры пистолеты.

— Мама, — сказал Фрэнки. — Я хочу пить.

Развозя посылки, он чувствовал себя как в тумане. «Пчелки», — вертелось у него в голове. Он вспомнил, как однажды утром несколько дней назад Фрэнки говорил, что у него в голове жужжат пчелки и бьются о череп, словно об оконное стекло. Именно это он ощущал сейчас. Все, что он не мог вспомнить как следует, сейчас кружилось и оседало, назойливо трепеща целлофановыми крылышками. Он видел самого себя — вот он бьет Мэнди ладонью по лицу так, что она падает со стула; вот он крепче сдавливает тоненькую шею пятилетнего Ди Джея и трясет его, а тот гримасничает и скулит; он знал, что может всплыть что-нибудь другое, еще хуже, если он как следует напряжется. Все то, о чем Карен не должна была знать, и он молил бога, чтобы она никогда не узнала.

В тот день, когда он бросил их, он был пьян, настолько пьян, что с трудом помнил, как все произошло. Трудно поверить, что ему удалось добраться по шоссе до самого Де-Мойна, пока он не съехал с дороги и не покатился во тьму. Кажется, он хохотал, когда смялась его машина. Щекочущее чувство в голове стало сильнее, и, испугавшись, он остановил фургон на обочине. Еще у него остался в памяти образ Мэнди, она сидела на диване, когда он рванул прочь, на руках она держала Ди Джея, а один глаз у него опух и не открывался. Потом другая картинка — вот он, Джин, на кухне швыряет стаканы и пивные бутылки на пол и слышит, как они бьются.

А еще он знал: живы они или мертвы, они не желают ему добра. Они не хотят, чтобы он был счастлив, не хотят, чтобы они с женой и ребенком любили друг друга. Чтобы он жил своей нормальной, незаслуженной жизнью.

В тот вечер он вернулся домой совершенно измотанным. Не хотелось ни о чем думать, и на какое-то время ему показалось, что он сможет устроить себе маленькую передышку. Счастливый Фрэнки играл во дворе. Карен была на кухне, она делала гамбургеры и варила початки кукурузы, и все вроде бы шло вполне нормально. Но когда он сел, чтобы развязать шнурки, Карен бросила на него раздраженный взгляд.

— Не делай этого на кухне, — сказала она ледяным тоном. — Пожалуйста, я ведь тебя уже просила.

Он посмотрел на свои ноги: один ботинок был уже

расшнурован и наполовину снят.

— Ой, — сказал он. — Извини.

Но когда он ретировался в гостиную и направился к своему креслу, Карен пошла за ним. Она прислонилась к дверному проему и стала наблюдать, как он освобождает от ботинок натруженные ноги и потирает рукой подошвы в носках. Она казалась очень хмурой.

— Что-то случилось? — спросил он, выдавив из себя неуверенную улыбку.

Она вздохнула.

— Мы должны поговорить про вчерашнее, — сказала она. — Мне нужно знать, что происходит.

— Да ничего не происходит, — начал он, но жесткий взгляд, которым она его смерила, снова вверг его в состояние тревоги. — Я не мог заснуть. Тогда я пошел в комнату и стал смотреть телевизор. Всё.

Она не отводила от него взгляда.

— Джин, — сказала она, секунду помедлив. — Обычно не бывает, чтобы человек просыпался в гостиной на полу и не помнил, как он там оказался. Это довольно странно, ты так не считаешь?

«Господи, ну пожалуйста!» — мысленно взмолился он. Он поднял руки вверх, пожал плечами — жест человека, который ни в чем не виноват и уже начинает сердиться, — но внутри у него все ходило ходуном.

— Я понимаю, — сказал он. — Да, я согласен, что это странно. Мне снились кошмары. Я действительно не понимаю, что со мной стряслось.

Она долго его изучала, и ее взгляд был тяжелым.

— Понятно, — сказала она, и он буквально ощутил, как обида поднимается в ней жаркой волной. — Джин, — продолжала она, — я прошу тебя только об одном: будь со мной честен. Если у тебя что-то не в порядке, если ты снова запил или подумываешь об этом… Я хочу тебе помочь. Мы сумеем справиться. Но ты должен быть честен со мной.

— Нет, я не запил, — твердо сказал Джин. Он смотрел ей прямо в глаза. — И не подумываю об этом. Когда мы познакомились, я сказал тебе: с этим покончено. И это правда. — Он чувствовал, что кто-то крадется вдоль дальней стены комнаты и тайком, неприязненно наблюдает за ним… — Не понимаю, — добавил он. — Что случилось? Почему ты решила, что я тебе вру?

Карен переменила позу. Она все еще пыталась прочесть что-то у него на лице, она все еще не верила ему — он это видел.

— Послушай, — сказала она наконец, и он понял: она едва

удерживается, чтобы не заплакать. — Сегодня тебе звонил какой-то человек. Пьяный. Он велел передать тебе, что вчера вы отлично погуляли, и он ждет не дождется, когда встретится с тобой снова. — Она нахмурилась и посмотрела на него так, словно эти последние слова страшнее всего изобличали его во лжи. Из уголка глаза выкатилась слеза и повисла у переносицы. У Джина сдавило грудь.

— Какой-то бред, — сказал он. Он хотел, чтобы в его голосе прозвучала ярость, но ему вдруг стало очень страшно. — Как его звали?

Она грустно покачала головой.

— Понятия не имею, — сказала она. — Как-то на «Б». У него так заплетался язык, что я едва могла разобрать, что он говорит. То ли Би Бей, то ли Би Джей, то ли…

Джин почувствовал, что волоски у него на спине встали дыбом.

— Ди Джей? — тихо спросил он.

Карен пожала плечами и подняла голову. Лицо у нее было заплаканным.

— Я не знаю! — хрипло проговорила она. — Не знаю. Может быть.

Джин закрыл лицо рукой. Теперь он явственно чувствовал, что в голове у него что-то жужжит и щекочет.

— Кто такой Ди Джей? — спросила Карен. — Джин, объясни же мне, что происходит!

Он не мог. Даже сейчас он ничего не мог ей объяснить. Тем более сейчас, думал он, ведь признайся он, что лгал ей все время, с самой их встречи, это лишь подтвердило бы все те страхи и подозрения, которые она вынашивала… Сколько — несколько дней? недель?

— Мы были знакомы очень-очень давно, — сказал Джин. — Он… нехороший человек. Такой, который вполне может… позвонить и наговорить гадостей, чтобы тебя огорчить.

Они сидели за столом на кухне и молча наблюдали, как Фрэнки поглощает гамбургер и кукурузу. У Джина все это не укладывалось в голове. Ди Джей, думал он, ткнув пальцем в булочку своего гамбургера, который он даже не откусил. Сейчас ему должно быть пятнадцать лет. Может быть, он их нашел? Может быть, он шпионит за ними? Следит за домом? Джин попытался сообразить, может ли Ди Джей каким-то образом быть связан с приступами Фрэнки. Может быть, он как-то связан с тем, что произошло прошлой ночью — например, подкрался к Джину, когда тот сидел и смотрел телевизор, отравил его или сделал что-

нибудь в этом роде? Нет, все это было слишком неправдоподобно.

— Может быть, это просто какой-то алкаш, — сказал он наконец, обращаясь к Карен. — Позвонил и случайно попал к нам. Он ведь не называл меня по имени, правда?

— Я не помню, — тихо проговорила Карен. — Джин…

И вот этого сомнения, этого недоверия, написанного у нее на лице, Джин вынести уже не смог. Он с силой ударил кулаком по столу, и звон его тарелки наполнил комнату гулким эхом.

— Прошлой ночью я ни с кем не уходил! — сказал он. — Я не пил! Или ты мне веришь, или можешь…

Оба уставились на него. У Фрэнки расширились глаза, и он положил початок кукурузы, в который уже собрался вонзить зубы, словно ему расхотелось есть. Карен сжала губы.

— Или я могу что? — спросила она.

— Ничего, — выдохнул Джин.

Воцарилась атмосфера… нет, не скандала, а молчаливой отчужденности. Она знала, что он не говорит ей правды. Она знала, что он что-то скрывает. Но что он мог ей сказать? Он стоял у раковины и старательно мыл посуду, пока Карен купала Фрэнки и укладывала его спать. Он ждал, вслушиваясь в тихие вечерние звуки. Снаружи, во дворе, были качели и ива — серебряно-серая, словно закоченевшая в свете ночного фонаря, висевшего над гаражом. Он подождал еще немного, наблюдая, почти ожидая, что сейчас из-за дерева, как это было во сне, покажется Ди Джей, со своей сгорбленной спиной и плотно натянутой на непропорционально большой голове кожей — и подкрадется к нему. У Джина появилось все то же удушливое ощущение, что за ним наблюдают, и, когда он споласкивал тарелку под краном, у него задрожали руки.

Когда он наконец поднялся наверх, Карен в пижаме уже лежала в постели и читала.

— Карен, — начал он, и она демонстративно перевернула страницу.

— Я не хочу разговаривать с тобой, пока ты не будешь готов рассказать мне правду, — заявила она. Она не смотрела на него. — Поспи, пожалуйста, на диване, если не возражаешь.

— Скажи мне только одно, — сказал Джин. — Он оставил номер? Ну, чтобы я ему перезвонил?

— Нет, — сказала Карен. Она не смотрела на него. — Просто сказал, что скоро еще раз с тобой увидится.

Ему казалось, что он вообще не заснет. Он не стал умываться, чистить зубы и переодеваться в пижаму. Он просто сидел на

диване в своей рабочей одежде и в носках, смотрел телевизор, приглушив звук; вслушивался. Полночь. Час.

Пошел проверить, как там Фрэнки, убедился, что с ним все в порядке. Фрэнки спал, открыв рот и отбросив одеяло. Джин постоял в дверях, какое-то время напряженно выжидая, но все было нормально. Черепаха неподвижно сидела на камне, книги были аккуратно поставлены в ряд, игрушки убраны. Фрэнки видел сны, и его лицо то напрягалось, то расслаблялось.

Два часа. Джин вернулся на диван; полусонный, он испуганно вздрогнул, когда вдали проехала скорая помощь, но больше ничего не было слышно — только сверчки и цикады. На секунду проснувшись, он тяжело заморгал, увидел, что по телевизору снова показывают «Колдунью», перебрал каналы. На одном продавали драгоценности. На другом кто-то вскрывал труп.

Во сне Ди Джей был старше. На вид ему было лет девятнадцать-двадцать, и он заходил в бар, где на табурете, сгорбившись, сидел Джин и отхлебывал пиво из кружки. Джин узнал его сразу же — эту сгорбленную спину, тонкие плечи, огромные глаза. Но руки Ди Джея стали длинными и мускулистыми, и на них были татуировки. Лицо его было угрюмым и недобрым, когда он подошел к стойке и, протиснувшись, оказался рядом с Джином. Ди Джей заказал порцию виски «Джим-бим», которое Джин так любил раньше.

— Я много думал о тебе с того самого момента, как умер, — тихо произнес Ди Джей. На Джина Ди Джей не смотрел, но тот понимал, что обращается он именно к нему, и, когда Джин сделал очередной глоток, его руки тряслись.

— Я долго искал тебя, — тихо продолжал Ди Джей. В баре было жарко и душно. Дрожащими руками Джин положил в рот сигарету, затянулся и закашлялся от дыма. Он хотел извиниться. Он хотел попросить прощения. Но не мог вдохнуть. Обнажив маленькие, искрошившиеся зубки, Ди Джей наблюдал, как Джин хватает ртом воздух.

— Я знаю, как сделать тебе больно, — прошептал Ди Джей.

Когда Джин открыл глаза, комната была наполнена дымом. Он встал, не понимая, где находится. Секунду он все еще был в баре с Ди Джеем, но потом понял, что он у себя дома.

Где-то горело — это было слышно. Про огонь говорят, что он «трещит», но на самом деле звук, который он издает, больше похож на усиленный во много раз лязг, с которым тысячи и тысячи крохотных прожорливых тварей что-то жуют маленькими влажными челюстями, а потом, когда пламя находит новый источник кислорода, его шум становится похож на заливистый

лай. Все это Джин мог расслышать, хотя ничего не видел и задыхался от дыма. Вокруг стоял густой туман, словно сама гостиная рассыпалась на атомы, растворилась, а когда Джин попытался подняться, гостиная исчезла. Была лишь непроницаемая пелена, и Джин опять рухнул на четвереньки, блюя и кашляя; тоненькая струйка рвоты поползла по ковру перед продолжавшим болтать телевизором.

У него хватило присутствия духа не вставать на ноги, а проползти на четвереньках под плотной, клубящейся завесой. «Карен! — крикнул он. — Фрэнки!» — но голос его утонул в яростном шуме пламени, усердно пожирающем свою пищу. «Аххх», — задохнулся он, когда снова попытался выкрикнуть их имена.

Он добрался до лестницы и увидел наверху лишь пламя и тьму. Не вставая с четверенек, он поднялся на первую ступеньку, но жар отбросил его вниз. Джин почувствовал у себя под ладонью одного из игрушечных супергероев Фрэнки; расплавленная пластмасса прилипла к коже; Джин стряхнул его, и в этот миг в спальне Фрэнки показалась новая яркая вспышка пламени. На верхней ступеньке лестницы он сумел разглядеть сквозь клубы дыма фигуру ребенка — тот, сгорбившись, мрачно смотрел на Джина, а его лицо сияло, залитое ослепительным светом. Джин закричал, рванулся прямо в пекло, пополз вверх по ступенькам, выше, к спальням. Он снова попытался крикнуть, но его лишь опять вырвало.

Еще одна вспышка окутала фигуру того, что он считал ребенком. Джин почувствовал, как съежились и зашипели его волосы и брови, когда со второго этажа на него выдохнуло взрывом искр. Он видел, как в воздухе носятся раскаленные частички какого-то вещества, они вспыхивали рыжим светом, а потом меркли, обращаясь в пепел. Воздух был полон злобным жужжанием, и единственными звуками, которые слышал Джин, когда упал и, кувыркаясь, покатился вниз по ступенькам, был этот гул и его собственный голос — долгая гласная, которая застыла в воздухе, отозвавшись эхом, когда дом закружился и утратил свои очертания.

И вот он лежал в траве. Лучи красного света, кружась в монотонном ритме, били ему в глаза. Женщина-санитарка, оторвала свои губы от его губ. Он сделал длинный, отчаянный вдох.

— Тсссс, — тихо сказала она и прикрыла рукой его глаза. — Не смотрите.

Но он посмотрел. Он увидел в отдалении длинный черный

пластиковый мешок, с одного конца которого свисала прядь светлых волос Карен. Он увидел почерневшее, съежившееся тело ребенка, свернувшегося калачиком. Тело положили в раскрытый пластиковый мешок на молнии, и Джин увидел рот — застывший, окаменевший, округлившийся. Крик.

*Перевод Е. Кулешова*

# ТРОЙНАЯ МЕДИТАЦИЯ О СМЕРТИ
# Уильям Т. Воллманн

## *I. Мысли в катакомбах*

Смерть ординарна. Всмотритесь в нее; отнимите шаблоны и заученные уроки от тех смертей, что причинены оружием, тогда остаток, возможно, покажет нам, что такое насилие. С этими мыслями я шел по длинным туннелям парижских катакомб. Стены из земли и камня служили опорой для стен из смерти толщиной в бедренную кость: длинные желтые и коричневые кости были сложены в штабеля, суставы выпирали вперед, словно старые кирпичи с искрошившимися краями, словно перевернутые костяные улыбки, словно черствые желтые закрученные макароны — сочленения костей, головки костей, их случайное соседство, темнота в центре каждой, между двойными полушариями, некогда помогавшими поворачиваться другой кости и таким образом направлять и поддерживать плоть в ее страстном, а зачастую и сознательном стремлении к смерти, которую она в конце концов находила; ряды бедренных костей, затем плечевых, кости поверх костей, несколько слоев составляют костяную полку, опору для смерти; ряды плечевых и бедренных костей немного скошены вниз и создают в чем-то даже приятный глазу эффект каменной кладки — масонские максимы в интерпретации наполеоновских инженеров и каменщиков смерти, тщательно обработавших и организовавших этот смертельный материал сообразно ново-имперским веяниям и санитарной эстетике. (Посещал ли Император это место? Он не боялся смерти — ни собственной, ни той, которую нес другим.) Были еще боковые комнатки со стенами из костей и как бы перекрытиями из костяных балок, среди которых без всякой пользы изредка торчали черепа, и то там, то здесь чье-то вдохновение украсило фасады перекрестиями бедренных костей. Как мне сказали, в этом месте сложены останки примерно шести миллионов людей — столько же, согласно оценкам, погибло евреев во время Холокоста. Преступление, потребовавшее от нацистов шести лет невероятных усилий, природа совершила легко и без специального оборудования — и продолжает совершать.

Деньги я заплатил еще наверху — я пришел сюда взглянуть на свое будущее. Но когда после прохода по длинным и

невыразительным разветвлениям первых подземных переулков я наконец встретился со своими братьями и сестрами — обызвествленными человеческими созданиями, в других обстоятельствах обреченными стать землей, крысиной плотью, плотью корней или ветвей и вскоре умереть опять, — я не почувствовал ничего, кроме легкой меланхолии и любопытства. Человек знает, что умрет, он видел скелеты и черепа на хеллоуинских масках, в анатомичках и мультфильмах, на предупредительных знаках, судебных фотографиях и фотографиях старых эмблем СС — здесь же черепа время от времени выступали из стен, подсвеченные, словно речные валуны, и постепенно любопытство, как это часто бывает, уступило место оцепенению. Но человек еще не выбрался из-под земли.

Костяные стены охватывали собою колодцы, дренажные углубления, выкопанные в этих туннелях; вода капала с потолка прямо на головы туристов — возможно, просочившись сквозь трупы. Тошнотворная удушающая пыль проникала в глаза и в горло, ибо нигде, кроме абстрактных рассуждений, а возможно, и в них тоже, присутствие смерти не сказывается на живых благотворно. Некоторые черепа были датированы 1792 годом. Потемневшие, но до сих пор не тронутые гнилью, они подавляли меня самим фактом своего продолжающегося существования. Лучше бы эти инженеры дали им спокойно разложиться. Они могли бы сделаться частью величественных деревьев или питательных овощей, что становятся кровью маленьких детей, их растущими костями. Вместо этого они лежали здесь, жесткие и упрямые, как застарелые разногласия, вместилища давно распавшихся душ, грубый забор бесполезной материи. В этом, как я полагал, была причина моего возмущения. Воистину слабым местом оказалось то, о чем говорил Элиот: «Я не думал, что смерть погубила столь многих»; оцепенение сменилось тягостным чувством, тошнотой и клаустрофобной ловушкой, в которую загнала меня моя биология. Да, конечно, я знал, что умру, не раз утыкался носом в этот непреложный факт, и сегодняшний случай стал еще одним в ряду эпизодов, между которыми мой язык бойко признавал то, что втайне отвергало сердце, ибо с какой стати жизнь обязана нести внутри своей плоти разъедающую и отравляющую веру в неотвратимость своей же собственной кончины? Черепа спали на костяных штабелях, обратив вниз глазницы, подобно панцирям крабов-отшельников среди вынесенных океаном трупных обломков. Это был некрофильский пляж, только без океана, если не считать таковым землю у нас над головами, сквозь которую просачивалась и капала клейкая жидкость. Еще один костяной крест, и затем краткая эпитафия:

***МОЛЧИ, ЧЕЛОВЕК…***
***ТЩЕТА И БОГАТСТВО, МОЛЧИТЕ…***

Слова звучат на французском более властно, чем в моем переводе, но большего не нужно, ибо обызвествленные мириады скелетов говорят об этом лучше всех поэтов и командиров. В поклонении трупам есть что-то вызывающее страх, ужас и ненависть; в действительности же оно не стоит таких эмоций само по себе, если, конечно, не затронута память близких; тем не менее время, проведенное в обществе смерти, — это время, истраченное впустую. Жизнь утекает, подобно воде, проникающей в катакомбы, в конце концов умолкнем и мы, как умолкли наши предки, так не лучше ли заняться тщетой и богатством, пока это возможно? Миг за мигом наша жизнь уходит прочь. Кричи, стони или убегай — все бесполезно, так не лучше ли забыть о том, чего невозможно избежать? Тянулись и тянулись кривые переулки смерти. Иногда возникал запах, сырный, уксусный запах, знакомый мне после одного-двух визитов в полевые морги; избавиться от него было невозможно, и пыль смерти высушивала горло. Я подошел к чему-то вроде пещеры, заваленной до уровня подбородка кучами костей, не пригодившихся при строительстве: тут лежали тазовые кости и ребра (позвонки и другие мелкие кости, должно быть, выбросили или они попросту сгнили). Эти реликты стали почти прозрачными, словно морские ракушки, настолько глубоко проела их смерть. Запах, этот кислотно-тошнотный запах прожигал мне горло, но, возможно, я оказался слишком к нему чувствителен, ибо другие туристы не выказывали признаков отвращения, наоборот, иные смеялись, то ли из бравады, то ли потому, что все вокруг казалось им нереальным, точно в фильме ужасов; они не верили в свое будущее, которое непременно наступит в следующем акте — видимо, поэтому какой-то неприятный тип надумал утащить с собой кость, будто ему мало костей внутри собственного живого мяса. Он, похоже, был не единственным, ибо, дойдя до конца и поднявшись на уровень улицы, мы были встречены человеком при исполнении, сидевшим за столом с двумя черепами, отобранными в тот день у воришек; этот человек проверил наши сумки. Я был счастлив, когда прошел мимо него и увидел солнечный свет — может, даже слишком счастлив, ибо с тех пор, как я стал подрабатывать военным журналистом, смерть меня больше не возбуждает. Я пытаюсь ее понять, даже подружиться с ней, но не извлекаю из наших встреч никаких уроков, кроме осознания собственной беспомощности. Смертельная вонь забивает мне ноздри, как это происходило в тот прохладный, солнечный осенний парижский день, когда мне так хотелось быть счастливым.

Багеты и батоны в булочной, крахмальные *mini-ficelles,* круассаны и *pains-aux-chocolat*[20] — все напоминало мне кости. В другом магазине воняло сыром костяного цвета. Все вокруг, стальные черви тоннелей метро, пробуравленные сквозь совсем другие катакомбы, толчея пока еще живых костей, спешащих из одной дыры в другую. В книжной лавке на Рю-де-Сен я откопал томик По в демоническом переплете с прожилками пламени на форзаце; на вклейках (разумеется, ручной работы) изображены жуткого вида скелеты с угрожающе скрюченными костяшками пальцев. На площади Сен-Жермен у церкви, закопченной и потемневшей от времени до цвета сыра и костей, я подглядывал за чьей-то свадьбой: невесте в белом платье вскоре предстояло стать желтыми костями. Узкие и бледные бетонные шпалы железнодорожных путей, металлические или деревянные штакетины заборов, модель позвоночника в витрине анатомического книжного магазина, даже столбы, стволы деревьев, любые линии, вырезанные на чем-то или подразумеваемые, сам мир во всех своих сегментах, лучах и отдельных категориях сделался устрашающе трупоподобным. Я видел и вдыхал смерть. Я чувствовал на зубах ее вкус. Я выдыхал, но слабые порывы из моих легких не могли побороть тошноту. Это оказалось под силу только времени — ночи и дню, если быть точным, — после которых я снова, до той самой минуты, пока не сел писать эти слова, забыл, что должен умереть. Поверил, но лишь на миг. Так я стал одним из этих черепов, которые уже не знают о своей смерти. Даже записывая все это, выгребая буквы из алфавитного кладбища — *o* похожи на черепа, *i* и *l* на ребра, *b, q, p* и *d* на половинки плечевых костей, — я верил лишь частично. Запах вернулся ко мне в ноздри, но теперь я был в Вене, — в Венские катакомбы я, кстати, решил не ходить, — а потому вышел на улицу подышать запахом эспрессо со свежими сливками. Написанное, как и положено, пропиталось хореографиями и парадигмами, привносящими во что-то скорее сам этот запах, нежели его отталкивающую пустоту. Я ищу смысл там, где его можно найти; если я его не нахожу, я его изобретаю. Занимаясь этим, я отвергаю бессмысленность и тем самым обманываю самого себя. Опыт не всегда лжет, но запах не равнозначен опыту постижения материи, его испускающей. Опыт смерти недоступен ни мертвым, ни живым. Проект парижских рабочих по эстетизации, упорядочиванию и в некоторой степени трансформации объектов, из которых состояли они сами, оказался на удивление удачным, но все то же самое можно было соорудить из черствых буханок хлеба. Материалом послужили

кости, но не смерть. Она значит слишком мало, она говорит нам слишком мало, почти так же мало, как эта маленькая история. Она рассказывает о них, как я должен рассказывать о себе. Я могу разобрать их смысл. Смысл смерти я разобрать не могу. Для меня смерть — это прежде всего запах, очень неприятный запах, но и он, подобно скелетам, которыми пугают детей, никоим образом не смерть. Если бы мне пришлось вдыхать его чаще, если бы я работал в катакомбах, я бы вообще о нем не думал. Через несколько лет или десятилетий я не буду думать ни о чем вообще.

## *II. Мысли в прозекторской*

*В обязанности коронера входит сбор сведений, а также выяснение обстоятельств и причин всякой насильственной, непредвиденной либо необычной смерти…*

Свод законов штата Калифорния, п. 27491[21]

Олдос Хаксли однажды написал, что «если большинство из нас столь невежественны по отношению к самим себе, то лишь потому, что самосознание причиняет боль, и мы предпочитаем ему радость иллюзии».[22] По этой причине кто-то, пожалуй, отмахнется от тяжелого урока, полученного в катакомбах. Но принцип можно расширить: болезненно не только самосознание. Рассмотрим черную девушку, однажды ночью извлеченную следователем из мусорного бака. Рот у нее перепачкан кровью, в чем не было ничего странного — эта бездомная алкоголичка страдала варикозными кровотечениями. Но, осветив лучом фонаря темноту ротовой полости, следователь заметил блеск — то была не кровь и не слюна, сверкнувшая, как металл, а металл в чистом виде — обломок лезвия. Во рту девушки, не способной больше говорить, лежала причина ее смерти. Следователь не мог вернуть ей жизнь, но этим двойным извлечением — ножа из трупа и трупа из зловонного бака — он воскресил нечто иное: неизменную истину, которую убийца из страха, ярости или холодного эгоизма намеревался похоронить; эта истина — сам факт убийства, реальность, что была бы не менее реальной, оставшись неизвестной; однако до тех пор, пока она не узнана и не доказана, от нее нет никакой пользы. Какой пользы? Очень простой: выяснение причины смерти есть в некотором смысле предпосылка справедливости и правосудия, несмотря на то, что справедливость, как и любое общее понятие, может служить основой всего, что только возможно — от исправления до

оправдания, от компенсации до мести, включая какие угодно лицемерные клише. В кабинете судебно-медицинской экспертизы эту пользу видят очень хорошо, также понимая, что обязанность по превращению их заключений в справедливость и правосудие лежит не на них, а на двенадцати гражданах со скамьи присяжных; работа же медицинских экспертов и коронера необходима, но не достаточна. Возможно, родные и близкие той черной женщины это поняли, если, конечно, у нее были родные и близкие, если им было до нее дело, и если они не лишились рассудка от горя. Морг станет для них всего лишь первой остановкой на крестном пути (затем: похоронное бюро, кладбище, возможно, судебная палата и непременно — пустой дом). Общение с родственниками одновременно и самая тяжелая, и самая важная часть работы по выяснению истины: как я уже говорил, знание причиняет боль. Доктор Бойд Стивенс, главный судебно-медицинский эксперт Сан-Франциско, позже скажет мне: «Надеюсь, вы поймете, что сюда приходят люди, у которых большое горе. И если совершено преступление, если сына этой женщины убили во время вооруженного ограбления, вынести это невероятно трудно, это ужасный эмоциональный удар». Сам я очень рад, что мне не пришлось этого видеть. Я и без того видел достаточно. В катакомбах смерть не затрагивала чувств, для следователя, нашедшего ту черную женщину, мораль смерти также остается белым пятном — это может быть самоубийство, убийство, несчастный случай или то, что мы обреченно называем «естественной смертью». Через двадцать шесть лет после самого события одна добрая женщина, на глазах которой оно происходило, написала мне о гибели моей младшей сестренки. Мне в то время было девять лет, а моей сестре шесть. Женщина писала: «Я помню вас, очень худенького, очень бледного, со сжавшимися плечиками и мокрыми волосами, вы горько плакали в сторонке. Вы сказали: я не знаю, где Джули». Она описала еще многое из того, что запомнила. Я плакал, читая ее письмо. Еще там было: «Мне очень хочется сказать: какая бессмысленная смерть, но это неправда. В день, когда утонула Джули, я поняла, что к некоторым сторонам жизни неприменимы понятия смысла или бессмысленности. В той плоскости, где находится смерть Джули, не существует преступлений и наказаний, причин и следствий, действия и противодействия. Это произошло и все». Вполне разумно. Назовем это… ну, хотя бы моральной или этической бессмыслицей. (Кажется, я ей так и не ответил, мне было слишком тяжело.) Только когда на смерть обрекают справедливость и правосудие — вешают убийцу, наша армия бомбит гитлеровский Берлин, жертва защищает свою жизнь и

убивает нападающего — лишь тогда мы готовы признать, что гибель оправдана.

Принципиальное самоубийство также что-то значит. Самоиссечение Катона[23] послужило обвинением всепобедительному Цезарю, которому суждено было после этого проявить милосердие, и чья покровительственная власть обернулась беспомощностью при виде обычного трупа. Но большинство людей (включая множество самоубийц и почти всех, кто умирает из-за злонамеренной несправедливости и неправосудия) умирают случайно, бессмысленно и, в конечном счете, безвестно: такова участь «ничьих» черепов в катакомбах или, скажем, черной женщины в мусорном баке. Неважно, имелась ли у ее убийцы причина ее убивать — она погибла ни за что, и никакая токсикология, никакие анализы крови на всем белом свете, даже если они приведут к поимке преступника, не в силах этого изменить. Казнь убийцы может что-то значить, смерть его жертвы — почти наверняка ничего.

## *От белого катафалка к смотровой комнате*

За 1994–1995 финансовый год в округе Сан-Франциско умерло больше восьми тысяч человек. Половина этих смертей была сочтена в том или ином смысле подозрительными, и соответствующие документы отправились в контору доктора Стивенса; в трех тысячах случаев сомнения были всего лишь проформой, после выяснения обстоятельств документы подписывались медицинским экспертом, и дело закрывалось — то есть выяснение получалось косвенным, едва ли не онтологическим. Оставшиеся 1549 смертей стали заботой доктора Стивенса. Его изыскания за этот год привели к следующему: 919 естественных смертей, 296 несчастных случаев, не связанных с транспортом, 124 самоубийства, 94 насильственных смерти, 30 смертей при загадочных обстоятельствах, 6 синдромов внезапной смерти младенцев и 80 смертей в дорожных авариях — в большинстве пострадали пешеходы, и большинство — несчастные случаи (были там шесть убийств и одно самоубийство).[24] А теперь я расскажу вам, как эти люди пришли к таким выводам. В Сан-Франциско имеется белая карета, лучше сказать, катафалк, с перегородкой между водительским сиденьем и крытым кузовом, снабженным двойной белой дверью для быстрой погрузки и выгрузки; в самом кузове — невыводимое рыже-бурое пятно: все, что годами соприкасается с плотью, рано или поздно начинает разлагаться. Пахнет там,

разумеется, смертью — согласно моему опыту, это похоже на запах кислого молока, или рвоты с уксусом, или помоев, что наводит на мысль о мусорном баке, в который грубо затолкали убитую девушку. Горизонтальные рейки делят днище старых изношенных носилок из нержавеющей стали пополам и еще раз пополам. Поскольку Сан-Франциско расположен на холмах, эти носилки много лет назад подогнали в ближайшей мастерской так, чтобы они всегда стояли прямо; тела пристегивают ремнями, а носилки могут кататься на двух колесах. «Что-то вроде тачки», — сказал один из санитаров. Возможно, в последний раз умершему предстоит пробыть в вертикальном положении, пока, пристегнутого и замотанного, его осторожно везут по крутым ступеням и тротуарам. Карета останавливается у заднего входа в офис доктора Стивенса, на парковке табличка «ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦТРАНСПОРТА». Носилки выкатывают наружу. Их протаскивают сквозь двери с надписью «НЕ ВХОДИТЬ», хотя для всех нас, чье сердце еще бьется, лучше подошла бы надпись «ПОКА НЕ ВХОДИТЬ». Внутри тело взвешивают на грузовых весах, затем выкатывают для предварительного осмотра на середину унылой задней комнаты, три раза снимают отпечатки пальцев (если пальцы и кожа на месте) с помощью специальных черных чернил, густых, почти как конфеты-тянучки. В конце концов, тело упаковано в мешок на молнии и уложено до утра в холодильник.[25] Если есть подозрения на убийство, следователи ждут дольше — минимум двадцать четыре часа, чтобы успели проявиться кровоподтеки, подобно тому как в последнюю минуту на плавающей в кювете бледной фотобумаге проявляется изображение; это случается, когда повреждены кровеносные сосуды в глубине тела. Кровоподтеки очень важны. Если на лице или руках якобы повесившегося человека видны следы насилия, следователи обязаны проработать версию убийства.[26]

К этому времени родственникам, возможно, уже сообщили. В большой прихожей с надписью «ВХОД ВОСПРЕЩЕН» я слышал чьи-то слова: «Да, Дэйв у нас. Мне очень жаль, что так случилось». Если пришли родственники, их ведут по узкому коридору к дверям с табличкой «СМОТРОВАЯ КОМНАТА». Смотровая комната — это секретное место, изолированное от посторонних глаз, как будка киномеханика в кинотеатре. В ней большое окно, выходящее в другую, тесную, но ярко освещенную комнату, где и развернется действие фильма — настоящего фильма, хотя сюжет завершился еще до того, как служащий прикатил на коляске бывшего актера. Фильм окончен, а родственники нужны доктору Стивенсу, чтобы убедиться в

правильности титров. Они видят только лицо. Между смотровой и ярко освещенной тесной комнатой имеется дверь, но перед приходом родственников кто-то проверил, хорошо ли она заперта, — вдруг они бросятся обнимать нечто, прежде бывшее их любимым, при том, что оно могло испортиться или страшным образом сбросить человеческое обличье, и теперь его вид, запах или то, каким оно окажется на ощупь, вызовет у родственников лишь крик ужаса — нужно уважать любовь, каковую они, возможно, еще испытывают к предмету, неспособному отныне их любить, а уважение к любви в данном случае равнозначно уважению к неведению, в которое она облачена. Люди, работающие с доктором Стивенсом, давным-давно расстались со своим неведением. Их отношение притуплено привычкой, наукой, черным юмором и — более всего — необходимостью: если смерть была странной или подозрительной, необходимо разрезать этот предмет и заглянуть внутрь, чем бы он ни вонял.

Соломонова притча: доктор Стивенс рассказал, как однажды, чтобы установить личность умершей девушки, в смотровую комнату привели по очереди трех матерей, и каждая сказала, что это ее дочь — с облегчением отчаяния, я полагаю. Я знаю женщину, у которой похитили сестру. Это произошло много лет назад, девушку так и не нашли. Нашли только машину на обочине. Раньше моя знакомая жила вместе со своей сестрой. Теперь она живет с одеждой своей сестры. Время от времени нанятый родителями частный детектив показывает ей фотографии очередного женского тела, иногда разложившегося почти до скелета, иногда нет, иногда изнасилованного, иногда нет, и моя подруга говорит: «Это не моя сестра». Я знаю, ей стало бы легче, если бы она могла войти в смотровую комнату и сказать (и поверить): «Да, это Ширли». Те три матери, должно быть, оставили надежду услышать когда-нибудь голоса своих дочерей, увидеть их улыбку. Они хотели проститься с ужасом и встретиться с горем. Они не хотели больше ходить в смотровую комнату. А может, стекло запачкалось, а может, глаза постарели от слез. Ошибка естественна. Но одной матери повезло. Мертвая девушка действительно оказалась ее дочерью.

## *Полицейская наивность*

Для установления личности кто-то из людей доктора Стивенса уже заглянул в рот умершей женщины и, попутно обнаружив или не обнаружив там блеск ножевого лезвия,

осмотрел зубы, пломбы и сверил их с записями дантиста. Кто-то снял отпечатки пальцев и сверился с каталогом; кто-то перебрал перепачканную смертью одежду и сверился с описанием. Начиная с плоти и одежды, им пришлось узнать то, чего не знали матери. Полицейская девица тоже многого не знала и наверняка не хотела знать. Молодой человек вколол себе в руку героин — может, слишком большую дозу, а может, порошок оказался слишком концентрированным (качество героина в последнее время неуклонно растет). Он умер, упав ничком, лицо распухло и посинело от цианоза. Полицейская девица об этом не знала, как я уже говорил. Он уже начал разлагаться, а она все лепила штрафные бумажки к ветровому стеклу его машины.

## *«Я доволен»*

Вонючий труп, желто-розово-зеленый и голый, лежал на одном из выстроившихся в ряд наклонных фаянсовых столов, к каждому приставлена фаянсовая раковина для стока жидкости. У человека болела спина. Операция не помогла, и он глотал обезболивающие таблетки, пока не развилась зависимость. Таблетки приносили невнятное удовольствие, и он стал смешивать их с алкоголем. Когда приехала белая карета, у головы трупа стояло множество бутылочек с чужими таблетками. Ему не было сорока лет.

— Возможно все, — сказал один работник морга другому; он стоял, опершись на каталку, в это время доктор в маске, куртке и бахилах начал вскрывать мертвеца. — Просто у человека ограниченное воображение. — Кажется, они говорили о фотографии со спецэффектами. Он принес своему коллеге почтовый каталог фотокамер.

У мертвеца, между тем, дрожал и съеживался вытатуированный на бицепсе клинок, ибо доктор своим скальпелем делал стандартный разрез в форме буквы Y: от левого плеча к груди, от правого плеча к груди, затем через весь живот к лобку. Он делал это очень умело, словно старый эскимос, однажды на моих глазах вспарывавший моржа. Скальпель издавал жесткий сосущий звук. Словно рубашку, врач отогнул на груди кожу и мышцы, затем с треском вскрыл ребра, с виду почти как свиные. Руки в желтых перчатках, нырнув в алую дыру, добыли оттуда полную горсть сцепленных друг с другом колбас — именно так выглядели кольца кишок. Затем доктор засунул в брюшину шланг и держал, пока струя не стала розовато-прозрачной. Украшенная чем-то блестяще-лиловым, алым и

желтым, двойная зубчатая стена ребер торчала вверх, ничего уже не защищая, аккуратно разделенная пополам.

Мертвец еще сохранял лицо.

Доктор набрал шприцем из полости кровь, собрал губкой кровь со стола, после чего настало время взвешивать органы мертвеца на специальном безмене; доктор называл цифры, а молодая симпатичная практикантка писала их мелом на доске. Слегка подгнившие легкие представляли собой расплывающуюся массу и сочились из-под скальпеля.

— Как желе, — мрачно сказал хирург.

Правое легкое оказалось больше левого, как это часто бывает у правшей. Другая возможная причина: человека нашли лежащим на правом боку, поза, при которой в легком могла собраться жидкость. В любом случае, его смерть бессмысленна.

Сердце весило 290 граммов. Доктор стал резать его на кусочки.

— Сосуд почти целиком закупорен атеросклерозом, — объяснила практикантка. — Он принимал слишком много наркотиков. Кокаин ускоряет развитие атеросклероза. К нам часто попадают молодые люди со старческими болезнями.

Это уже интересно и кое-что значит, подумал я. В том смысле, что следователи правильно поняли этого мертвеца. Интересно, хорошо ли его понимали до смерти.

— Боже, что творится с поджелудочной! — воскликнул вдруг доктор. — Так вот от чего он умер. — Он приподнял пурпурный пудинг, и на стол закапала кровь.

— Что случилось? — спросил я.

— В нормальном состоянии ее энзимы разжижают кровь. У парня было кровотечение. Химикаты попали в сосуды, и те не выдержали. Весьма частый случай у алкоголиков.

Настала очередь печени, желтой от жировых инфильтраций, появившихся из-за большого количества алкоголя.

— Видите, внутри кровь? — сказал доктор. — Но поджелудочная железа — это булка с изюмом. Поджелудочная железа — это кровяная масса. Кровь в брюшной полости. Быстрая смерть. Нам с ним повезло — легкий случай. Молодец мужик.

Он стал быстро отрезать кубики от каждого органа, они плавно выскальзывали из его желто-резиновых пальцев и падали в янтарного цвета банки. Патологоанатомы и токсикологи их заморозят, нарежут тонкими пластинками, добавят краситель и уложат на предметные стекла микроскопов — нужно убедиться, что покойный еще до начала кровотечения не перебрал какого-нибудь вещества. Тем временем, чтобы отмести возможность тайного удушения, изучающий скальпель доктора рассек горло.

Многие по неопытности классифицируют особо искусные убийства как несчастные случаи, иногда несчастные случаи выглядят как убийства. Доктор не хотел такого допускать. Даже разобравшись с поджелудочной железой, он намерен был убедиться, насколько это возможно, что во рту у мертвого нет обломка ножа — в широком смысле этого слова.

— Что ж, очень хорошо, — хмыкнул хирург. Затем помощник, которого, пожалуй, стоит назвать судебно-медицинским техником, зашил мертвеца, предварительно затолкав ему в живот внутренности, упакованные теперь в мешок для мусора. Мозг, частично сгнивший и разжиженный, уже вынули из черепа. Лицо было скрыто под окровавленным одеялом кожи. Ее помощник тоже зашил, и человек снова обрел лицо.

— Я доволен, — сказал доктор.

## *О шутках и другой защите*

Если саркастические шпильки патологоанатома кажутся вам бессердечными, задайте себе вопрос, не захотелось бы вам как-то защититься, если бы из года в год вам приходилось видеть и обонять все это. Ранним утром следующего дня я смотрел, как другой врач вскрывает филиппинца, из-за болезни и отчаяния повесившегося на электрическом шнуре. Я бывал и в морге, и на войне, но строгий, упрямый взгляд этого человека, его глаза, блестевшие как черное стекло, пока врач, тяжело дыша, диктовал замечания и рассекал внутренности (желтая перекрученная петля лежала рядом на столике), стали в ту ночь причиной моего кошмара. Этот доктор, как и его довольный коллега, был занят нужным делом. И тот, и другой доказывали, что ни один из этих мертвецов не был жертвой убийства и не носил в себе какое-либо инфекционное заболевание. Подобно солдатам, они трудились посреди смертей. Ягодицы в зеленых пятнах и распухшие лица были привычной для них картиной. Эти люди имеют полное право на притупляющие шутки. Не умеющий шутить долго не выдерживает.

Как ни странно, даже такая работа может служить кому-то убежищем от тяжелых переживаний. Перед тем как в 1968 году стать патологоанатомом, доктор Стивенс работал детским онкологом.

— В то время мы теряли семьдесят пять процентов детей, — сказал он как-то. — Эмоционально это была невыносимо тяжелая работа. Я бы умер, если бы не ушел из той профессии.

Мысли доктора Стивенса, подходившего сейчас к одному из

железных столов, меня ошеломили. Дело в том, что моя жена как раз онколог. Она ходит на похороны своих маленьких пациентов. При этом она вечно куда-то торопится. Обнимая ее, я ласкаю мягкое тело, в котором заключены напитанные кровью внутренности.

## *Заключение*

Кубики мяса в янтарного цвета банках попали через коридор в патологию и токсикологию: этой сфере вечно недодают денег, а потому там работают со старыми инструментами и приборами, вычерчивающими кокаиновые или героиновые пики на медленно ползущих линованных бумажных лентах, которые в 1960-х годах считались произведениями искусства.

Что, в конце концов, меняет смерть? Женщины в синих халатах проверяли образцы мочи шофера, подозреваемого в вождении в нетрезвом виде, и точно так же они проверяли мочу умерших. Умерли они пьяными или трезвыми? Пьяный водитель, погибший в автокатастрофе, пьяный самоубийца, преодолевший, наконец, свой страх перед оружием (в Германии XVII века власти предлагали приговоренным к смерти выпить перед казнью пива или вина), пьяная жертва преступления, из чувства неуязвимости решившая подразнить убийцу, — подобные описания помогают связать смерть с ее причиной. Между тем женщины в синих халатах изучают образцы тканей, присланные доктором из другого конца коридора. Я смотрел, как одна из них, склонившись над разделочной доской и мимоходом отмечая неприятный запах, разглядывает зернистую массу чьей-то опухоли. Если желудок поражен раком, если печень заполнена толенолом или секоналом, из этого составится история, и люди доктора Стивенса вскоре смогут подписать очередное свидетельство о смерти.

Руками в перчатках женщина раскручивала трубку с черным набалдашником, полную чьей-то малиновой крови. На столе лежала стопка дисков с надписью «Полиция». На них улики, информация, из которой когда-нибудь может родиться смысл. Почки плавали в больших белых прозрачных пластиковых банках. Они тоже хранили свой секрет — нож во рту — или не хранили. Они могли объяснить неожиданный приступ — или найти рациональное толкование смертельной концентрации белых барбитуратов в двенадцатиперстной кишке, если этого не сделали последние слова покойного. Каждый четвертый самоубийца Сан-Франциско оставляет записку. Те, кто предпочитает молчание,

сами того не желая, иногда оставляют записки в жизненно важных органах.

— Я бы сказал, примерно двадцать пять процентов самоубийств, с которыми мы тут имеем дело, обусловлены реальными физическими болезнями, — сказал доктор Стивенс. — Некий джентльмен прилетел недавно из другого штата, взял такси до моста «Золотые ворота» и прыгнул вниз. Что ж, у него был неоперабельный рак печени. Это логические решения.

Что до других, то их причины эмоциональны и преходящи. Девочка говорит мальчику, что не хочет его больше видеть, тот идет и вешается. Никто с ним не поговорил и не вложил ему в голову мысль, что в мире есть и другие женщины.

Заглянем теперь в печень. Найдем там рак или нет. Это нам кое-что сообщит.

— А убийство? — спросил я. — Вы когда-нибудь видели уважительную причину?

— Ну, я все же видел несколько оправданных убийств, — ответил доктор Стивенс. — Мы имеем дело с сотней убийств ежегодно, и всего несколько из них бывают оправданы. Люди защищали своих близких или свою жизнь. Но подавляющее большинство — пустота, бессмысленное насилие, за которое нужно судить и наказывать.

А несчастные случаи? Сердечные приступы, отказ почек? Незачем даже спрашивать. Со стороны смотровой комнаты все они бессмысленны.

## *Пока ты не умер, смерть не страшна*

В то субботнее утро, когда доктор пропускал сквозь пальцы кишки повесившегося, подобно тому, как рыболов проверяет, нет ли на леске узлов, а судебный медик, светловолосая украинка, рассказывавшая мне недавно о своей родной Одессе, была занята распиливанием электропилой черепа, я спросил:

— Если тело начало разлагаться, какова опасность занести себе инфекцию?

— Да ну, бациллы туберкулеза и вирусы СПИДа умирают довольно быстро, — сказал врач. — Им нелегко приходится в мертвом теле. Не хватает кислорода. Правда, стафилококк и грибки, наоборот, растут… Мертвых нечего бояться. Другое дело — живые. Приходите, например, в квартиру к умершему и спрашиваете соседа, что случилось, а умерший встает и начинает на вас кашлять.

Он закончил свою работу и вышел. Поблагодарив помощницу

и сняв халат с бахилами, я сделал то же самое. Я вышел в ясный и жаркий мир, где меня ждала моя смерть. Если я умру в Сан-Франциско, у меня будет один шанс из пяти приехать на карете в заведение доктора Стивенса. Ничто вокруг меня вроде бы не нависало угрожающе и не воняло смертью, как это было, когда я вышел из катакомб — наверное, потому, что смерти, виденные мною на столах для вскрытия, были столь подчеркнуто единичны, что я отказывался примеривать их на себя,[27] тогда как цельная масса и множественность черепов в катакомбах вконец истощила мое неверие — я все же не мог не думать о том, кто сейчас на меня кашлянет, какая меня собьет машина или какого сорта раковые клетки в этот самый миг делятся и воняют у меня в животе. Доктор прав: я не смогу причинить ему вреда, поскольку он будет готов к нашей встрече. И его скальпель также не сделает мне больно. Я шел по Брайен-стрит, размышляя о странном и абсурдном свойстве собственной души, которая сильнее всего боялась смерти тогда, когда смерть меньше всего ей угрожала — можно подумать, эти трупы встанут и набросятся на меня, — а еще о том, как же это здорово — стащить с себя одноразовую маску, вдохнуть свежего воздуха и раствориться в этом городе с его смертельно опасными машинами и микробами, с его парусниками, книжными лавками и, в конце концов, с его безжалостной будущностью.

## *III. Мысли в осаде*

А теперь, прикрыв глаза, я окину беглым взглядом обходные пути жестокостей и войн. Я видел штабеля черепов в Парижских катакомбах. Точно такие же черепа я видел на стеклянных полках Полей Смерти Чоенг Ёк.[28] В отличие от парижских, глядевших прямо на меня из штабелей и кое-где уложенных красивыми арками, эти черепа были свалены как попало на стеклянные выставочные стеллажи, кучами, а не рядами — впрочем, недостающие впечатления можно получить, посетив знаменитую «карту геноцида» в нескольких километрах от Пномпеня: сия графическая репрезентация Камбоджи составлена из черепов убитых. В Чоенг Ёк они лежат друг на друге, таращась и ухмыляясь, зевая и крича, рассортированные по возрасту, полу и даже расе (ибо от рук красных кхмеров погибло также некоторое количество европейцев). На черепах попадаются трещины — кхмеры разбивали железными брусьями еще живые головы. И все же, на мой необразованный взгляд, никаких других отличий от парижских черепов там нет. Ангел смерти пролетает над чьей-то

головой, снижается, убивает и улетает прочь. Оставшееся после его работы неразличимо ни для кого, кроме коллег доктора Стивенса и тех, кто видел все это своими глазами. (Однажды я смотрел фильм о Холокосте. Когда зажегся свет, я чувствовал себя очень подавленно. Кажется, фильм меня «тронул». Но тут я посмотрел на своего знакомого, бледного и покрытого потом. Он был евреем. Он был там. Нацисты убили почти всех его родных.) До того, как ангел сделает свое дело, обреченные на смерть точно так же неотличимы от тех, кому повезет или не повезет прожить немного дольше. Возможно, смерть постижима только во время смерти.

Чтобы постичь ее, давайте представим этот миг в настоящем, страшный миг, когда в вас стреляют, а вы, забыв, что ваша жизнь далеко не идеальна, молите лишь о том, чтобы еще немного пожить, еще немного попотеть и помучиться от жажды, клянетесь, что, если только вам удастся сохранить свою жизнь, вы будете холить ее и лелеять. Это почти-смерть — не имеет значения, насильственная или нет. Женщина, которую я любил, умершая потом от рака, однажды писала мне: «Ты этого не знаешь, но сегодня годовщина моей мастэктомии, и я должна быть счастлива, что живу. На самом деле день был ужасным». Как и я, она все забыла; в очередной раз отмахнулась от смерти, не будучи настолько верующей, чтобы после всего пережитого благоговеть перед каждой минутой. После того как в меня стреляли (может, они стреляли вовсе не в меня, может, они меня даже не видели), я клялся, что стану счастливее, что буду благодарить небеса за подаренную мне жизнь, и преуспел в этом, однако в иные дни катакомбы и плиточные столы для вскрытия из офиса доктора Стивенса опускаются на дно моей памяти — тогда я впадаю в отчаяние и презираю жизнь. Новый испуг, новый ужас, и признательность возвращается. Плиты встают во всем своем зловонии, чтобы напомнить мне о моем счастье. За год до самого ужасного дня моя любимая писала: «В прошлый раз им нужно было воткнуть четыре иголки в четыре вены. Я плакала, когда втыкали четвертую. Вены не выдерживают. Меня вырвало прямо в кабинете врача, потом рвало все четыре дня, и все четыре дня я была в полусознании. Я всерьез хотела немедленно умереть. Что если принять сверхдозу снотворного… Выбор невелик, но мне хотелось остаться и успеть поненавидеть ухажеров моей дочери». Я вспоминаю предыдущее письмо на розовой бумаге, начинавшееся с: «Я обещала больше не писать. Я солгала. В субботу мне сказали, что у меня обширный рак груди, через неделю будут делать мастэктомию и удалять лимфатические узлы. Я боюсь смерти. У меня трое маленьких детей. Я не

пустышка. Мне плевать на мою грудь, но я хочу жить… Скажи мне. Этот страх — я чувствую его запах — на войне так же?» — Да, дорогая. Я никогда не был опасно болен, но уверен, что так же.

В одном из последних писем она писала: «Я слишком долго была уверена, что умру не когда-нибудь, а очень скоро — не сразу удалось поверить в то, что я, может быть, поправлюсь. Я до сих пор не до конца в это верю, но постепенно все встает на свои места — в основном, потому, что я хочу вырастить своих умных и красивых детей, а еще хочу радоваться жизни… Волосы отросли, и парик уже не нужен».

В другом письме она писала: «Вот последние события моей жизни. Не то чтобы они мне совсем не нравились, их нельзя сравнить с тем, когда в тебя стреляют или когда ты теряешь друзей, но, возможно, они тебя позабавят. Я поставила в кабинете аквариум… и принесла детям четырех рыбок. Они придумали имя только для одной. Я сразу сказала, что пусть сначала научатся чистить аквариум, менять в нем воду, кормить рыб, поймут, как устроены жабры, и только после этого они получат морскую свинку. Я не очень люблю домашнюю живность, предпочитаю детей. Одной каракатице в аквариуме как-то не по себе, носится как сумасшедшая и думает, где бы ей умереть».

Закрыв глаза, я вижу ее семнадцатилетней или такой, какой она стала в тридцать четыре года — сильно постаревшей, частично из-за рака — лицо с выступающими скулами, редкие волосы, возможно, это парик, она сидит на ступеньках вместе с детьми. Я не смотрел на нее из-за стекла смотровой комнаты доктора Стивенса. Я не видел ее гниющего тела. Я не видел ее лишенного черт черепа, закрепленного цементом в стене катакомб. Значит ли это, что я не могу представить смерть, ее смерть? Шесть миллионов черепов под Парижем весят для меня меньше, чем ее лицо, которое вы, возможно, назвали бы слишком мрачным, а потому не очень красивым, но для меня оно по-прежнему прекрасно, несмотря на то, что теперь я вижу его только на фотографии.

Но — я опять возвращаюсь к тому же самому — ее смерть бессмысленна, ошибка в генах или в окружающей среде. Ее не убивала злая душа. Мне тяжело думать о ней. Мне не горько.

Мне тяжело думать о двух моих коллегах из Боснии, заехавших на машине на минное поле. Их звали Уилл и Фрэнсис. Я напишу о них позже. Сначала — оттого, что там было два отдельных протокола, дыры в ветровом стекле и в двух смертельно раненных людях — я думал, их застрелили, и, когда появились два вооруженных человека, был уверен, что смотрю на

их убийц. Уилла я знал всего два дня, но он мне сразу понравился. Фрэнсис был моим другом, мы встречались то чаще, то реже почти девятнадцать лет. Я любил Фрэнсиса. Но не чувствовал злости, даже когда появились предполагаемые снайперы, ибо их работа не была направлена лично против этих людей. Мы пересекали разделительную линию между хорватами и мусульманами; мусульмане извинились, а такие случаи на войне — не редкость.

Но только что я развернул письмо от моей сербской подруги Винеты, часто говорившей, как она ненавидит Фрэнсиса (которого никогда не видела) из-за его хорватской крови; после детальных, деловых и очень для меня полезных замечаний, касающихся журналистской работы в Сербии, она написала несколько слов о том, что я собираюсь осветить мусульманский и хорватский взгляд на происходящее (в моем списке это были пункты семь и восемь): «Знаешь, дорогой Билли, мне очень приятно, что ты посвятил меня в свои планы. Но МНЕ ГЛУБОКО НАСРАТЬ И НА ХОРВАТОВ, И НА МУСУЛЬМАН!» В конце своего длинного послания она добавила постскриптум: «Последнее „личное письмо“ я получила два года назад от покойного друга. В городе Б., недалеко от Вуковара, хорваты разрубили его тело на куски. Его звали М.» Затем она приписала еще один постскриптум: «Ни у кого с тех пор нет ни единого шанса тронуть мое сердце».

Вот что делает насилие. Вот что такое насилие. Смерти мало той вони, которой она наполнила весь белый свет, отныне она рядится в формы людей-врагов, принуждая тех, кто сумел защитить свою жизнь, ненавидеть и бороться — неважно, за правое дело или нет. Слишком легко было бы утверждать с точки зрения выжившего, что ненасильственная смерть предпочтительнее! Я слышал достаточно врачебных историй о том, как выплескивают свой гнев на «судьбу» родственники умирающих от рака. Подобно Гитлеру, они очень хотели бы обвинить хоть кого-нибудь. «Люди всегда злятся, когда умирают их близкие, — настаивал врач. — Разница лишь в том, направлена эта злость на кого-то конкретно или нет». Может и так. Но разница существует. Оставив позади столы доктора Стивенса, на которые чаще попадают умершие «естественной смертью» от истекшей кровью поджелудочной железы, жертвы несчастных случаев и редкие самоубийцы, давайте перенесемся в осажденный город Сараево и заглянем в морг госпиталя Косево — это место я не забуду никогда, запах держался на моей одежде еще два дня. Здесь лежат убитые. Я видел детей со вспоротыми

животами; женщин с головами, пробитыми пулей, когда они переходили улицу; мужчин, в которых снайперы, хорошо рассчитав, послали противотанковые снаряды.[29] Смерть насмехалась, пьянствовала и вульгарно пердела в окрестных горах, омерзительного озорства ради целясь в нас из своего оружия и порождая в осажденных ответное омерзение. Каждое утро я просыпался под чириканье пуль и грохот смертоносных взрывов. Я ненавидел невидимых снайперов за то, что они хотели убить меня, убивали жителей этого города, разрушали его физически и морально, любым способом, которым он мог быть разрушен, давили его, расчетливо стирали с лица земли, вселяя в людей ужас и ломая их. Но эта злоба, к сожалению, стала нормой — таким было Сараево на четырнадцатый месяц осады. Нужно как-то жить: люди занимались своими делами посреди ужаса, ужаса, который невозможно вынести, и поднимали голову лишь по необходимости, когда нужно было куда-то бежать. Что до судебного врача госпиталя Косево, то он уходил домой, воняя смертью и, подобно мне, частенько спал в одежде; он привык к этому запаху, его жена, наверное, тоже привыкла, обнимая мужа. (Между тем, разумеется, люди мучались от бессонницы, у них нарушался менструальный цикл, раньше времени седели волосы.)[30] Так проявляется ни на кого конкретно не направленный гнев.[31] Смерть от политики, смерть от рака, все одно и то же.

В ночь, когда убили Уилла и Фрэнсиса, ооновская переводчица из Сараево рассказывала мне, что теряет друзей почти каждую неделю. «От этого как бы застываешь, — сказала она совсем спокойно. — Приходится». Женщина говорила сочувственно и очень по-доброму, она не собиралась ни принижать мое горе, ни объяснять, как это должно быть. Она вела себя так, как только и можно вести себя с человеком, перенесшим утрату, — говорила о своем горе, чтобы я не оставался наедине со своим; однако ее печаль истрепалась и застыла, и это красноречиво подчеркивало то, что с ней стало. Как доктор Стивенс и его команда, как инспектор по сумкам в катакомбах, как мой приятель Тион, катающий туристов на мотоцикле в Чоенг Ёк — я становился таким же, как они. Сараево не было моей первой фронтовой зоной, я не впервые видел смерть, но я никогда его не забуду. Морг госпиталя Косево, как и весь Сараево, жил без электричества, поэтому, как я повторяю уже в который раз, там стояла такая вонь. Я помню сырный запах парижских катакомб и кисломолочный — белых катафалков доктора Стивенса; после госпиталя Косево моя одежда пахла рвотой, уксусом и гниющими кишками. Я вернулся в свой дом, получивший положенную долю пулеметных очередей и ракетных обстрелов, и стал выяснять, что

меня беспокоит — в голове у меня не было места печали о мертвых, только страх, а еще волнение, буду ли я сегодня что-нибудь есть, поскольку из-за сбитого ооновского самолета аэропорт закрыли, а всю свою еду я раздал. Смерть была у меня на коже и за стенами дома — может, моя смерть, а может, чья-то еще; я старался жить мудро и осторожно, не тратя время на собственную смерть, хотя, бывало, слышал ее рычание. После катакомб у меня был целый день, и весь этот день я посвятил смерти, хотя никто не собирался на меня нападать. В Сараево же я просто бежал — смерть там была повсюду, смерть за смертью, такая бессмысленная и для меня случайная.

В Мостаре на мне был пуленепробиваемый жилет, в него, звякнув о керамическую пластину, воткнулся осколок, так что в какой-то степени мне повезло, но Уилл, который вел тогда машину, получил предназначенную ему смерть прямо в лицо, наискось от подбородка. Он умирал бесконечно долго (кажется, минут пять). Винета сказала, что я или трус, или дурак, раз не прекратил его страдания. Я объяснил, что у журналистов нет оружия. Как бы то ни было, если бы я сидел на его месте, пуленепробиваемый жилет мне бы не помог.

У женщины, которую я любил, просто-напросто завелись в груди неправильные клетки; парень Винеты воевал не в том месте, не в то время, а может, он воевал с хорватами слишком ожесточенно или даже слишком хорошо.[32] Для женщины, которую я любил, и для меня в Сараево ангел смерти был безликим, но Винете он явился в образе мучителя с лицом хорвата, и она возненавидела «этих хорватских ублюдков». Винета, если бы я мог отослать ангела смерти куда-нибудь от тебя подальше, я бы так и сделал. Может, кто-то другой, кто знает тебя лучше и любит сильнее, хотя бы уговорит твоего ангела закрыть лицо покрывалом и стать просто тьмой, словно Безликий из ирокезских легенд, просто злым жребием, «военным эпизодом», кем-то вроде ангела моей утонувшей сестры, и тогда твой гнев растворится в печали. Винета, если ты когда-нибудь прочтешь эту книгу, не считай меня бестактным и не думай, что я пытаюсь встать между тобой и твоим правом оплакивать любимого и гневаться на ангела.

Но он не Фрэнсис. Фрэнсис был хорошим человеком. И мне совсем не нравится, что, отправляясь тебя мучить, ангел украл у Фрэнсиса лицо.

Ангел в белом катафалке. Почему бы нам не уподобиться сотрудникам доктора Стивенса, которые взвешивают печальные и зловонные отходы насилия, снимают с них отпечатки пальцев и вскрывают их, пытаясь докопаться до причин? А когда пагубность,

унылый вид или неприятный запах этих штук на столе начнет сводить нас с ума, почему бы нам не рассказать пару-тройку грубых анекдотов? Если мне удастся добавить хоть каплю к пониманию того, как и зачем ангел убивает людей, я буду, говоря словами доктора, — одной рукой в окровавленной перчатке он подносил ко рту чашку кофе, а другой резал мертвое тело, — да, я буду «доволен». К черту это эссе и ту большую работу, частью которой оно является. Я прошу у всех прощения за все его провалы.

*Перевод Ф. Гуревич*

# ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР СКВАЖИСТОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОЧВ (VIII)
# Дэвид Фостер Уоллес

В конце 1996 года, как только меня выпустили, мать подала иск по защите прав потребителей и выиграла, а на полученные деньги тут же сделала пластическую операцию, хотела убрать «гусиные лапки» в уголках глаз. Но хирург напортачил и что-то там повредил в лицевых мышцах, поэтому вид у нее стал вечно перепуганный. Ну, вы наверняка знаете, как выглядит человек за долю секунды до того, как заорать. Вот такая теперь моя мать. Оказывается, достаточно, чтобы нож самую капельку скользнул вправо или влево — и ты уже похож на персонажа Хичкока из знаменитой сцены в душе.[33] Так вот, она сделала еще одну пластическую операцию, пыталась исправить последствия первой. Но и второй хирург тоже ошибся, и мамино лицо стало еще испуганнее. Особенно рот. Она спросила моего непредвзятого мнения, и тут мне пришлось туго — не хотелось ее расстраивать.

«Гусиные лапки» действительно остались в прошлом, но теперь ее лицо представляло собой застывшую маску безумного ужаса. Она напоминала актрису Эльзу Ланчестер, когда та впервые увидела своего «нареченного» в классическом фильме 1935 г. «Невеста Франкенштейна». Сейчас, после второй неудачной операции, мать не спасали даже солнечные очки, потому что оставался еще раззявленный рот, выпяченная нижняя челюсть, вздувшиеся жилы на шее и все такое. В общем, она снова оказалась втянута в судебное разбирательство и регулярно ездила через весь город на автобусе к своему адвокату, а я ее сопровождал. Обычно мы располагались в передней части автобуса, на одном из длинных сидений, смотрящих не прямо, а вбок. Мы на собственном горьком опыте научились не садиться в конце салона, на обычные сиденья, смотрящие вперед, — потому что пассажиры, войдя в автобус, начинали пробираться к свободным местам, при этом машинально скользили взглядом по морю человеческих лиц и вдруг натыкались на лицо матери, искаженное в беззвучном крике и глядящее на них с выражением крайнего ужаса; некоторые реагировали весьма бурно, кое-кто даже убегал. После трех или четырех подобных неловких инцидентов я поднапряг мозги и выбрал более безопасное место дислокации. Ни в каких источниках не объясняется, почему люди, входя в транспорт, первым делом ощупывают взглядом остальных

пассажиров; по моему скромному мнению, это защитная биологическая реакция. Правда, если мама не хочет привлекать к себе внимания, она выбрала себе в сопровождающие не самого подходящего человека — я всегда сильно возвышаюсь над толпой. С физической точки зрения я крупная особь, обладающая заметной окраской, — по виду и не скажешь, что я увлекаюсь наукой. Еще я всегда ношу защитные очки на пол-лица и специально изготовленные перчатки для полевых испытаний — никогда не знаешь, где встретится интересный экземпляр и приспичит провести опыт, да вот хотя бы и в автобусе, хотя тут моя исследовательская работа пока результатов не дала. Не то чтобы я так уж наслаждался этими поездками три раза в неделю, пока мать напрягала всю силу воли, чтобы из-за мыслей о выражении ужаса на лице этот ужас не делался еще ужаснее; да и перспектива снова ждать ее в претенциозно обставленной приемной, листая бюллетени «Ротари-клуба», тоже не радовала. У меня и без этого было чем занять время. Но выбирать не приходилось: одним из условий моего освобождения было обещание матери стать моим надежным «стражем». Но любой, кто пожил бы с матерью под одной крышей после второй неудачной операции, пришел бы к выводу, что на деле все обстоит как раз наоборот: вечно пребывая в унынии и боясь реакции окружающих, она может выходить из дома и предпринимать длительные поездки в логово льстивого адвоката только в моем присутствии и под моей защитой. А еще я терпеть не могу прямые солнечные лучи и моментально обгораю. На этот раз адвокат сулит солидную компенсацию — нужно только, чтобы мать отправилась в зал суда и дала присяжным рассмотреть себя хорошенько — живое свидетельство врачебной ошибки. Еще я всегда ношу с собой чемоданчик — с тех времен, когда расследовалось мое собственное дело. Кое-кто, пожалуй, назовет чемоданчик «защитной биологической реакцией», чтобы отпугнуть хищников. Я еще после первой врачебной ошибки выработал иммунитет против хронического выражения ужаса на лице матери, но даже мне порой становилось неуютно, когда на нас реагировали в транспорте. Руль в автобусе больше по размеру, чем в такси, обычной легковушке или полицейской патрульной машине, и расположен под другим углом, водитель крутит его размашистыми движениями, наклоняясь и раскачиваясь всем телом — как будто разозлился, и в припадке гнева одним мановением руки смахивает с огромного стола все, что там лежит. С наших длинных перпендикулярных сидений в передней части салона как раз удобно наблюдать борьбу водителя с автобусом. Не то чтобы я имел что-то против того мальчугана,

вовсе нет. К тому же, насколько я знаю, никакое законодательство на уровне штата, округа или города не уточняет, сколько дел можно делать одновременно, и не указывает, что совмещение слишком большого количества задач повышает риск, в том числе и для человечества в целом. Если встреча с адвокатом назначена на утро, у водителя за ящичком со сдачей или жетонами обычно лежит сложенная газета — он урывками почитывает ее, пока стоит на перекрестках, хотя в таких условиях много не прочитаешь. Тому мальчишке было всего девять, и от этого одни сплошные проблемы — как будто его нежный возраст усугублял мою вину, мою халатность. У всех распространенных в Азии видов не только схожее строение кишечника, но и красная линия вдоль спины, «…похожая на расходящийся шов». Стандартное тестирование показало, что у меня не только склонность к наукам, но и потрясающая память — этого даже мать не станет отрицать. Я вывел следующую теорию: по утрам водитель просматривает газету, устало переворачивает страницы и снова кладет ее поближе, за ящичек, чтобы время от времени машинально поглядывать на нее, борясь со скукой и осознавая непрестижный, лакейский характер собственной работы; какой-нибудь назначенный-клиникой-или-судом-психолог, наверное, назвал бы эту водительскую газету «подсознательным криком о помощи». Наше привычное сиденье — длинное, перпендикулярное, на той же стороне, что и дверь, — это сводит к минимуму вероятность, что только что вошедшие пассажиры наткнутся взглядом на материну хроническую маску безумного ужаса. Это урок, который мы усвоили на собственных ошибках. Единственный забавный эпизод был, когда матери после первой операции сняли бинты, и врачи принесли ей зеркало: поначалу никто не мог понять, то ли перепуганная мина — просто естественная защитная реакция человека, недовольного своим отражением, то ли ее действительно так перекосило. Мать, порядочная и достойная, хотя и немного тщеславная, вредная и трусливая стареющая женщина (при этом, если уж начистоту, вовсе не титан мысли), и сама в первые минуты не могла определить, откуда это выражение полнейшего ужаса — это реакция или ее причина, и если реакция, то чем именно она вызвана и т. д., и т. п. Пластический хирург привалился к стене, да не спиной, а прямо уткнулся в стену лицом — тоже поведенческая реакция, которая явно свидетельствовала: «Да, операция возымела непредвиденные последствия». Автобусом приходится пользоваться, потому что машины у нас нет, но этот новый адвокат уверяет, что скоро появится. А пока она аккуратно стоит себе под замком на государственной стоянке; даже

государство признало, что если бы мальчишке не вздумалось поскакать по крышам чужих гаражей, ничего бы не случилось. Это отразилось на условиях, на которых меня освободили. Хотя в наблюдении за публикой есть и кое-что любопытное: интересно наблюдать, как пассажиры, заметив искаженную физиономию матери, инстинктивно заглядывают в окно напротив, хотят узнать, что же могло ее так напугать. Она, сколько себя помнила, боялась членистоногих, поэтому никогда не заходила в гараж и не соглашалась с правилом «ignorantia facti excusat».[34] Дошло до смешного: она постоянно разбрызгивала по дому «R-d»©, несмотря на мои раздраженные попытки растолковать ей, что эти твари устойчивы к резметрину и д-транс-аллетрину (действующие вещества «R-d»©). Вынужден согласиться, что укус «черной вдовы» — неприятная штука, потому что в организм попадает нейротоксин, поэтому один врач еще в 1933 г. прокомментировал: «Не припомню случая, чтобы человек когда-либо испытывал боль сильнее — даже в случаях хирургических процедур», — а вот укусы пауков-отшельников безболезненны, выделяемый ими токсин вызывает только некроз и разрушение клеток вокруг пораженной области. Пауки-отшельники, однако, обладают агрессивной манерой поведения, в отличие от «черных вдов», которые никогда не нападут, если их не потревожить. Тот мальчишка именно это и сделал. Салон автобуса отделан телесного цвета пластиком, над окнами тянутся бесконечные ряды объявлений, предлагающих медицинские и адвокатские услуги. Вентиляцию лучше всего описать словом «сквозняк». Фобия матери усиливается до того, что она кладет в сумочку аэрозоль для истребления насекомых, но я всегда нахожу его перед уходом и произношу твердое «нет!». Во время одной из перепалок (о чем я теперь жалею) я язвительно припомнил матери, как однажды мы поехали с ней через всю Санта-Монику на пробы в массовку — в один из тех фильмов, где толпам статистов платят за то, чтобы они изображали ужас перед каким-нибудь Спецэффектом, который вставят в картину только потом, при помощи компьютера. Я действительно сожалею о том случае, ведь я — единственная ее надежда и опора. Хотя, по-моему, сказать, что проржавевший участок в крыше построенного двадцать лет назад гаража свидетельствует о халатности и отсутствии должной заботы, было бы натяжкой. Хичкок и другие классики использовали более примитивные и топорные спецэффекты, и все равно результаты были устрашающие. Не говоря уж о том, что он нарушил закон о частной собственности, и нечего ему было там, на крыше, делать. Начать хотя бы с этого. К тому же, кто ж мог предугадать, что какому-то шалопаю

втемяшится провалиться сквозь прогнившую крышу гаража, разнести в хлам всю постройку и разбить дорогой контейнер из закаленного стекла и прочее оборудование, потревожив огромное количество особей, что в результате привело к проникновению в помещение других особей, обитающих по соседству, и провалу моего эксперимента. Вот хотя бы один аргумент в пользу моей любимой старой классики фильмов ужасов. Я никогда не ставлю чемоданчик на пол и не засовываю под сиденье, а во время частых поездок держу его на коленях. Моя позиция в течение всех длительных разбирательств была неизменна — искреннее и глубокое сожаление, сочувствие мальчику и его семье; но ужасные последствия его падения все равно не соразмерны поднявшейся шумихе и тяжести наказания. Хороший консультант по правам мог бы облечь все эти доводы в доходчивый юридический язык прямо в судейской комнате, без посторонних. Но, конечно, на деле консультанты так и вьются вокруг тебя, если ты злостный преступник, и растворяются в воздухе, если ты жертва; они как паразиты, кабельное телевидение насквозь заражено их рекламой, призывающей зрителя терпеливо выжидать, пока не представится возможность напасть: «… работаем на процентной основе, не требуем никакого вознаграждения, если вы обвиняетесь в тяжком преступлении!» После маминого иска по защите прав потребителей от этих консультантов просто отбоя не было, появлялись как грибы после дождя. Никто толком не знает, как действует нейротоксин и почему вызывает у крупных млекопитающих такую нестерпимую боль; ученые озадачены: зачем эволюция снабдила этот уникальный, но довольно распространенный биологический вид таким количеством яда, которое намного превосходит необходимую для умерщвления добычи дозу. Оба вида часто ставят науку в тупик: и роскошная «черная вдова», и более скромный с виду паук-отшельник. А бывают еще такие адвокаты, которые клянутся, что будут ползать ради тебя на брюхе и хоть кому горло перегрызут, они почему-то обычно голубые, как тот «вроде бы специалист» по врачебным ошибкам из Окснарда, которого наняла мать. При других обстоятельствах вся эта шумиха вокруг дела выглядела бы даже комично; любая запущенная местность вроде окрестностей нашего гаража и так кишит подобными тварями, особенно всякие сараи и полуразвалившиеся дома. Развалюхи — излюбленная среда обитания этих видов, особей самой разной величины можно увидеть по углам подвалов, под полками в подсобных помещениях, в бельевых шкафах, в бесконечных лабиринтах помоек и в зарослях бурьяна. А также в большинстве домов — в

углах самой темной и нежилой их части. Поэтому без защитных очков и полиуретановых перчаток не обойтись даже в душе — там в углах тоже притаились эти твари. Или, например, снаружи, по ту сторону мчащегося автобуса, люди стоят на остановке под пальмами и, ничего не подозревая, ждут транспорта, «возьмите напрокат лестницу и загляните под эти огромные рассеченные листья, хотя бы из интереса!» — хочется мне крикнуть, высунувшись в окно. Если знаешь, что искать, то натыкаешься на них практически повсюду — «прячутся» на самом виду. На этой территории и дальше вглубь материка обитает и более редкий вид, «красная вдова», или красноногий паук-ткач, брюшко у него черное или коричневое, а еще глубже, в зоне пустынь, встречаются два вида обитающих в нашем полушарии «бурых» пауков. «Красной вдове» недостает той завораживающей красоты, которой славится ее «черная» родственница, она более тусклая, приглушенно красная; эти пауки редкие, и особи обоих видов во время того инцидента сбежали, а новыми я так и не обзавелся. Как часто бывает среди членистоногих, у этих видов доминируют самки. Если откровенно, то на том процессе о нарушении прав потребителей мать переигрывала по части боли и страданий, давая показания, она кашляла гораздо сильнее, чем обычно. Однако я далек от того, чтобы осуждать ее. Хотя крупному млекопитающему, чтобы заработать хроническое заболевание дыхательных путей, нужно вдохнуть просто какое-то невообразимое количество резметрина и д-транс-аллетрина — наверное, поэтому матери присудили не такую уж большую компенсацию. Оказалось, что разница между успешным омоложением кожи и хроническим перекошенным выражением лица Вивьен Ли[35] в классическом фильме 1960 г. составляет при движении скальпеля всего несколько миллиметров. Чемоданчик хорошо проветривается, я проделал в каждом уголке по дырочке, а внутри его распирают 30 колышков, чтобы содержимое не пострадало от тряски и случайных ударов. Сложность нынешнего материного дела в том, что в иске нужно грамотно разделить ответственность между первым пластическим хирургом, по недосмотру сделавшим ей испуганные глаза, и вторым бессердечным мясником, который взялся «исправить» ситуацию и превратил ее лицо в вечную маску муки и кошмара, которая годится разве что для устрашения пассажиров на длинных боковых сиденьях в автобусе, ведь материно лицо видно только с сиденья напротив, и тому неосторожному пассажиру, кто рискнет туда сесть, придется всю дорогу наслаждаться незабываемым зрелищем. Иногда они, эти пассажиры, по каким-то причинам (то ли из-за погоды, то ли из-за особенностей характера) думают, что

такое лицо у нее из-за меня — особенно учитывая мой рост, стать и особые приметы, — как будто я взял и похитил эту перепуганную-женщину-средних-лет посреди бела дня или еще каким-то образом ей угрожал; они подходят и говорят: «Простите, у вас какие-то проблемы?» или «Эй, парень, почему бы тебе не оставить даму в покое?» — мать в таких случаях смущенно кутается в шарф, а я, подавив в себе злость, безмятежно улыбаюсь и развожу руками в перчатках, словно бы говоря: «Мало ли у кого какое лицо, я-то тут при чем? Знаешь, приятель, давай не будем делать преждевременных выводов, не обладая полной информацией!» В своем первом иске она указала, что, должно быть, рабочий на заводе приделал на баллончик насадку-распылитель задом наперед. Дело верное: травма при попытке использования. Пятым условием получения компенсации было никогда не упоминать один из самых популярных в быту аэрозолей-репеллентов в связи с судебной тяжбой, что я твердо намереваюсь выполнить и прослежу, чтобы мать выполняла тоже, в конце концов, закон есть закон. Вопрос о том, чтобы потратить компенсацию на ремонт крыши гаража или восстановление утраченного имущества, даже не рассматривался. Я несколько раз пытался назначать девушкам свидания, но мы не подходили друг другу химически, в делах сердечных мать поразительно цинична. Совсем недавно, когда автобус выехал из Казитас-Спрингс, я опустил взгляд на чемоданчик и случайно заметил торчащий из вентиляционного отверстия в уголке кончик черной, состоящей из нескольких сочленений лапки, окрашенной так же фантастически, как и остальное тельце; она осторожно двигалась, исследуя пространство. Она была почти неразличима на фоне черного бока чемоданчика. Мать ничего не заметила, хотя я мог бы со всей иронией сейчас порассуждать о том, что, разгляди она паука, выражение ее лица ни чуточки бы не изменилось. Даже если бы я откинул крышку, подтолкнул чемоданчик в проход и позволил бы живности стремительно расползтись по салону. Но такой план действий я припас на самый крайний случай: если на сиденье напротив окажется парочка обдолбанных панков или малолетних понторезов, которые при виде материных вытаращенных глаз начнут грубо пялиться на нее, тыкать пальцами и орать: «Какого хрена вылупилась?» Собственно, во избежание подобных случаев я ее и сопровождаю, такой весь из себя внушительный и в очках на пол-лица; где-то там, за своей маской с выпученными глазами и разинутым ртом, она верит, что я могу ее защитить, и это хорошо.

*Перевод И. Копыловой*

* * *

Кому:

_ _ _

Питеру И. Бижюру
Генеральному директору «Тексако»
2000 Уэстчестер авеню
Уайт-плэйнс, Нью-Йорк
10650

_ _ _

Дорогой мистер Бижюр,

Приветствую. Я живу в Остине, Техас, и пишу Вам от лица собаки по кличке Стивен. Стивен — ирландский сеттер. Вот Вам Стивен:

До нас в этом доме жила семья из четырех человек. Их фамилия была Клаттер,[36] и, конечно, им не давала покоя книга Трумена. Однажды я спросил, не родственники ли они тем самым Клаттерам, но мой вопрос проигнорировали. Я читал книгу мистера Капоте, и она пришлась мне весьма по душе.

Иногда я лаю. Иногда я говорю с людьми об этом лае — я чувствую, что здесь что-то не так. Вернее, я чувствую, что другие люди чувствуют, что здесь что-то не так, и сам начинаю чувствовать, что что-то с их чувством для меня не так. Глядя сквозь заднее стекло на фары других машин, я чувствую невнятную угрозу. Моего брата зовут Джонатан, и он лает еще больше меня, но мы никогда не лаем вместе — зачем это нам нужно, лаять одновременно?

Я цапнул его так сильно, что почувствовал в пасти щелочной привкус крови. Вуууу!

Как-то я ел пиццу. Вообще-то собакам, не положено есть пиццу, но откуда мне знать, кто придумал правила насчет того, что кому полагается есть. Я съел пиццу, и она мне понравилась.

Я посмотрел на солнечное затмение, и оно мне тоже понравилось. Однажды я прыгнул с крыши и ничего себе не повредил. Наверное, я никогда не умру.

Я быстроногий пес.

Я лаял ночи напролет целый месяц. В машине я сижу тихо. Я несусь среди деревьев, как палочка в ручье вокруг гладких камней. Вууу! Вууу! А ну-ка, догони! Мужик, ты должен это видеть.

Мистер Бижюр, Вы невероятно добры. А теперь возвращайтесь к работе.

От кого:

– – –
Дэниел О'Мара
5811 Меса-драйв, 216
Остин, Техас
78731

– – –

# РЕСПУБЛИКА МАРФА
# Шон Уилси

## *Изоляция*

Посреди того, что известно как Дальне-Западный Техас, расположена Марфа — малоплодородная фермерская община в Верхней пустыне Чиуауа, в шестидесяти милях к северу от мексиканской границы, где наблюдаются самые красивые и бескомпромиссные пейзажи, какие только можно вообразить: бездонное небо над пустынной возвышенностью, сформированной в пермский период и с тех пор более или менее не тронутой. Эта часть Соединенных Штатов — из самых малонаселенных, и местные называют ее «el despoblado» (безлюдная земля), двадцать часов пути на самолете и машине с восточного побережья и семь — с западного. Рядом нет ни федеральных скоростных дорог, ни крупных городов, ни сколько-нибудь значительных гражданских аэродромов. В Марфе водится множество опасных животных и насекомых (в то лето, когда я впервые появился там, работник автозаправки умер от укуса паука), а 2424 ее жителя представляют собой самую ощутимую концентрацию населения в округе, площадь которого 6000 квадратных миль — больше, чем Коннектикут и Род-Айленд вместе взятые. Изоляция настолько велика, что если вы вывалите острова Гавайского архипелага вместе с разделяющими их глубокими океанскими проливами на дорогу между Марфой и Восточным Техасом, с его вытянутыми торговыми центрами и Джорджем Бушем-младшим, перед вами все еще останется сотня миль пустой скоростной автотрассы.

Я начал регулярно бывать в этих местах летом 1996 года, с тех пор как Дафна, моя подруга, сделавшись корреспондентом местного еженедельника «Метка Великой Реки», стала появляться тут настолько часто, насколько это было возможно, чтобы фиксировать порой неуловимые пути, которыми шли совместно 2424 жителя Марфы — художники, писатели, бродяги, контрабандисты, вольнодумцы, защитники окружающей среды, солдаты и сепаратисты, объединенные, благодаря стечению обстоятельств и поразительному усердию, в нечто вроде города-государства, превратившегося в единственный в мире и ни на что не похожий музей современного искусства, а с тех пор как местный подросток, что гнал коз по скалам над расположенной неподалеку Рио-Гранде, был застрелен патрулем десантников — в

место первого убийства гражданских лиц американскими военными со времен Кентского университета.[37]

Марфой звали служанку в «Братьях Карамазовых» — книге, которую читала жена железнодорожного смотрителя, когда в 1881 году безымянная остановка для пополнения запасов воды превратилась в город. Женщина читала книгу через год после ее первой публикации в России, в том самом году когда Билли Кид[38] был застрелен в соседнем Нью-Мексико, это был затянувшийся период пограничных стычек, за которым последовала война Мексики с Америкой. Но такие обстоятельства вполне в местном духе. Город притягивает странности: часть первых документов по региону относится к 1800-м годам и происходит из свидетельств индейцев и первопоселенцев о мерцающем, движущемся, похожем на живое свечении на горизонте — о Призрачных Огнях Марфы — необъяснимом оптическом феномене, который до сих пор наблюдается на краю города, где каждый вечер собирается толпа, чтобы пообщаться. Огни были главным местным развлечением вплоть до середины 70-х, когда в Марфу переехал художник-минималист Дональд Джадд, отправившийся в добровольное изгнание от того, что он назвал «легкостью и суровостью» нью-йоркской художественной сцены, чтобы жить в месте, напоминающем расположенную на возвышенности лабораторию, посвящая себя строительству, скульптуре, мебельному дизайну, музеологии, консервированию продуктов и немножко скотоводству, вплоть до своей смерти в 1994 году.

В апреле прошлого года Фонд Чинати — музей современного искусства, основанный в конце 70-х и названный по имени расположенной неподалеку горной гряды, — пригласил в Марфу архитекторов и художников, чтобы обсудить перспективы сотрудничества обеих дисциплин. Встреча, объявленная симпозиумом, больше походила на стычку. Среди участников находились: Фрэнк Гери, по проекту которого был построен Музей Гуггенхайма, незадолго до того открывшийся в испанском городе Бильбао (архитектор Филипп Джонсон тогда назвал его «величайшим строением нашего времени»); швейцарские архитекторы Жак Херцог и Пьер де Мерон, участвовавшие в основательном и неоднозначном расширении галереи Тейт в Лондоне; художник по свету и пространству Роберт Ирвин, который только что совершил неожиданный креативный вираж и спроектировал сады Центра Гетти в Лос-Анджелесе; Рони Хорн, лукавая нью-Йоркская концептуалистка, чьим скульптурным материалом служат слова (она берет отлитые из пластика

прилагательные, которые описывают одновременно чувства и погоду, и укладывает их в форме здания немецкой метеослужбы); и сторонник поп-арта (по совместительству комик, любитель черного юмора) Клас Ольденбург. Эта компания провела два дня в *el despoblado* за показом слайдов и разговорами о работе, в то время как два историка искусства — Джеймс Аккерман из Гарварда, убеленный сединами профессор в отставке, и Майкл Бенедикт из Техасского университета, иссохший, обделенный чувством юмора постмодернист, — вели до опасного напряженный спор, отдавая должное Дональду Джадду, и стремились всех перекричать. У Дафны (ее фамилия Бил) было задание написать о встрече для пары архитектурных журналов, и я поехал вместе с ней. Организаторы рассчитывали, что приедут шестьсот человек, и мне было интересно наблюдать, что случится в Марфе, когда ее население возрастет на четверть — как если бы на выходные в Манхэттен прибыли одновременно два миллиона фермеров.

Марфа расположена в местности, напоминающей эпицентр давнего бедствия — обширная равнина с горными ранчо опоясывает ее правильной окружностью с диаметром тридцать миль. К западу лежит Сьерра-Вьеха, к северу — Дэвис. Гласс, Дель-Норте и Сантьяго, а также потухший вулкан находятся к востоку, Чинати — к югу. Эти горы спускаются к окружающему Марфу пустынному высокогорью, заросшему кактусами и желтой травой и замыкающему океанского цвета западно-техасское небо виртуальной пустотой, которую прерывают здания или высокие деревья. В итоге получается огромная чаша, полная света и сухого жара, где каждый предмет приобретает чрезвычайную определенность, очертания проясняются и детализируются, тени создают превосходные рельефы.

Собственно город представляет собой прямоугольник, шестнадцать кварталов в длину и двадцать в ширину, с мексиканским и английским кладбищами (разделенными забором) — на западной оконечности, площадкой для гольфа (самой высокогорной в Техасе) — на востоке и пригородами, выступающими на юг и северо-восток подобно радиоантеннам. Здесь попадаются неожиданные углубления и тени, большие старые дома за лужайками, под сенью деревьев, столетние строения с кирпичами, рассыпающимися при минимальном воздействии, и заброшенные промышленные постройки с алюминиевой обшивкой, пощелкивающей от жары. Все это не имеет никакого отношения к сверх-концептуальному искусству, производимому и выставляемому неподалеку. Оба ресторана (и у

Майка, и у Кармен) заполнены фермерами, рабочими и пограничниками. Оба бара практикуют невинную коммерцию — в Техасе не запрещено употребление алкоголя при вождении, и в обоих имеются окна для торговли навынос. Улицы широки и большей частью пусты.

Чтобы добраться до Марфы, вам следует лететь или в Эль-Пасо, или в Мидлэнд/Одессу. Разумеется, прямых рейсов практически нет, поэтому в Далласе или Хьюстоне приходится пересаживаться на маленький двухвинтовой самолет. Когда Дафна летела на работу в «Метку», издатели встречали ее в Мидлэнде. Пожав им руки, она устремилась в туалет, где ее вырвало. Когда я летел навестить ее, то не смог дождаться посадки, и меня вывернуло прямо в самолете.

## *Ненасильственное отлучение, насильственное посвящение*

Дональд Джадд, вздорный уроженец Среднего Запада, шотландец по крови и любитель килтов, стяжал всю славу, признание и финансовый успех, на которые только может рассчитывать художник, когда в 1976 году низвел свою пятиэтажную резиденцию в Сохо до статуса временного пристанища и уехал из Нью-Йорка в Марфу.

Это был человек, страстно стремящийся к простору — если не сказать к имперскому размаху. Книга, посвященная исключительно его многочисленным домам и строениям, «Пространства Дональда Джадда», насчитывает больше сотни страниц и содержит изображения пятнадцати разных кроватей (а это меньше половины от их общего числа). Джадд придерживался мнения, что кровати должны быть удобными повсюду: даже там, где оказываешься лишь изредка. Прибыв в Марфу, он обустроил резиденцию в двух ангарах времен Первой мировой и занялся приобретением банка, бывшей кавалерийской базы площадью в триста акров (ныне Фонд Чинати), трех ранчо (общей площадью 38 тысяч акров), склада мохера, продовольственного магазина компании «Safeway», местного отеля, полудюжины промышленных и коммерческих строений, шести домов, выстроенных на рубеже веков, и местных горячих источников. В начале 90-х он планировал заняться разливом в бутылки марфинской воды (которая, как утверждают, содержит литий), транспортировкой ее в Нью-Йорк и продажей в магазинах «Дин» и «Делюка».

Философия Джадда столь же аскетична, сколь распутна — парадоксальное сочетание простоты и массового потребления. Он

скупал все, чего касались его руки, за деньги, вырученные за предметы искусства, которые он сделал собственными руками. Он находился с Марфой почти в феодальных отношениях, нанимая рабочую силу, что превосходила числом муниципальных служащих (и, в чем я не вполне уверен — у меня нет доказательств, — воображая себя исполнителем чего-то вроде *droit du seigneur*,[39] как в случае со всеми этими кроватями). Благодаря контролю над окрестностями, которого он достиг, приобретая целые здания и участки земли, его творения в Марфе искусно раздвигают свои собственные границы, чтобы вобрать в себя целые комнаты, структуры, перспективы.

«Братья Карамазовы» — это роман об убийстве и причудливых семейных отношениях, действие его разыгрывается в маленьком городке. Нетрудно найти сходство между безымянной русской деревней из романа и современной Марфой. Манера, в которой братья разговаривают друг с другом, — высокопарные вспышки «восторга» или тяжелое молчание, наполненное «напряжением», — напоминает мне марфинский способ общения. Большинство наполняющих город эмоций, как показывает колонка писем «Метки», являются реминисценциями из книги. Некто, повествуя о раздельном англо-мексиканском кладбище, назвал его «пощечиной гуманизму». Одна из читательниц, анализируя эксплуататорское соглашение о ядерных отходах, подписанное Техасом с другими штатами, сделала вывод: «Мы могли бы заключить такой же договор с собакой».

Марфинское настроение — по Достоевскому. В книге и в городе — тот же тип жертвенности и тот же — насилия.

Марфяне сдержанны, неохочи до общения, вежливы, раздражительны и, когда они этого хотят, чрезвычайно щедры. Ко всему, есть еще некоторое количество общей эксцентричности. Женщина слоняется по улицам, дорогам и окрестным пустошам, все ее пожитки привязаны к спине вьючного животного. Иногда она выходит на асфальтовое покрытие между Марфой и горами. В другой раз она, пританцовывая, проходит через город и срезает путь через бетонированную площадку автозаправки «Тексако». Она спит под открытым небом, там, где ее застанет закат, и имеет более чем случайное сходство еще с одним персонажем из «Братьев Карамазовых» — с Лизаветой Смердящей, которая скиталась по окраинам городка и спала «на земле и в грязи». Марфяне зовут ее «дама с осликом». И она является одним из описаний и деталей романа, практически слово в слово повторяющихся в Марфе. (Хотя у дамы с осликом, не в пример Лизавете Смердящей, имеется товарищ по несчастью. По

пастбищам блуждает Дикий бык — символ безнаказанного приграничного убийства. Говорят, что он бессмертен и, наподобие предвестника, показывается только заблудшим душам: весь его бок, от лопатки до костреца, покрывает клеймо, и написано на нем «УБИЙСТВО».)

Городок — место, где мирское общение неожиданно переходит в сюрреалистическое. Однажды автомеханик на заправке занимался нашей с Дафной машиной, и я сказал ему, что, когда машина разогревается, от нее исходит жуткий запах. «Давайте взглянем на эту загадочную сучку», — сказал он, открыл капот, покопошился в нем с минуту, выдернул из мотора нечто, напоминающее дохлую змею, торжествующе помахал им в воздухе (нечто оказалось приводным ремнем кондиционера), перебросил его через плечо и крякнул: «Готово!» В путевых записках шотландского писателя Дункана Маклина упомянут эпизод, когда автор поселяется в «El Paisano», единственной городской гостинице, и с ним приключается нечто отчетливо марфинское:

Я подфутболил кучку мусора, лежащую на тротуаре. Она отскочила и остановилась в метре от меня — длинное, сверкающее дуло, направленное прямо на меня, ОРУЖИЕ. Без промедления я опять оказался рядом со стойкой «El Paisano» и залепетал служащему:

— Там пистолет, пойдемте, пойдемте…

Служащий пробрался через дверцу стойки и вышел из фойе.

— Там, — сказал я. — Видите?

Он знаком велел мне не двигаться, сделал шаг вперед и взглянул поверх сумки, висящей у меня на плече.

— Ха! — выдохнул он.

— Что это?

Он наклонился, подобрал пистолет и опять повернулся ко мне.

— Вы называете это оружием? — сказал он и рассмеялся.

— Эээ… да.

Он отодвинул что-то вроде защелки и откинул вращающийся барабан в сторону.

— Это не настоящее оружие, — сказал он.

— Что же это? Имитация.

Он повернул пистолет, так что поток мелких серебряных пуль обрушился ему в ладонь.

— Это дамский пистолет, — сказал он, — хрен кого застрелишь.

Когда Дафна впервые приехала и поселилась в Чинати, один из ковбоев подвез ее в город на своем грузовике. Это был грубый человек, крепко за пятьдесят, он объезжал лошадей и выращивал скот. Когда разговор зашел о том, почему двадцать лет тому назад он поселился в Марфе, он объяснил, что причина в том, что город имеет «genius loci». Никто из нас прежде не слышал этого выражения, и когда мы оглянулись вокруг, то убедились, что оно странным образом созвучно причудам города. На латыни это значит «гений места». «Гений», говорит Оксфордский словарь английского языка, в применении к месту значит «господствующее божество или дух».

Это правда, что-то присутствует в ландшафте — странные обычаи, равновесие между населенностью и безлюдностью дают все основания верить, что в Марфе нет случайностей, и событиями управляет какая-то незримая сила.

## *Отступнические тенденции*

«Метка Великой Реки» прибывает в Нью-Йорк через пару недель после того, как ее напечатают в Пекосе (ближайший город, в котором имеется печатный станок). В центре внимания — преступления и граница, с добавлением искусства, вооруженных сил (учения немецких и американских военно-воздушных сил, происходившие в воздушном пространстве округа), спорт, земледелие, прирост поголовья скота. «Метка» освещает все эти темы с интересом и серьезностью, и, читая ее несколько лет, я стал думать, что из тщательно составленной маленькой местной газетки можно гораздо лучше узнать о состоянии дел в мире, чем из любого другого источника.

Вот некоторые из странных, наиболее показательных недавних историй.

В 1996 году люди, страдающие множественной химической чувствительностью — болезнью, происходящей от контакта с синтетическими материалами, — начали селиться на холмах около Марфы и строить коммуну, где использовались только природные материалы. Продолжалось это, пока члены общества ежегодного библейского уединения (одного из старейших подобных обществ) не появились с той стороны, откуда дует ветер, и не принялись за привычное свое распыление «Малатиона» — пестицида наподобие ДДТ, что привело к тяжелой болезни членов коммуны и втянуло их в маленькую войну с религиозной группой, где обе стороны мерялись силой идеологии и некоммуникабельности. Состраданием к

страждущим пришлось пренебречь, ибо трудно молиться, если досаждают комары.

Весенней ночью 1997 года, во время одной из операций по борьбе с наркотиками (из той серии, что местные называют милитаризацией границы между США и Мексикой), отряд десантников потратил двадцать минут на преследование Иезекииля Эрнандеса-младшего, юного пастуха, у которого была при себе древняя винтовка времен Первой мировой войны — для охраны коз от койотов. Эрнандес почему-то поднял винтовку, по всем свидетельствам — в направлении, противоположном тому, где находились десантники, и один из них выстрелил в целях «самозащиты». Мальчик умер от потери крови за двадцать минут, и только тогда солдаты позвали на помощь. Когда прибыл помощник шерифа, десантники сказали, что Эрнандес погиб, упав в пропасть. К сожалению, солдаты находятся в округе постоянно — с тех пор, как администрация Рейгана обошла закон, запрещающий участие военных в локальных правоохранительных мероприятиях, и этот факт, хотя и разъярил население, не слишком сильно повлиял на ситуацию. Прошлой осенью Министерство обороны, которое до сих пор отрицает какие бы то ни было злоупотребления, выплатило семье Эрнандеса больше миллиона долларов и умыло руки.

Четыре с лишним года назад техасский Комитет по захоронению низкорадиоактивных отходов попытался протолкнуть законопроект ядерной свалки менее чем в двухстах милях к западу от Марфы, в местности, которая находится поодаль от геологической складки и водораздела Рио-Гранде и население которой бедно и не особенно образованно, а руководство уличено во взяточничестве. Сделка была почти заключена, когда малосговорчивая группа усердных активистов (один из которых Гэри Оливер, прекрасный и плюющий на законы карикатурист) побудила к действиям всю территорию шести округов Западного Техаса, а также большую делегацию мексиканского правительства, и проект был отклонен. Это казалось чудом.

Несколько месяцев тому назад один из местных жителей выжил при взрыве газа, при котором сорвало крышу и повалило стены его дома — все развивалось на моих глазах: от странного происшествия к скорой помощи, к чудесному исцелению, к возможному судебному разбирательству (пострадавший, мол, пытался отравиться газом и сам был повинен в повреждении своей собственности) и, позже, к объявлению в колонке недвижимости.

Примерно раз в неделю обнаруживается четырехсотфунтовый

тюк марихуаны, брошенный на дороге, объявление, поданное службами округа, информирующее кого-то, что «сим ему предлагается» явиться в суд, или бродяга-правонарушитель, находящийся в бегах. (Бродяги — еще одно соприкосновение с Достоевским. В «Братьях Карамазовых» упоминается «страшный арестант, к тому времени бежавший из губернского острога и в нашем городе тайком проживавший».) Банк в Ван-Хорне, около сотни миль к западу, в 1996 году пережил период, когда каждые несколько недель в нем случались ограбления. Бывший шериф Марфы Рик Томпсон отбывает пожизненное заключение за ввоз из Мексики более чем тонны кокаина — его называют «кокаиновый шериф». Унабомбер,[40] чей брат владеет в здешних местах значительной собственностью, вел длинную и страстную переписку с мексиканским *campesino,*[41] живущим неподалеку, по ту сторону границы.

«Метка», кроме того, содержит искренний, глубокий, разнообразный, порой напыщенный раздел откликов, где письма от поклонников «Безумного Медведя», как называют Джорджа «Пеппера» Брауна (который, хотя и живет неподалеку от Марфы, является, по некоторым причинам, почетным мэром Уэлфлита, штат Массачусетс, и все его письма к Роберту Хальперну, редактору «Метки», начинаются со слов «Roberto, amigo»), и от многочисленных членов обширной мексикано-американской общины — имена вроде Лухан или Кабесуэла очень характерны — публикуются бок о бок с чем-то наподобие колонки сельских философских поучительных размышлений, которая называется «Сбор Шерсти» и ведет которую Мэри Кэтрин Меткалф Эрни. «Сбор Шерсти» пишется в доме престарелых и порой содержит кое-какие неожиданные повороты. Витиеватый выпуск, повествующий о приятном визите в Делавер и Филадельфию с целью посещения бывших марфян, заканчивался так: «По возвращении в Даллас, между самолетами, сердитая женщина исколола мне руку…»

На последней полосе имеется отдел объявлений и публичных извещений. Там есть колонка о домиках на колесах, колонка гаражных распродаж, колонка «Разное» («примерно 20 коз, всех размеров») и полстраницы, посвященные недвижимости. Мы с Дафной частенько осведомляемся о ценах (обычно около 60 тысяч долларов за несколько акров земли и пару спален). Мы воображаем, как перебираемся в Марфу и становимся кем-то вроде работников на ферме, из тех, о которых пишет «Метка» или утренняя газета Сан-Анджело, города со стотысячным населением, расположенного в двухстах милях к северо-востоку, где тоже публикуется Дафна, и живем «на манер Джадда», что,

как мы убедили себя, означает чистую и аскетичную гармонию с окружением.

Кстати, Джадд, несмотря на свои агрессорские замашки, почитается здесь чуть ли не святым. Его главный марфинский шедевр — инсталляция из сотни рифленых алюминиевых ящиков. Все они одинакового объема (размером примерно с ресторанную печь), но совершенно разные внутри и наполнены скошенными металлическими плоскостями и углами. Ящики занимают два бывших артиллерийских склада, которые Джадд открыл торцами к техасским равнинам при помощи огромных окон и снабдил жестяными крышами. Днем склады наполняются солнцем, и ящики деформируются, и изменяются, и отражают ландшафт. По ночам они растворяются в лунном свете. На расстоянии, между складами и дальними силуэтами гор Чинати, Джадд поместил пятнадцать прямоугольных ящиков, каждый около десяти футов высотой, которые еще больше привязывают участок к окружающему ландшафту. Вот любимая (карамазовская) история художника на этот счет: священник-иезуит повернулся к нему и сказал: «Мы с тобой заняты одним делом».

И горный массив Чинати сразу за пределами города тоже как будто выдернут из «Братьев Карамазовых», подкрепляя сходство «здешнего монастыря», куда стекались «богомольцы толпами… из-за тысяч верст», с Джаддом — или с духом Джадда — главным старцем (в книге его звали Зосимой), ответственным за «великую славу», постигшую эти места.

Ко времени своей кончины Джадд успел из скульптора превратиться почти в монаха. Он жил в глубоком уединении, на самом дальнем из своих высокогорных ранчо, без электричества, рядом с границей, окруженный книгами по искусству, философии, истории и местной экологии. «Моя первая и главная страсть заключается в моих отношениях с миром природы, — писал он в этот период. — В любых отношениях, в любых формах. Этой страсти подчинено мое существование… существование всего, а также пространства и времени, созданных при помощи существующих предметов».

## *Пикники в пустыне*

По мере приближения к Марфе становится все очевиднее характер местного пейзажа. Есть старая ковбойская баллада о «месте, где горы взлетают в воздух», и как не упомянуть ее, когда речь заходит о миражах, которые способен производить сухой марфинский климат. Местный житель припоминает, как ему

случилось увидеть «весь (соседний) город Валентина, появившийся в утреннем небе». Другой утверждает, что видел «явление мексиканской деревни во все еще светлом небе сразу после заката». Дожди идут редко, но если уж идут, то небо меняет оттенок от привычной необъятной и безмятежной синевы к лиловой черноте или темно-серому цвету, а вода внезапно низвергается с такой силой, что по улицам текут реки. Это можно наблюдать в развитии: приближающееся ненастье видно за сотню миль, словно мчащийся по прямой поезд. По ночам нередко случаются большие звездопады или метеоритные дожди — «как конфетти», говорит о них Дафна.

Иногда солнце до того ярко, что ослепляет. Я впервые заметил это, когда возвращался на машине из Балмореи, города с большим бассейном, наполненным термальными водами (а также борделями для наемных работников ранчо), в горах, в пятидесяти милях к северу от Марфы. Это привычно для Западного Техаса — гнать машину на сотню миль, всего лишь чтобы убить время, когда остальная часть страны идет в кино. Мы с Дафной повстречали в Балморее других обитателей Марфы, которые проводили день за болтовней в теньке. На обратном пути вела Дафна, а я смотрел в окно. Когда мы начали подниматься с равнины к горам Дэвиса, где двухрядная дорога обвивается вокруг каньона и немного проходит по пустыне, я заметил дерево, тамариск или что-то вроде того — первая зелень, которую я увидел с тех пор, как вынырнул из низины, — выделяющийся едва ли не с флуоресцентной яркостью на фоне бурых скал и кустарников каньона. Когда я снял солнечные очки, цвет исчез. Невооруженному взору дерево показалось бледным, выжженным и истощенным — почти прозрачным. Солнечный свет был настолько сильным, что просвечивал прямо сквозь дерево. Но когда я опять надел очки, свет отступил, и дерево возникло вновь — выделяясь, как охваченное огнем.

Помимо редких деревьев, которые встречаются преимущественно в городе, земля поросла мириадами кактусов: юкка и цилиндропунция в изобилии, а еще конская хромота (мерзкий, стелющийся сорняк, похожий на беспружинный медвежий капкан); нополито — кактус с плоскими, лишенными шипов листьями, которые продают в ящиках для фруктов рядом с автозаправками; окотилло — подводного вида растение, с волнистыми щупальцами и острыми шипами, заставляющее подумать об осьминоге, скрещенном с морским ежом; и масса можжевельника и мескитового дерева. Опунция — более мощный, менее примитивный вариант окотилло, с листьями, напоминающими ананасовые, а юкка — кустарник с колючками

как у алоэ, каждая длиной два фута. Когда юкка цветет, семифутовый побег выстреливает из центра и прорывается блестящим желтым цветком, ярко, как сигнальная ракета, выделяющимся на фоне ландшафта, вне зависимости от темных очков.

Из Марфы выходят четыре дороги. Одна ведет в Валентину — коматозное местечко с почтовым отделением, в начале февраля получающим почту со всей страны, с тем чтобы перераспределить ее между жителями до середины февраля. Вторая ведет в Шафтер, город-призрак, ожидающий, прикажет ли губернатор упразднить его или же цена серебра достигнет шести долларов за унцию (ныне она составляет 5 долларов и 30 центов), так что какой-нибудь концерн, занимающийся добычей полезных ископаемых, пожелает опять разрабатывать жилу, заброшенную во время Второй мировой. Третья дорога ведет к единственному в этих местах театру, в Альпине, и к государственному университету Сула Росса, который выдает дипломы по скотоводству и стал родиной межуниверситетского родео. Последняя ведет в Форт-Дэвис, городок-магазинчик с обсерваторией, занимающейся спектроскопическим анализом света.

Технически есть и пятая дорога, через каньон Пинто, которая выходит из Марфы на юго-запад в направлении главного ранчо Джадда и тянется вдоль границы вплоть до города с названием Руидоса (хотя слово «город» в применении к Руидосе — это преувеличение, там нет ничего, кроме дороги, и правильнее было бы вести речь о поселке). Выезжая из Марфы к Каньону Пинто, замечаешь дорожный знак с надписью: «Конец покрытия через 32 мили». Мой единственный опыт езды по этой дороге оказался довольно неприятным. Примерно через час пути, на полдороги между Марфой и Рио-Гранде, не видя встречных машин, мы решили остановиться там, где дорога пересекала высохшее русло ручья. Это было гораздо позже конца покрытия. Пейзаж напоминал океанское дно. Температура достигала девяноста с лишним градусов по Фаренгейту. Мы захватили с собой сэндвичи с авокадо, пиво «Лоун Стар» и кусок местного сыра, который называется осадеро. Мы отыскали какие-то усталого вида кусты — единственную некактусную тень в поле зрения — и решили пообедать под ними. Выйдя из машины, мы потащились на четыре сотни футов вдоль пересохшего русла (я раздумывал о внезапных ливневых паводках, свойственных этим краям). Поодаль от дороги (которая в этом месте представляла собой не более чем направление, заданное в пустоте) мы поставили свой портативный холодильник и достали из него еду. Мы принялись

есть, практически не разговаривая, молчание было таким безграничным, что на корню истребляло малейшую тягу к общению.

Пикник прервался четверть часа спустя, когда мы услышали, что кто-то пытается завести нашу машину. Стартер взвыл, но мотор не заработал. С мгновение мы смотрели друг на друга, потом вскочили и понеслись по сухому руслу, боясь застрять в пути больше чем когда бы то ни было. Я добежал первым, задыхаясь, лопаясь от переизбытка адреналина, и нашел машину на том месте, где мы ее оставили. Вокруг не было ни души. Дафна бросилась назад, упаковала вещи, и мы поскорее покатили из проклятого места. Кто бы ни прогуливался по пустыне пешком, направляясь в Соединенные Штаты, он пожелал бы обзавестись машиной с техасскими номерами, ей-богу пожелал бы. Нам не оставалось ничего, кроме как подумать, что злоумышленники скрылись, когда услышали, что мы бежим назад к ручью, решили не доводить дело до открытого столкновения: даже если бы мотор завелся, машина была сориентирована по направлению к Мексике, и на дороге, с обеих сторон зажатой между острыми камнями и кактусами, вряд ли можно было развернуться.

Мы прибыли на симпозиум с юга, через Шафтер, и, вселившись в мотель «Гром-Птица», вытащили пару стульев наружу и стали наблюдать, как стоянка заполняется взятыми напрокат машинами. Поскольку среди прочих достоинств «Гром-Птицы» числился мощный аппарат по производству льда, мы заполнили холодильничек, который привезли с собой, и с полчаса посидели под навесом, на заасфальтированной площадке. Потом мы отправились осматривать город. Роб Вейнер, старый ассистент Джадда, который некогда находился при Джадде от зари до зари, а ныне по-прежнему жил в Марфе, притормозил, чтобы поздороваться. Он близко познакомился с Дафной, когда та жила в Марфе. Приехав туда впервые, я тоже подружился с ним. Его сарказм и ирония по поводу большинства марфинских причуд сочетаются с глубокими знаниями и любовью к этим местам, и если Марфа превращается в артистическое сообщество, то во многом благодаря ему. Он сказал, что мы можем оставаться в здании Фонда и после того, как закончатся выходные.

В специализированном магазине при Фонде Чинати, где продавались книги обо всех докладчиках симпозиума и о работах любимых художников Джадда, выставленных в Марфе (Клас Ольденбург, Дэн Флавин, Карл Андре, Ричард Лонг, Илья Кабаков и Джон Чемберлен), мы побеседовали с нашим первым не-марфянином. Им оказалась журналистка из «Хьюстон-Пресс»,

наполовину индианка, по имени Шейла. Она приехала из Хьюстона на машине и поселилась в трей-лерном парке.

— Гери — бог, — сказала она нам.

Но только не в Марфе, подумал я. Здесь бог — Джадд.

Потом мы отправились в редакцию к Роберту Хальперну и его жене Розарио. Они были очень заняты очередным выпуском, но пригласили нас на ужин, где присутствовали также сотрудники газеты, их дети и Расти Тэйлор, бывший начальник полиции. Все они недавно оказались причастны к вполне характерной главе марфинской истории.

В июле 1996 года фотограф «Метки» снял высокого тощего светловолосого человека с наружностью бродяги, в футболке с надписью: «Спросите меня о Республике Техас». Это был Ричард Макларен — человек, по мнению его соседей, «склонный к страшному насилию». Ссылаясь на юридическо-техническую деталь в документе об аннексии 1845 года, он объявил себя главным послом, генеральным консулом и суверенным правителем независимой нации техасцев. Макларен стал нежелательным элементом на холмах к северу от Марфы, попавшись на угрозах и агрессии, заполнении поддельных прав на удержание имущества, подаче фальшивых ценных бумаг и накоплении запасов оружия. В тот день он и его последователи отправились на пикник, чтобы отметить «неделю порабощенных наций» — пропагандистское нововведение Эйзенхауэра в поддержку инакомыслящих при коммунистических диктаторских режимах. Неподалеку находились две полицейские машины: Расти Тэйлор, пара дюжин техасских полицейских и другие стражи порядка держали ситуацию под контролем.

Не прошло и года, как весной 1997 г. трое новобранцев Республики Техас в камуфляже и с оружием прокрались через горы из передвижного дома Макларена к дому его ближайших соседей — Джо Роу, бывшего президента местного сообщества, и его жены Маргарет Энн. Проникнув во двор, они открыли стрельбу по дому, ранили в плечо господина Роу, потом ворвались в дверь и толкнули его прикладом на пол, сломав ему при этом руку. Держа семейство Роу на мушке, захватчики сделали несколько междугородных звонков, забрали всю еду, которую могли унести с собой (оставив 40 долларов в качестве компенсации), и доставили своих заложников к трейлеру Макларена, от имени которого группа подготовила заявление, описывающее акцию как ответ на арест одного из членов Республики Техас — Роберта Шейдта, задержанного за незаконное ношение оружия. Макларен объявил войну Соединенным Штатам и назвал чету Роу своими первыми

пленниками. Выказывая немалое самообладание, полиция Марфы согласилась освободить Шейдта в обмен на обоих Роу, и сделка совершилась так, чтобы изолировать группу в ее трейлере, в нескольких милях вверх по грунтовой дороге, в окружении войск спецназа и полиции.

Макларен был готов к такому повороту событий и заранее вырыл серию бункеров и запасся шестью десятками самодельных бомб, примерно дюжиной канистр с бензином, десятком винтовок, несколькими пистолетами и пятью-семью сотнями коробок с патронами. Он поклялся бороться до конца и распространил напыщенное заявление, вызывающее в памяти дневник Уильяма Б. Трэвиса, командующего Аламо в 1836 году: «Каждый призван остаться и охранять суверенную территорию Республики и ее зарубежных миссий. Я настоятельно прошу, чтобы подкрепление прибыло до того, как они вторгнутся на территорию посольства». Он готов был бороться, в стиле Аламо, не на жизнь, а на смерть. Он готов был убить столько офицеров, сколько получится. Поскольку полицейские подкрепления продолжали прибывать, Макларен добрался до коротковолнового радио и принялся вещать: «Тревога! Тревога! Тревога! Враги вторгаются в посольство Республики Техас. В наших лесах орудуют враги».

Однако через несколько дней Макларен стал смягчаться. Он признал, что готов капитулировать, если Соединенные Штаты будут трактовать его поступки согласно Женевской конвенции, позволяющей обращение в ООН. Это, в конце концов, привело к подписанию «Всетехасского соглашения о прекращении огня», а тем самым безоговорочной капитуляции, с оговоркой, что посольство будет сохранено, что в понимании Макларена значило, что флаг Республики — одинокая желтая звезда на голубом фоне — по-прежнему будет развеваться. Он был спущен и заменен техасским флагом, а местный пожарник охарактеризовал действо как «Водружение флага на Иводзиме». Макларен и еще четверо сложили оружие (хотя, прибыв в Марфу, один из них завопил: «Я захвачен в плен, но не сдаюсь, мне стыдно, что я не погиб»). Другие двое членов отказались подчиниться и вернулись на холмы, вооружившись винтовками и мелким оружием. В погоню отправились собаки, и все они были застрелены. Потом вертолеты преследовали парочку, держась довольно далеко от них, и, оказавшись на расстоянии выстрела, полицейские снайперы открыли огонь и застрелили одного из бунтарей. Другой, Ричард Кийс III, за несколько недель до описываемых событий уволившийся с канзасской фабрики сантехнического оборудования, сумел скрыться. Он, по существу,

исчез. И сегодня, больше чем полтора года спустя, его все еще не могут найти. Одна из газет назвала его «западно-техасской версией Д. Б. Купера», воздушного пирата, в начале 70-х выпрыгнувшего с парашютом из Боинга-727 с двухсотмиллионным выкупом и навсегда исчезнувшего.

Но репортер журнала «Матушка Джонс» получил известия от Кийса, или от человека, выдававшего (довольно убедительно) себя за Кийса. Он одобрил нападение на чету Роу и заметил, что, нанеся раны, они впоследствии вызвали доктора, который отказал в помощи, потому что ему «было боязно заходить в дом, наполненный вооруженными психами». Упомянув тот факт, что захватчики оставили деньги за еду и телефонные звонки, интервьюируемый провозгласил: «Они получили полную компенсацию за все случившееся с ними, кроме того, что им пришлось пережить довольно скверный день». Потом он добавил, что находится в безопасности, за пределами Соединенных Штатов, что, в терминах окружения Макларена, вероятнее всего значило, что он все еще в Техасе.

Что же касается самого Макларена, перед тем как сдаться, он уверил общественность, что его международное соглашение о прекращении огня также предусматривает матримониальные визиты женщины, на которой он «женился» незадолго до того, по долгу службы, исключительно по законам Республики Техас. Избранница также находилась под арестом за участие в осаде, и, следуя распоряжению марфинского мирового судьи, Синдереллы Гонсалес, парочку поместили в одну камеру.

Во время заключения, в ожидании суда, Макларен принялся строчить цветистые письма в «Метку», называя свою «попытку добиться государственной независимости… наиболее хорошо исполненным в XX в. легальным выступлением». А себя он именовал «военнопленным, которого держат в „королевской темнице“». Немало местных жителей были разочарованы, что его не убили во время осады. Хотя Макларен на долгое время выбыл из игры, кое-кто из соседей опасался, что занять его место может Кийс, если пожелает вернуться.

Когда мы с Дафной вышли из «Метки» и вступили на Высокогорную Авеню, главную улицу города, то увидели старое здание суда, с его куполом, кессонным потолком и двором, засаженным раскидистыми миндальными деревьями. На вершине купола возвышалась статуя Правосудия, которая, согласно легенде, утратила свои весы в 20-х годах, после того как хмельной ковбой, только что освобожденный из тюрьмы и счастливо воссоединившийся со своим шестизарядным револьвером, выбил их из ее рук, с воплем: «В этой дьявольской

стране правосудием и не пахнет!»

## *Вспышки*

На следующее утро шесть сотен художников, историков искусства, критиков, журналистов и горстка горожан объединились под рифленой жестяной крышей бывшего льдогенератора, расположенного неподалеку, в местечке, называемом Salsipuedes («убирайся, если сможешь»). Зал настолько переполнился, что в местном обществе ветеранов пришлось позаимствовать стулья, на которых значилось примерно следующее: «Американская ассоциация ветеранов с гордостью приветствует пост 65 Объединенной службы организации досуга войск». Открывая заседания, Джеймс Аккерман, историк искусства из Гарварда, попытался смягчить культ Джадда, характеризуя художника как человека, «воевавшего» с архитектурой, из чего следует не сотрудничество, а «обвинения против современной архитектуры».

Напротив меня, через проход, сидел крепко сложенный человек. Это был Фрэнк Гери, похожий на дедушку из Палм-Спрингс. На нем были нечищенные мягкие туфли, белая рубашка с воротничком, концы которого пристегивались пуговицами, серые костюмные брюки и спортивный пиджак. Когда архитектор Жак Херцог — худой, меланхолический, одетый со швейцарской дотошностью с головы до ног в черное, эстетическая противоположность Гери — поднялся, чтобы прочитать подробную лекцию, я наблюдал за Гери. Херцог пояснял процесс «татуирования» фотографий на бетоне, с тем чтобы придавать стенам разнообразную фактуру. Он говорил уже около получаса, когда проехал приграничный поезд из Эль-Пасо и заглушил его на минуту. Я взглянул на Гери. Тот, казалось, скучал. Когда Херцог продолжил лекцию и приступил к показу длинной серии слайдов о расширении галереи Тейт, Гери, сморщившись, принялся беспокойно поигрывать карандашом. Когда я взглянул на него в очередной раз, его уже не было. Херцог продолжал лекцию еще пять минут, пока его внезапно не прервал директор Фонда Чинати. Всё выглядело так, будто Гери надоела лекция его соперника, и он поспешил своим демаршем положить ей конец.

После обеда злобное напряжение нарастало, а когда на сцену выбрались художники, то последовали лозунги в стиле Джадда. Роберт Ирвин, начав лекцию с монотонного вступления из области теории искусства, попытался дать понять, что не верит ни во что, кроме модернизма. «Если *пост*модернизм — это не

способ водить за нос, то я поцелую вас в задницу!» — возопил он. Потом он принялся поносить Ричарда Мейера, главного архитектора центра Гетти, утверждая: «Я сожрал его с потрохами и бросил подыхать… Вы бы вряд ли когда-нибудь стали говорить в таких выражениях о сотрудничестве».

Примерно тогда я услышал громкий стон. То был не Гери, а Шайла из «Хьюстон Пресс», которой сделалось нехорошо от постепенно усиливающейся духоты. Дафне пришлось помочь ей выйти на свежий воздух. Когда Шайла пришла в себя, то связала инцидент с побочным эффектом от своего пребывания в марфинском трейлерном парке, а именно, с его ограниченными кулинарными возможностями: «запах моего собственного дорожного пердежа». Но в тот момент мы пребывали в счастливом неведении относительно ее состояния.

Во время всей этой суматохи Ирвин даже не замедлил темп. Оживленный чем-то вроде легкомысленного языческого энтузиазма, он с наслаждением перебирал детали своей работы. Он описал свои отношения с консультантами по садоводству из парка при центре Гетти как «разбазаривание кучи времени на то, чтобы нянчить и тетешкать друг друга». Как свидетельство собственного внимательного отношения к мелочам он упомянул, что убедился: скамейки в парке «прекрасно подходят для ваших задниц». Потом он объяснил, что обрамил берега ручья, протекающего через парк, грубой каменной кладкой, потому что «я не хотел, чтобы это было похоже на ванную какого-нибудь гомосексуалиста». При этих словах под крышей льдогенератора прокатился рокот неодобрения. (Впоследствии при обсуждении замечания об этой самой ванной Ирвин извинялся и осторожничал. «Я не так уж далеко вышел за рамки. Я художник», — объяснил он.)

Следующий докладчик, Майкл Бенедикт, постмодернист, заклеймил Ирвина за его выходки и сказал: «В модернизме слишком много маскулинного и мачистского. В этом его проблема».

Расправившись с Ирвином, Бенедикт охарактеризовал производство предметов искусства как «религиозный проект» и разразился лекцией, основанной на Ветхом Завете.

По мнению Бенедикта, неопалимая купина, которую Моисей обнаружил в пустыне, подобно любому успешному предмету искусства «выжигала свою собственную аутентичность». Потом нас отпустили обедать в Чинати.

Стоя в очереди за едой, некий господин рассуждал: «Нам следует почаще возвращаться к единой концепции Марфы». То

был старый адвокат Джадда, Джон Джером. Обед состоял из грудинки и пива «Шайнер Бок» и проводился в «Арене» — бывшем армейском гимнастическом зале, отремонтированном Джаддом. Трудно сказать, в чем заключается «концепция Марфы». В терминах Джадда это значит управление: его окружением, его искусством, его фирмой. Русский художник Илья Кабаков заметил: «Когда я впервые приехал в Марфу, моим самым сильным впечатлением была невероятная комбинация отчужденности, как в священных местах, и одновременно невероятное внимание к жизни и работам. Для меня это оказалось чем-то вроде тибетского монастыря, когда материальная сторона жизни сведена к минимуму и будничный шум отсутствует. Это был… мир для искусства». (Хотя я не думаю, что именно это имел в виду Джером.)

Меж тем пребывание Кабакова в Марфе существенно изменяет концепцию. Кабаков, инсталляция которого совершенно отличается от других основных марфинских произведений, был советским андерграундным художником и начал выставляться на Западе только в конце 80-х. В начале 90-х Джадд пригласил его в Марфу, чтобы создать там инсталляцию. Кабаков был «поражен». Навязчивый результат — «Школа № 6» — воспроизведение целой советской начальной школы: парты, плакаты, расписания уроков, учебники на русском языке, музыкальные инструменты, установленные в сараях Чинати, воспроизведенные во всех деталях и отданные на растерзание времени. «Разумеется, не было ничего более ужасного, чем советская школа, со всей ее дисциплиной, мерзостью и милитаризацией, — сказал Кабаков о своей работе. — Но ныне, когда система рухнула и оставила после себя только руины, это вызывает такие же ностальгические чувства, как разрушенный храм». В этом тоже есть свои безмятежные, даже духовные нотки. Сам он описывает это так: «Все пространство школы наполнено солнечным светом и спокойствием. Солнечные квадраты лежат на полу. Голубое небо проглядывает в дверные проемы. Из-за всего этого царствующая повсюду запущенность не кажется такой угрюмой и подавляющей». Инсталляция будто бы превращает Марфу в Россию. А то, как Кабаков описывает свое настроение, близко к эпизоду из «Братьев Карамазовых», в котором младший брат без конца вспоминает лицо своей матери, неизменно в косых лучах «заходящего солнца (косые-то лучи и запомнились всего более)».

Комментируя еще одну из своих инсталляций, Кабаков сказал: «Все, что мы видим вокруг себя, все, что ушло в прошлое, и все, что может случиться в будущем, представляет собой безграничный мир проектов». Хотя высказывание это

представляется несколько ироничным, но хорошо дополняет слова Джадда о его интересе к миру природы, «обо всем, что в нем внутри, обо всех выходах наружу». Радикально противоположная интерпретация того же артистического импульса.

Таким образом, Кабаков тоже служит частью «концепции Марфы».

А концепция — вне зависимости от того, какие реальные события или легенды из истории города упоминаются, — всегда имеет дело со светом.

Свет, кстати, присутствует в отчестве Марфы. «Марфа Игнатьевна» значит «дочь Игнатия», а имя Игнатий, согласно словарю имен, происходит от латинского «ignis», огонь. Таким образом, «Игнатьевна» значит «дочь огня». Согласно Достоевскому, персонаж был «женщина… не глупая», и в начале «Братьев Карамазовых» она является причиной того, что происходит нечто «странное, тревожное и сбивчивое» — рождение мальчика, которого ее суеверный супруг в страхе называет «драконом» — по всей видимости, огнедышащим — и отказывается ухаживать за ним. Когда младенец умирает, Марфа воспринимает это стоически. Кроме того, что она неглупа, она мужественна — два желательных качества для женщины, живущей в приграничной зоне. И поскольку женщина, назвавшая город в честь персонажа, наверняка прочла книгу в оригинале, по-русски (первый перевод, немецкий, появился только в 1884 году, а английской версии не существовало до 1912 года), она должна была отдавать себе отчет в значении имени.

Отстояв в очереди за едой, мы с Дафной сели рядом с несколькими представителями персонала и художниками из Чинати, которые говорили о том, что Фонд Лэннана почти закончил ремонт двух домов, которые были приобретены, чтобы поселить в них писателей, получивших литературные премии Фонда. Через месяц должен был прибыть некий английский поэт. (В настоящее время он уже находится в Марфе, чтобы, оставив поэзию, написать книгу, озаглавленную «Марфинское».)[42] Другой важной новостью из мира искусства было получение Фондом Чинати первого гранта от Агентства по ядерной энергии в связи с ремонтом шести бывших военных бараков, имеющих форму буквы U, чтобы вместить произведение, которое художник по свету Дэн Лэнвин задумал в соавторстве с Джаддом и реализовал в 1996 г., уже после смерти Джадда, сам находясь на смертном одре. Шла также речь о том, что Роберт Ирвин, возможно, займет дополнительное здание для инсталляции из светопоглощающих сетчатых занавесей.

После ужина общество переместилось в бар «У Люси», где на фоне строгого, во все небо, марфинского заката для самого знаменитого участника собрания, Фрэнка Гери, было отведено лучшее, можно сказать, почетное место. Рэй, хозяин заведения, даже позволил ему постоять в недоступном для клиентов пространстве, за спиной у бармена (перекрывая подход к раковине). В конце концов, Гери удалился в ветхий старый отель «El Paisano», где оказался самым знаменитым постояльцем, с тех пор, как Джеймс Дин провел там неделю во время съемок фильма «Гигант». Когда посетители стали расходиться, то одни отправлялись по домам, а другие — смотреть на Огни Марфы.

Огни Марфы не лишены сходства с Фрэнком Гери и выглядят величаво и надменно: чаще всего они появляются на не поддающемся определению расстоянии от обочины дороги, рядом с бывшим военным летным полем. Большинство наблюдателей описывает их как отдаленный рой светляков, без конца меняющий направление и то вспыхивающий, то потухающий случайными узорами. Однако огни кажутся далекими и надменными не всегда. Встречается мнение, что огни живы и даже разумны. Они метастазируют, прячутся друг за друга, меняют цвет, прыгают через пустыню как «баскетбольные мячи», выстраиваются в линии, «как на взлетной полосе», и преследуют одиноких автомобилистов между Марфой и Альпиной. (Роберт Хальперн рассказал мне о человеке, за которым всю дорогу до самого города гналась пара ярко сверкающих Огней Марфы, после чего он дал зарок никогда не покидать Марфу и до сих пор держит слово.) Наиболее удачная наблюдательная площадка — широкая полоса пустыни между Марфой и Альпиной. Там имеется замусоленный старый плакат, перечисляющий различные объяснения феномена («бивачные костры, фосфоресцирующие минералы, болотный газ, статическое электричество, огни св. Эльма и „призрачные огни“). Известно, что свечение распространяется вплоть до гор Мертвой Лошади (в шестидесяти милях к востоку), до холмов возле Руидосы (на таком же расстоянии к юго-западу) и до гор Дэвиса (в тридцати милях к северу), где расположена обсерватория Макдональда — одно из самых серьезных астрономических учреждений в стране. Обитатель Марфы Ли Беннетт, автор ряда бодрых, жизнеутверждающих материалов для Фестиваля Огней (повод для ежегодных концертов под открытым небом), утверждает, что даже обсерватория подвержена магии светового феномена: „Однажды ночью они смотрели в свои телескопы на наблюдательной площадке, пока не заметили яркие огни. Их видели все, кто

работал в ту ночь. Они засекли координаты. На следующий день они отправились точно на то место в уверенности, что обнаружат источник свечения. Что же они нашли? Траву, скалы, пыль. Вот так. Больше ничего“.

Хотя эта история не вполне согласуется с фактами, за долгие годы здешние края посетили немало серьезных научных экспедиций чтобы, в конечном итоге, прийти к одному из объяснений, упомянутых на старом плакате. Народные легенды, восходящие к XIX веку, ищут объяснение в диапазоне от неупокоенных индейских духов до бивачных костров истребленных первопоселенцев. Чаще всего непосредственные наблюдатели сравнивают огни с кострами. „Это был огненный шар“, — сказала местная жительница о свечении, следовавшем за ее машиной на протяжении десяти миль по дороге в Альпину. „Я увидела три больших огненных шара, выстроившихся в линию“, — сообщила женщина об огнях, которые, как она видела, реяли над дорогой за пределами города. Бывший житель Альпины однажды весной остановился на наблюдательной площадке и увидел около тридцати огней, которые „прыгали по полю, как огненные мячи… и выкатывались на дорогу“. Холли Стиллвелл, владелица ранчо в Альпине и мировой судья, расставляла знаки на своей территории и заметила, как огни „потухают и опять разгораются, становятся ярче. Они были похожи на языки пламени“. Менее достоверная информация исходит от отшельника, живущего на холмах близ Шафтера. Он называет огни „агентами Сатаны“ и утверждает, что они „поднимаются по склонам горы“ рядом с его домом. Кроме того, молва утверждает, что огни сожгли дотла грузовик, принадлежащий паре ученых, которые, по словам профессора английского языка из Университета Сула Росса, „с того самого дня сделались идиотами“.

Ли Беннетт в материалах Фестиваля Огней упоминает еще и такую историю:

Я местный историк. Поэтому, когда в городе кто-нибудь умирает, то семьи обычно передают мне байки, связанные с покойным. Так вот, некая дама, жившая на ранчо к западу от города, сохранила крошечную тетрадочку с записями о местной флоре и фауне, а также общими заметками об окружающей среде. Но одна запись особенно привлекла мое внимание. Дама собственноручно пишет о состоявшейся много лет назад поездке на машине по старой дороге вдоль каньона — в добрых двадцати милях от обычной наблюдательной площадки. На момент описываемого эпизода автор записок относительно недолго жила в этих местах. Взглянув направо, она увидела гору Чинати.

„Правда, эта большая гора красивая?“ — спросила она. Ее спутник ответил, что это одна из самых высоких здешних гор. „А что, по ней проходит дорога?“ — спросила она в восхищении. Ее друг странно посмотрел на нее: „На Чинати нет дорог“. — „Так почему я вижу, как по горе быстро проносятся огни?“ Потом в записи упоминаются еще несколько огней, промчавшихся вниз по склону горы, прямо по направлению к ним. Огни протанцевали по каньону и направились к капоту автомобиля. Она описывает это так: „Я испытала ни с чем не сравнимое чувство. Нам совсем не было страшно. На самом деле мы испытали что-то вроде ощущения теплоты“.

Кроме того, было немало „огненных отрядов“ — разоблачителей, отправлявшихся на место событий с целью установить истину и неизменно возвращавшихся посрамленными. В 70-х корпорация, изучавшая местность на предмет залегания урана, финансировала несколько серьезных исследований. В 80-х некий профессор из университета Сула Росса набрал большую партию студентов и добровольцев, снабженную для координации действий переговорными устройствами и корректировкой с воздуха. Но сколько бы раз группа ни приближалась к огням, они неизменно гасли или быстро исчезали из поля зрения. Пэт Кини, геолог из Форт-Уэрта, приехал в Марфу по делу и подпал под очарование огней. В надежде обнаружить их источник он провел серию экспериментов, чтобы исключить версии автомобильных фар и прочих искусственных источников света, а затем сумел очертить местность, в которой наблюдаются оставшиеся необъяснимые огни. Потом он вернулся в обществе еще одного геолога, Элвуда Райта. Оба они ехали в машине по узкой сельской дороге, когда обнаружили пару огней, движущихся неподалеку. Кини так описал происшедшее:

Казалось, они двигались со скоростью сто пятьдесят — двести миль в час, но, разумеется, у меня не было возможности измерить точно. Огни спугнули нескольких лошадей, почти прошли сквозь них. Лошади принялись лягаться и поскакали через заросшую кактусами площадку, пытаясь избавиться от этого. Огни подошли к обочине дороги и остановились. Несколько раз я замечал огни вокруг старого ангара, что стоит на бывшем военном аэродроме. Ну хорошо, один из огней не в счет из-за этого ангара, но другой оставался у края дороги. Он продолжал двигаться вокруг кустов, как будто знал, что мы хотим подобраться к нему как можно ближе. Будто бы он был наделен разумом. Казалось даже, что он умнее нас. Он заставил нас почувствовать себя довольно глупо.

Он был правильной круглой формы, размером с дыню-канталупу, и метался по кустарнику, как будто в поисках чего-то. Когда огонь останавливался, он делался более тусклым, но когда возобновлял движение, то опять набирал яркость. Наконец он выкатился на середину дороги в двадцати ярдах от нас и попросту застыл там. Я не стал выключать мотор, и Элвуд сказал: „Давай же, сомнем его в лепешку, проедемся по нему“. Огонь немедленно стал по-настоящему ярким и взмыл как ракета.

Мэр Марфы Фриц Каль отклоняет большинство отчетов непосредственных свидетелей как „дурацкие россказни“ (хотя испытывает определенное уважение к Кини). За много лет до того как сделаться мэром, Каль был военным инструктором на летном поле Марфы и однажды провел ночь в погоне за огнями на учебном истребителе времен Второй мировой. Ему не удалось даже приблизиться к ним, и тогда он изгнал их из своих мыслей (подобным образом поступает большинство психически здоровых марфян). „Лучший способ увидеть огни — упаковка из шести бутылок пива и женщина приятной наружности“, — говорит он ныне.

Но огни продолжают наблюдаться, и каждые выходные на закате (как случилось в первый вечер конференции) люди собираются на окраине дороги и ждут их явления. Только после полуночи толпа начинает редеть, и дорога опять оказывается в условиях, о которых повествуют рассказы непосредственных наблюдателей.

Некоторые говорят, что место заколдовано… еще во времена первопоселенцев; другие — что старый индейский вождь, пророк или колдун, занимался здесь своим шаманством, пока эти земли не были открыты… Место несомненно продолжает оставаться под властью какой-то колдовской силы, которая насылает чары на умы добрых людей… Они подвержены разнообразным суевериям, видениям, они впадают в транс и часто видят странные знаки, слышат музыку и голоса в воздухе… звезды падают и метеоры сверкают над долиной гораздо чаще, чем где бы то ни было.

Это не описание Марфы, но могло бы быть им, с точностью до мельчайших деталей. Так Вашингтон Ирвинг описывает Вестчестер, штат Нью-Йорк, в окрестностях которого бродил Всадник без Головы.[43] И у водителя, поздно ночью путешествующего между Марфой и Альпиной, всегда есть некоторое сходство с Икабодом Крейном, пытающимся пробраться через Сонную Лощину, а у перевала Паисано, где огни

имеют обыкновение исчезать, — с церковным мостом, где Всадник превратился „в огненную вспышку“.

В последний день симпозиума выступали важные шишки, Гери и Ольденбург. И снова провокационные утверждения.

„Я за искусство, которое не сидит на собственной заднице в музее“, — объявил Ольденбург. Он и его жена и соавтор Косье ван Брюгген сменяли друг друга у кафедры; пока один говорил, другой нажимал кнопки проектора. Ван Брюгген так описала типичное отношение архитекторов к скульптуре: скульптура имеет отношение к архитектуре „не больше, чем дерьмо к тротуару“. Подобно Ирвину, днем раньше, эти двое выглядели взбудораженными. Среди их слайдов был проект скульптурного изображения двух гигантских медных унитазных поплавков, которые предполагалось установить рядом с галереей Тейт Жака Херцога (к коему они вскоре выразили недвусмысленное презрение). К тому времени как на сцену вышел Гери, в воздухе успело повиснуть напряжение.

„Дон Джадд ненавидел мои работы“, — сказал Гери, испытывая, казалось, извращенное удовольствие от этого факта. Возможно, его спровоцировал холодный прием, но преимущественно он защищал здание музея Гуггенхайма от обвинений в том, что оно подавляет выставленные там экспонаты (этакий антитезис ко всему, что можно сказать о неоформленных пространствах и чистых формах марфинских инсталляций Джадда), настаивая на том, что „художники хотят видеть, что их работы занимают важное место“. (Опять не вполне „концепция Марфы“.) Потом Гери говорил о другой своей недавней работе — о рыбном ресторане с водруженной на нем рыбиной, которую он нарочно развернул в сторону окон находящегося по соседству пятизвездочного отеля. „Хозяин сказал мне, что не хочет, чтобы постояльцы смотрели в задницу рыбе“, — объяснил Гери. Будущие проекты включали кафетерий „Конде Наст“ в Нью-Йорке (набросок, передающий представления Гери о том, как должна выглядеть официантка из „Конде Наст“, изображал длинноногую девицу в короткой юбке и солнцезащитных очках, с губами, сложенными в поцелуе) и массивные ворота для города Модена в Италии. Первоначально мэр Модены предполагал выделить на проект миллион долларов, „но там и сям примазывается посторонняя публика, и денег вряд ли хватит, — сказал Гери, — а я не собираюсь жить в Модене, где нет отеля „El Paisano““.

Когда доклады закончились, участники собрались вокруг длинного стола Дональда Джадда, чтобы обсудить работы друг

друга и побеседовать на общие темы. Очень скоро выяснились основные идеологические направления. Ирвин дал финальный залп по критикам, уличенным в „лизании задницы“. Косье ван Брюгген ополчилась на Жака Херцога за проект расширения галереи Тейт, который она назвала убогим. Посрамленный Херцог обвел аудиторию горящим взором и изрек: „Это вам не дерьмо какое-нибудь“. Его немедленно прервала художница Рони Хорн, улучившая минутку, чтобы провозгласить: „Вся эта архитектура реально сексуальна“. Аудитория застучала своими стальными стульями, а лучезарный Гери воздел кулаки над головой, подобно победившему борцу.

„Именно с таким чувством, — продолжила Хорн, — я возвращаюсь в Нью-Йорк“. Все аплодировали, когда Гери и Ирвин спускались со сцены в обществе Хорн и плетущегося у нее за спиной Херцога, который вялой рукой указывал на ван Брюгген. За ними последовали и прочие художники. „Экспертная группа не лишена недостатков“, — сказал ведущий. На сцене остались только искусствоведы, продолжавшие беседовать друг с другом в микрофоны.

В тот же день, когда все разъехались, Дафна вышла на пробежку, а я опять отправился в бар „У Люси“. Я слышал, как кто-то из местных сказал бармену: „Я никогда не видел столько людей в черном“. Бармен ответил: „Тут у нас побывал самый известный в мире архитектор!“ Я заказал „Лоун Стар“ и услышал, как бармен сказал другому посетителю: „Мы думали, что продадим море мексиканского пива, но им не нужно ничего, кроме „Лоун Стар““.

В воздухе Марфы носилось что-то такое, что взбаламутило множество архитекторов, художников и ученых. Всех нас, числом шесть сотен, втянули в ругань, оскорбления, громогласные упреки, бури и жесткую необходимость выбора — вовсе не то, чего можно было ожидать от симпозиума. В этой болезненной атмосфере циркулировали слухи о старой междоусобице между фотографом и наследниками Джадда, выражающейся в полномасштабном многомиллионном судебном процессе (описанном в „Метке“ неделю спустя).

Внешне, конечно, Марфа приняла знаменитых художников и архитекторов. Но мне показалось, что это они вобрали в себя Марфу. Марфа вошла в них. И они вели себя… соответствующим образом: вздорно, радикально, чудесно, ужасно, щедро, абсурдно; *in extremis*. Как марфяне.

***Некоторые другие знаменитости, побывавшие в Марфе:***

Кэтрин Анн Портер
Джон Уотерс
Денис Джонсон
Деннис Куэйд
Марта Стюарт
Дэвид Качински
У. С. Мервин
Нейл Армстронг
Гвинет Пэлтроу
Холли Брубах
Джеймс Каан
Селена Элвис.

Мне бы хотелось иметь основания для утверждения, что место питает художников. Не исключено. И все же мне кажется, что все гораздо диковиннее. Отношения в Марфе выглядят скорее мимолетными, чем дружескими. (Могу домыслить, что не без привкуса разрушения.) Кэтрин Анн Портер, которая жила здесь в детстве (ныне ее дом занимает Флэвин, сын Джадда), ненавидела эти места. Элвис выступал неподалеку и никогда больше сюда не вернулся. Пещера в пустыне, рядом с городом Терлингуа, служила убежищем Дэвиду Качински, брату Унабомбера. А У. С. Мервин, восхищенный Огнями Марфы, предпочел бы, чтобы никто другой о них не знал.

Кажется, лучшие для художников места — это те, что являются сами собой, имеют некую природную уверенность в себе, пылая той аутентичностью, о которой говорил Бенедикт. А Марфа такова, какова есть. Скорее не „мир для искусства“ в духе Кабакова, а место, провоцирующее всякого рода импульсы: креативные, деструктивные, неведомые — но во всех смыслах подлинные.

И лучше предоставить событиям развиваться своим чередом, чем разбираться в их подтекстах. Уже в будущем году в близлежащем Шафтере, возможно, появится сотня шахтеров с серебряных копей, которые впрягутся в десяти-пятнадцатилетние планы работ и будут обедать в ресторанчике „У Кармен“, рядом с кем-нибудь вроде Шеймуса Хини, А. Р. Аммонса или Уильяма Тревора — все трое в кратком списке получателей грантов от Фонда Лэннана, предназначенного для жителей Марфы. „Энтрада Эль Пасифико“ — торговый корридор, открытый Северо-Американским соглашением о свободной торговле, видоизменяет местную экономику, количество пересечений границы в прошлом году увеличилось в два раза. В обширных теплицах, сразу за городскими пределами, гидропоническим способом

выращиваются помидоры, тем самым Марфа превращается в город в пустыне, который экспортирует воду — именно этого хотел Джадд. (Странное видение: огромные конструкции из стекла и стали, отсасывающие влагу из водоносного слоя. Хотя в этом явно есть что-то марфинское.) Приграничный патруль, во благо ли, во зло ли, укрепляет свое подразделение в Марфе. Новоприбывшие выкупили горячие источники и немало другой недвижимости из наследства Джадда и вернули право публичного доступа туда. В январе этого года был установлен банкомат (тот, что имелся в Марфе несколько лет назад, был списан в утиль, поскольку так и не приобрел популярности, но с новым, может быть, получится по-другому). Дела идут. Никоим образом не угасая, Марфа живет по собственным законам. Роберт Хальперн написал мне однажды в электронном письме: „Почти весь народ, переезжающий сюда, так же как и мы, местные, читает с одного и того же нотного листа: город должен меняться и расти, иначе он умрет. Марфа переживет нас всех“.

И, разумеется, есть еще „таинственные огни“ — неплохое определение для тех людей, которые непрерывно заезжают в Марфу. Люди вроде Ирвина, Кабакова, Джадда и Питера Ридинга, лауреата гранта Лэннана, сильно пьющего скептика с кредитом в забегаловке „У Люси“, который любит пройтись по поводу чинатийского брюзжания о том, сколько стоят все эти проклятые инсталляции; или, в характерно марфинском стиле, провоцирует своих благодетелей, похваляясь своим стилем жизни. „От меня потребовали ничего не делать. Это мне подходит“. Но многие другие тоже, кажется, нашли свой путь в Марфу. Через несколько недель после конференции визит сюда нанес Сантьяго Хименес — младший, аккордеонист-*conjnto*, который, вместе со свои братом Флако, является одним из наиболее почитаемых традиционалистов на техасско-мексиканской сцене. Он шел по городу и играл для стариков, для общественных деятелей, ветеранов — для всех, кто хотел слушать. В газете появились необыкновенные фотографии его репетиций с местными музыкантами. Я не знаю, сколько времени он пробыл в Марфе — казалось, он все оставался, и оставался, и оставался, он появился в четырех выпусках „Метки“ и сделался частью города. А потом взглянул в другую сторону и был таков.

Накануне нашей последней ночи Роб Вейнер из Фонда Чинати сказал, что мы можем переехать из мотеля „Гром-Птица“ в здание Фонда. По счастью, раздел философии Джадда, касающийся кроватей, состоит среди прочего в том, чтобы в каждой галерее нашлось место для пары коек. Мы забрались в

здание Джона Чемберлена, бывший склад мохеровой шерсти площадью в тридцать тысяч квадратных футов, наполненный скульптурами, которые сделаны из разбитых в авариях автомобилей. „Вам понравится“, — сказал Роб. В два часа ночи я внезапно проснулся. Окна дрожали, воздух вибрировал, рев и свист доносились, казалось, прямо из ванной. Шум все усиливался, и я пришел к уверенности, что что-то вломится сейчас в дверь. „Вставай!“ — закричал я. — Это дух Дональда Джадда!» И пограничный поезд из Эль-Пасо промчался мимо.

*Перевод Э. Войцеховской*

# СЛИВ
# Джуди Будниц

Я позвонила сестре и сказала:

— А на что похож выкидыш?

— Что? — переспросила она. — Ох… Похож на месячные, наверное. Сначала спазмы, потом кровь.

— И что с этим делают? — спросила я.

— С чем?

— С кровью и всем остальным.

— Не знаю, — нетерпеливо ответила она. — Я в таких вещах не разбираюсь, я же не врач. Если я и могу что-то подсказать, так только на кого подавать в суд.

— Извини, — сказала я.

— А почему ты об этом спрашиваешь? — поинтересовалась она.

— Просто я кое с кем поспорила. Думала, ты сможешь внести ясность.

— Что ж, надеюсь, ты выиграешь.

Я поехала домой, потому что так велела сестра.

Она позвонила и сказала:

— Сейчас твоя очередь.

— Нет, не может быть, я же вроде только что там была, — возразила я.

— Нет, в прошлый раз ездила я. Я все записываю, у меня неопровержимое доказательство, — сказала она. Она училась на юриста.

— Но, Мич… — Вообще-то ее имя было Мишель, но все звали ее Мич, все, кроме нашей матери, которая считала, что это звучит оскорбительно.

— Лайза, — сказала Мич, — хватит ныть.

Я слышала, как она что-то грызет, может, ручку. Я представила себе сестру — синие пятнышки на губах, и еще одна ручка воткнута в прическу.

— Скоро День благодарения, — напомнила я. — Почему бы нам не подождать и не приехать домой обеим?

— Ты что, забыла? Они же уезжают на праздники во Флориду, к Нэне.

— Мне сейчас некогда. У меня работа, ты же знаешь. У меня своя жизнь.

— А мне сейчас некогда ругаться, я готовлюсь к занятиям, —

заявила Мич.

Я знала: она сидит на полу, вокруг разбросаны исписанные бумаги и высятся стопки книжек, из которых со всех сторон свисают, как лишайники, желтые липкие листочки. А Мич посреди всего этого широко раскинула ноги и делает балетные упражнения на растяжку.

Из трубки доносится приглушенное покашливание.

— Вовсе ты не готовишься, — возмутилась я. — У тебя там Нейл.

— Нейл мне не мешает, — сказала она. — Он тихонько сидит в уголке и ждет, когда я закончу. Так ведь, солнышко?

Раздалось послушное мычание.

— Ты зовешь его солнышком? — удивилась я.

— Так ты поедешь домой или нет?

— А я должна?

— Ну, я же не могу заявиться к тебе и вытолкать тебя насильно.

Дело вот в чем: мы с ней когда-то договорились, что будем ездить домой, проведывать родителей, по очереди. Вообще-то родители пока не нуждались в наших заботах, но Мич считала, что нам все равно пора привыкать. В будущем пригодится.

Помолчав минуту, Мич сказала:

— Они решат, что нам на них плевать.

— Иногда мне, наоборот, кажется: они хотят, чтобы мы оставили их в покое.

— Отлично. Отлично. Поступай как знаешь.

— Ох, ну ладно. Я поеду.

Я прилетела домой в четверг ночью. Хотя я заранее попросила родителей не встречать меня в аэропорту, когда я сошла с пандуса, они все равно были там, оба. Единственные неподвижные фигуры во всем терминале, а вокруг них сновали люди с багажом, спешили парочки торопливых стюардесс, катящих за собой крошечные чемоданчики.

На матери было коричневое пальто под цвет волос. Вид у нее был встревоженный. Рядом стоял отец, высокий, слегка покачивающийся на каблуках. На стеклах его очков плясали блики; его джинсам на вид было лет двадцать. Я была бы рада заметить их первой, подойти с непроницаемым лицом, ничем себя не выдавая, как чужая. Однако проделать этот трюк мне еще ни разу не удалось — они всегда замечали меня раньше, начинали улыбаться и раскидывали руки для объятий.

— Это все, что ты привезла? Всего одна сумка?

— Давай я понесу.

— Лайза, милая, ты неважно выглядишь. Как твои дела?

— Да, как дела? Видок у тебя ужасный.

— Ну спасибо, пап.

«Как дела?» — повторяли они снова и снова, дружно пытаясь вырвать сумку у меня из рук.

Дома мама принялась помешивать что-то на плите, а отец прислонился к дверному косяку в гостиной и глядел в окно на задний двор. Он всегда вот так приваливался к косяку, когда разговаривал с матерью.

— Я приготовила этот суп специально для тебя, — сказала мама. — Это тот самый, где надо снимать с помидоров шкурку и вручную вычищать зернышки.

— Мам, зря ты это затеяла.

— Хочешь сказать, суп тебе не нравится? Я думала, ты его любишь.

— Да люблю я, люблю. Но тебе не стоило хлопотать…

— Какие хлопоты?! Мне это в радость.

— Она не ложилась спать до двух часов, все снимала с помидоров кожу, — сообщил отец. — Я прямо слышал, как они кричат в агонии.

— Почем ты знаешь? Ты же спал, — проворчала мама.

— Я встал в полшестого, чтобы прибраться в саду перед работой, — сказал он.

Я выглянула в по-осеннему блеклый двор.

— Я подрезал кусты роз. Следующим летом они будут смотреться чудесно.

— Да, обязательно.

— Лайза, раз уж ты здесь, я хочу, чтобы ты завтра кое-что для меня сделала.

— Конечно. Что угодно.

— Я хочу, чтобы ты проводила мать на прием к врачу. И удостоверилась, что она туда попала.

— Хорошо.

— Вовсе она не обязана со мной идти, — возразила мама. — Глупая идея, ей же будет скучно.

— Ей положено делать маммографию каждые полгода, — объяснил отец, — но она все откладывала и откладывала.

— Я была занята, ты же знаешь.

— Она боится идти. Избегает осмотра уже целый год.

— Да прекрати же! Дело не в этом.

— Она вечно находит способ выкрутиться. Твоя мать — настоящий виртуоз по части уверток.

Она скрестила руки на груди. Это давняя история. И мамину

мать, и тетю в свое время оперировали по поводу опухолей.

— У нее так со всеми врачами, — сказал отец. — Помнишь про линзы?

— Это совсем другой случай! Мне не нужны были новые линзы.

Она пятнадцать лет не показывалась окулисту. Все эти пятнадцать лет она носила одни и те же контактные линзы. Когда она наконец явилась на прием, врач был изумлен, он сказал, что за всю свою практику не видел ничего подобного, такие линзы уже давно сняли с производства. Он сперва подумал, что у нее в глазах розетки для варенья.

— Ты преувеличиваешь, — возмутилась мама.

— Мич, то есть Лайза, — начал отец. Он всегда путал наши имена; иногда, чтобы не ошибиться, произносит все три. — Она боится из-за последнего раза.

— А что случилось в последний раз? — спросила я.

— Мне сделали маммографию, — сказала мама, — а потом через пару дней перезвонили и сказали, что изображения получились нечеткие, и нужны повторные снимки. Я прошла процедуру еще раз, а результатов пришлось ждать несколько недель. Мне ничего не говорили, и все эти недели я не могла спать и твоему отцу не давала покоя, все пыталась представить, как это выглядит — опухоль. Метастазы — как прожилки синей плесени в дорогом сыре, думала я. У меня постоянно все болело, я считала собственный пульс ночи напролет. А потом они наконец позвонили и сказали, что все отлично, просто на первом снимке было размытое пятно, как будто я не вовремя пошевелилась.

— Ты небось во время процедуры не умолкала ни на минуту, — проворчал отец. — Учила врачей, как надо работать.

— Я небось дрожала! У них в кабинете всего градусов пять тепла, а они заставляют тебя сидеть на холоде в тонкой хлопковой рубашечке. Люди там не разговаривают с тобой и не улыбаются, а когда делают снимки, то раскатывают твою грудь между двух холодных стеклянных пластинок, словно блин.

Отец отвел взгляд. Подобные разговоры его смущали.

Мама переключилась на меня:

— Все эти ночи я непрестанно думала о своей матери, о том, как ее оперировали. Я ощупывала грудь, искала уплотнения и будила твоего отца, просила его тоже пощупать.

— Леа, — с укором произнес отец.

— Он не возражал. Может, ему даже нравилось.

— Пожалуйста, прекрати.

— А разве нет?

— Пообещай мне, что сходишь с ней, — сказал он мне.

— Она не пойдет, — отрезала мама.

На следующий день мы поехали в больницу на час раньше назначенного. Мама пододвинула сиденье так близко к рулю, как только возможно, и вцепилась в баранку обеими напряженными руками. На меня она поглядывала не реже, чем на дорогу.

По дороге нам попалось несколько раздавленных белок и опоссумов, на месте голов — красные пятна.

— Видимо, дело в погоде, — сказала мама, — что-то заставляет их выскакивать на дорогу по ночам.

— Ох.

— Мы слишком рано, — заметила она, — и как раз проезжаем мимо салона Рэнди. Почему бы не заскочить туда? Может, тебя успеют постричь и сделать укладку?

— Не сейчас.

— Думаю, он не станет возражать. Я всегда рассказываю ему о тебе, он будет рад познакомиться лично.

— Нет.

— Тебя всего-то и надо постричь с боков лесенкой и оставить челку…

— То есть как у тебя?

— Знаешь, я так сочувствую Рэнди, у него ужасный вид и постоянно круги под глазами, он говорит — его бойфренд угодил в больницу. Теперь при каждом удобном случае я стараюсь что-нибудь для него испечь, банановый хлеб или еще что. Но подозреваю, его помощницы съедают все вкусности быстрее, чем он успеет отнести их домой.

— Очень мило с твоей стороны.

— Я волнуюсь за него. О совсем себя не бережет.

— Да.

— Почему у тебя до сих пор прыщи? Тебе двадцать семь, почему ты все еще в прыщах, как подросток?

— Не у всех же такая идеальная кожа, как у тебя, — сказала я. — Зеленый свет. Поехали.

— У меня не идеальная кожа, — возразила она, поднеся ладони к лицу.

— Положи руки на руль, пожалуйста. Хочешь, я поведу?

— Нет, не хочу. Ты, наверное, устала.

Я прикоснулась ко лбу. Маленькие твердые бугорки, словно шрифт Брайля.

Она крутила руль. Я смотрела со стороны на ее лицо, на гладкую, подтянутую кожу. Интересно, когда у нее появятся морщинки. У меня-то они уже есть. На шее, например. Я вижу их

в зеркале.

— Как у тебя с этим Петром?

— Все нормально.

— Он все еще играет… на этой, как ее? Гитаре?

— На бас-гитаре.

Она включила радио и стала перебирать станции.

— Может, попадется его песня, — радостно прокомментировала она.

— Я говорила, что он играет в группе. Но не говорила, что она достаточно хороша для радио.

— А-а. Ясно. Значит, группа любительская, для развлечения. А чем еще он занимается?

— Ничем. Пока.

— Вот как. А что это за имя такое — Пётр? Я правильно произношу?

— Польское, — объяснила я.

Я была не в настроении объяснять ей, что из Польши родом всего лишь его бабка, а родители родились в Милуоки, а сам он вырос в Чикаго и ни разу в жизни не бывал в Польше. Он сам взял себе имя Пётр, на самом-то деле он был никакой не Пётр, а Питер — с претензиями и длинными волосами. Я не стала ей этого говорить.

В поток перед нами вклинилась черная машина. Мама резко затормозила и выкинула в сторону правую руку, прикрывая мне грудь.

— Мама! Держи руки на руле!

— Извини, это я автоматически. С тех пор, как вы были маленькими…

— У меня же ремень пристегнут.

— Я знаю, милая, все равно ничего не могу с собой поделать. Я тебя не ударила?

— Нет, конечно, — сказала я.

Когда мы добрались до подземной парковки, мама опустила водительское стекло до упора, но все равно не могла дотянуться; ей пришлось отстегнуться и открыть дверцу, чтобы нажать на кнопку и получить парковочную квитанцию. Пока она выбиралась из машины, я смотрела на ее узкую спину, на этот изящный изгиб, на лопатки, напоминавшие сложенные под свитером крылья, на прядку темных волос, попавших в замочек ее золотой цепочки. Меня вдруг охватило желание скользнуть к ней поближе, обвиться вокруг нее. Это длилось ровно секунду.

Она развернулась и снова опустилась на сиденье, полосатая желто-черная планка шлагбаума пошла вверх, и я стала нетерпеливо притопывать, пока мама закрывала дверцу и

поднимала стекло. Теперь она возилась с зеркалом заднего вида и поправляла юбку.

— Поехали, — попросила я, глядя на планку, которая зависла в поднятом состоянии, но при этом слегка подрагивала.

— Расслабься, милая. Эта штука нас не раздавит, обещаю.

— Знаю, — сказала я, закрыв глаза, и не открывала их до тех самых пор, пока мы не въехали в ворота и не завернули в темные, покрытые масляными разводами просторы парковки. Мне хотелось пересказать ей несколько юридических случаев, которые расписывала мне Мич: дурацкие происшествия; взбесившиеся молотилки; люди, угодившие внутрь гигантских механизмов или застрявшие на ленте транспортера и разрываемые на кусочки; руки, попавшие в хлеборезку; ненадежные мостки над цистернами с кислотой. Случаи в лифтах, случаи с трамплинами для прыжков в воду, случаи в поездах метро, случаи утонул-в-ванне, случаи ударило-током-от-миксера. А ведь были еще и такие случаи, о которых просто говорят: «На все воля Господня».

Я ей так и не рассказала.

— Запомни, где мы припарковались, — велела она.

— Ладно.

Но она не стала сразу вылезать из машины. Так и сидела, вцепившись в руль.

— Не понимаю, с чего это мы должны туда идти, — промолвила она. — Твой отец напрасно так беспокоится…

— Если ты не пойдешь, он будет беспокоиться гораздо больше, — сказала я, — кроме того, тебе нечего бояться, потому что все будет отлично. Верно? Верно.

— Если со мной что-то не в порядке, я бы предпочла не знать, — выдавила она, глядя на свои руки.

Мы вылезли и захлопнули дверцы, машина вздрогнула.

Она оказалась права насчет больницы. Там было холодно и мерзко. Она записалась в регистратуре, и мы сели ждать своей очереди. Комната для ожидания оказалась серой и пустой. Стулья были обтянуты старым винилом, прилипавшим к ногам. Лампы гудели и, если не смотреть прямо на них, как будто бы помаргивали.

Мы сидели совсем рядом и глядели в пространство прямо перед собой, как будто нам показывали невидимое кино.

В очереди сидела еще одна женщина. Грудь у нее была неимоверных размеров. Просто невозможно не обратить внимание.

Я взяла маму за руку. Пальцы были холодные, но вообще-то у нее всегда холодные руки, даже летом, прохладные и гладкие, с элегантно изгибающимися синими венами. Ее рука безжизненно

лежала в моей. Я пошла на этот жест, думая, что так правильно, но теперь не знала, что делать дальше. Я похлопала по маминой ладони, повертела ее.

Мама странно на меня покосилась. Руки у меня вспотели.

Откуда-то раздавался шум, там что-то делали, до нас долетали голоса, звук шагов, лязг и грохот металла, отрывистые реплики людей, указывающих друг другу что делать. Но видно было только медсестру в окошке регистратуры и пациентку, которая словно уснула, развалившись на стуле и баюкая груди, как младенцев.

— Мне нужно в туалет, — сказала мама и выдернула руку.

Медсестра из регистратуры велела нам пройти по коридору и свернуть за угол. Мы вошли, наши шаги эхом разносились по выложенному кафелем помещению. Было пусто и разило аммиаком. Плитка под ногами влажно поблескивала.

— Вот, приведи себя в порядок, — сказала мама и вручила мне свою расческу. А сама направилась к отсеку с туалетными кабинками и закрыла за собой дверь на щеколду.

Я причесалась, вымыла руки и стала ждать.

Потом посмотрела на себя в зеркало. Освещение было того жесткого и безжалостного типа, что выставляет напоказ каждую деталь. Становятся видны угри и расширенные поры, о существовании которых ты даже и не подозреваешь. Начинает казаться, будто ты видишь собственные темные мысли, медленно проступающие под кожей, как синяки.

— Мама, — позвала я. Мне были видны ее ноги, топчущиеся в кабинке.

— Лайза, — сказала она, — тут в унитазе рыба.

— Ой, перестань!

— Нет, в самом деле. Она плавает.

— Мам, не выдумывай.

— Я и не выдумываю. Иди сюда и взгляни сама.

— Наверное, это аквариумная рыбка, которую кто-то пытался спустить в унитаз.

— Она слишком крупная для аквариумной. Больше похожа на карпа. Ярко-оранжевая. Почти красная.

— Тебе показалось. Может, это кровь или еще что, — предположила я и тут же пожалела о сказанном. Поликлиника была объединена с больничным корпусом. Мало ли что тут может плавать в унитазах: иглы от шприцов, аппендиксы, гланды.

— Да нет же, нет, это рыбка, очень красивая. У нее такие ажурные плавники, как вуаль. Непонятно, как она сюда попала. Она слишком велика чтобы пройти сквозь трубы. Плавает кругами, бедняжка.

— Тогда выходи и воспользуйся другой кабинкой, — сказала я, забеспокоившись. Вдруг она нарочно пытается избежать встречи с врачом. — Ты тянешь время.

— Подойди и посмотри. Надо ее спасти.

Я слышала, как она натягивает колготки и поправляет юбку. Затем она отперла и распахнула дверь. На губах улыбка.

— Взгляни, — сказала она.

Я последовала за ней в кабинку.

— Вот посмотри.

И мы вдвоем склонились над унитазом.

Я увидела лишь пустые белые недра унитаза и два наших похожих силуэта, отражающихся в воде.

— Куда же она подевалась? — недоумевала мама. — Ну не странно ли?

Мы смотрели на воду.

— Как ты думаешь, каким чудом ей удалось выбраться? — спросила мама. — Видишь, вода все еще колышется. Гляди, гляди — маленькие рыбьи какашки. Клянусь. Лайза, милая, посмотри.

«Мама сходит с ума», — подумала я, а вслух сказала:

— Давай вернемся в комнату для ожидания.

— Но мне все-таки нужно воспользоваться туалетом.

Я стояла возле раковины и ждала.

— Ты опоздаешь на прием, — напомнила я. Посмотрела на ее ноги. Тишина.

Наверное, она нервничает и не может облегчиться в моем присутствии.

— Подожду тебя в коридоре, — сказала я.

В общем, я вышла, прислонилась к стене и стала ждать. Все ждала и ждала. Она задерживалась. Я гадала, а вдруг у нее действительно галлюцинации. Вдруг с ней стряслось что-то серьезное: внутреннее кровотечение или нетипичная аллергическая реакция. Не думаю, чтобы она все это выдумала; она не умела врать, ее ложь сразу бросалась в глаза.

— Мама, — позвала я. — Мам!

Я вернулась в туалет.

Ее там не было.

Открытая дверца кабинки качалась, поскрипывая. Я проверила остальные кабинки на случай, если она взобралась на унитаз с ногами и нагнула голову — так мы прятались от учителей в старших классах. В той, первой кабинке вода до сих пор колебалась, будто кто-то недавно нажал на слив. Я даже заглянула в шкафчик под раковиной и запустила руку в мусорный контейнер.

Я стояла там и прикидывала. Должно быть, она каким-то

образом выскользнула из туалета так, что я не заметила. Может быть, я на минуту закрыла глаза. Она могла двигаться очень проворно, когда хотела.

Или, может, она выбралась в окно? Наверху под потолком было небольшое закрытое окошко.

Как бы там ни было, она удрала.

Я медленно прошла по коридору, прислушиваясь и рассматривая кафельный пол.

Я думала о ее узкой спине, о разверстом зеве унитаза, представляла, как она проскальзывает туда, кружится и уносится прочь по трубам.

Я пытаюсь придумать разумно звучащий вопрос:

— Вы не видели мою мать? Женщину примерно моего роста с каштановыми волосами и зелеными глазами? У нее еще такой нервозный вид. Не видели?

Или глаза у нее светло-карие?

Когда я вернулась в комнату для ожидания, на языке у меня вертелся вопрос, я приготовилась сообщить об ее исчезновении. Но тут медсестра раздраженно высунулась в регистратурное окошко и окликнула меня:

— Мисс Салант? Мисс Салант? Врач ждет вас, мисс Салант.

Она открыла дверь в смотровую; медсестры и техники держали наготове тонкие хлопковые халаты, анкеты и стаканчики для сдачи мочи. «Мисс Салант, мисс Салант, мы вас ждем», — тараторили они. Все кругом нетерпеливо размахивали руками и повторяли мое имя.

Ну, я и вошла.

Позже я вышагивала туда-сюда вдоль белых полосок на парковке. Я забыла, где мама припарковала машину. Когда я наконец наткнулась на наш автомобиль, мама была там, прислонилась к бамперу. Мне на миг показалось, что она курит. Она не курила.

Когда я приблизилась, оказалось, что она грызет ручку.

Мы забрались в машину и поехали домой.

— Я вдруг сообразила, *что* мне хочется купить на ужин, — сказала она ни с того ни с сего.

— Рыбу? — спросила я.

Остаток пути мы проехали молча.

— Ну что, как все прошло, дамы? — спросил отец вечером.

Мама ничего не ответила.

— Ты сходила с ней? — обратился он ко мне.

— Угу, — сказала я.

— Значит, результаты будут через несколько дней, так? —

уточнил он, приобняв маму.

Она отвела взгляд.

— Так, — подтвердила я.

Она странно на меня посмотрела, но ничего не сказала.

Я просила их не провожать меня, но в воскресенье вечером они оба поехали со мной в аэропорт.

— Позвони, когда получишь вести из больницы, хорошо? — сказала я.

— Хорошо, — откликнулась она.

Я хотела спросить ее про рыбку в туалете: правда ли она ее видела. И удрала ли она сама тем же самым путем, что и рыбка? Но у меня никак не выходило заговорить об этом. И темы подходящей не подворачивалось.

У входа в терминал мы попрощались. Мои объятия были неуклюжи. Я похлопала родителей по спине, как младенцев, которым надо срыгнуть.

Я велела им отправляться домой, но знала, что они останутся в аэропорту, пока самолет не взлетит. Они всегда так делали. По-моему, маме нравилось там задерживаться, на случай, если самолет упадет сразу после взлета. Тогда она помчится на взлетную полосу, сквозь пламя и взрывы, чтобы вытащить из обломков свое дитя.

А может, им просто нравилось в аэропорту. Там свой, особый запах.

Мне досталось место у окошка. Я затолкала свою сумку под переднее сиденье. Рядом со мной уселся толстый краснолицый мужчина в деловом костюме.

Я размышляла о том, осознавала ли мама, что я для нее сделала. Я стала ее соучастницей. Хотя в тот момент я думала иначе, точнее вообще не думала, просто назвали мое имя, и я вошла. Автоматическое послушание девочки-отличницы. Вошла туда, где были слепящие лампы, хлопковые халаты и люди, которые разминают твою грудь, как глину. Я почувствовала себя благородной и прекрасной. Как будто шла вместо нее на гильотину. Как Сидней Картон в диккенсовской «Повести о двух городах».

Очутившись дома, я позвонила Петру.

— Я вернулась, — сказала я.

— Давай я зайду, — предложил он, — приготовлю тебе завтрак.

— Сейчас вечер, полвосьмого.

— А я только что проснулся, — сказал он.

Моя квартирка казалась слишком маленькой, и в ней пахло затхлостью. Меня не было всего три дня, но казалось, что дольше. Пришел Пётр и принес яйца, молоко и свою собственную лопаточку; он знал, что на моей кухне приспособлений хватит разве что на приготовление бутербродов.

Он как будто вырос со времени нашей последней встречи, вырос и оброс. Я разглядывала волоски на тыльной стороне его ладоней и волосы, лезущие из-под ворота футболки.

Он занимал слишком много места. Когда он разговаривал, его нос и руки будто наскакивали на меня, огромные и искаженные, как будто я глядела на него сквозь фотообъектив «рыбий глаз». Он приблизился, чтобы поцеловать меня, и я видела, как его глаза делаются все больше и больше, расплываются, выходя из фокуса, и превращаются в один большой глаз над переносицей.

Я смутилась. Во рту после самолета остался отвратительный привкус.

— Какие блинчики ты хочешь? На что они должны быть похожи? — спросил он.

— На блинчики, — сказала я.

Он разбил два яйца одной рукой и процедил желтки сквозь пальцы.

— Я могу испечь их в форме снеговиков, — похвастался он, — или кроликов, или цветов.

Он смешивал тесто в миске, мука просыпалась через край, орошая столы и пол. «Потом придется убираться», — подумала я.

— Лучше круглые, — сказала я.

В сковородке пузырилось и скворчало масло. Была ли эта сковородка моей? Нет, скорее всего, он и ее принес с собой — огромная тяжелая сковорода с ручкой, такой запросто можно убить.

Он вылил на сковородку тесто, оно получилось густым, бледно-желтого оттенка, и шипение масла ненадолго утихло. Я заглянула в посудину. Там образовались две больших комковатых возвышенности, друг рядом с другом, они шевелились изнутри, как живые, темнея по краям.

Он перевернул блинчики, и я увидела хрустящую нижнюю сторону с рисунком как на поверхности луны; он прижал их лопаточкой ко дну, разгладил, чтобы стали плоскими, а масло снова стало плеваться и шипеть.

Запахло горелым.

— Знаешь, я что-то не очень голодна, — сказала я.

— Но я принес кленовый сироп, — возразил он. — По-моему, из самого Вермонта.

Содержимое сковородки начало дымиться. Я оттолкнула Петра в сторону, сняла сковородку с плиты и отправила ее в раковину. Она оказалась очень тяжелой; ко дну присохли два обугленных кружочка.

— У нас и без блинчиков найдется чем полакомиться, — сказал он, протягивая бутылку с сиропом. С этикетки мне улыбалась тетушка Джемайма. Только выглядела она как-то иначе. Видимо, производители обновили ее облик: новая прическа, новый наряд. А вот улыбка прежняя.

— С сиропом можно много чего сделать, — сказал он. — Это очень романтическая добавка к блюдам.

Он подступил ближе, потянулся и увернул мощность галогеновой лампы. В полумраке его лицо казалось еще более искаженным.

— Что? — сказала я. — Где это ты нахватался таких дурацких идей?

— Вычитал где-то.

— Прости, я сегодня не очень-то склонна к общению, — сказала я. — Питер, — сказала я.

— Да ладно тебе.

Внезапно я остро заскучала по родителям.

— Ты такой бесчувственный! — заявила я. — Проваливай.

— Эй, я очень даже чувствительный! Я сам мистер Чувствительность! Я подаю нищим милостыню. А от «Канона» Пахельбеля рыдаю как младенец.

— Как кто?!

— Почему ты на меня орешь? — спросил он.

— Смотри, чтобы дверь не дала тебе по заднице, когда будешь уходить, — предупредила я. Я думала, что выразилась хлестко и саркастично, но он понял меня буквально и закрыл за собой дверь со всеми предосторожностями.

Позже позвонила сестра.

— Ну, как они? — спросила она.

— Прекрасно, — ответила я. — Как и всегда.

— У тебя какой-то чудной голос, что случилось? — сказала она.

— Ничего.

— Нет, что-то не так. Почему ты никогда не говоришь мне, если что-то не так?

— Да все нормально, Мич.

— Ты никогда ничего мне не рассказываешь. Если тебе кажется, будто я могу расстроиться, ты скрываешь от меня правду.

— Я все тебе рассказываю.

— Ага, ну что ж, тогда расскажи, что с тобой творилось этой осенью.

— Ничего… Не знаю… тут и рассказывать нечего.

И это была святая истина. Только всего и произошло, что я временно устала от людей. Мне не хотелось выходить на улицу, принимать душ, я перестала брать телефонную трубку — разве что для звонка на работу с очередными изощренными отговорками. Меня стал успокаивать запах собственного тела, явный и ощутимый, неприятный, зато знакомый. Я лежала в постели и говорила себе, что это просто такой период, что это пройдет. Наконец моя галогеновая лампочка перегорела, и после двух дней тьмы я отправилась покупать новую. Солнечный свет, заливавший улицу, сотворил что-то с моей головой, или, может, все дело в том лысом мужике, что продал мне лампочку. Я вернулась на работу.

— А ты как? Как Нейл?

— Мы расстались, — сказала она. — Разругались в пух и прах, он не желал признать, что я права, а он ошибается. О, мы разыграли целое представление, дело было в ресторане, публика смотрела разинув рты, мы орали и все такое, а одна толстая официантка пыталась вклиниться между нами, орудуя подносом как щитом, и требовала, чтобы мы ушли. Так что пришлось заканчивать разговор на улице, я привела свои аргументы, один, второй, третий и, наконец, решающий довод. Если бы мы были в суде, я бы выиграла.

— Сочувствую, — сказала я. — Почему же ты сразу не рассказала?

— Ох, я не хочу, чтобы ты за меня переживала. Я довольна, что все так сложилось, в самом деле. Узколобый зануда. Я тебе не говорила, что у него вся спина была в волосах? Седые волосы как у гориллы, есть такая порода горилл с серебристой спиной.

— Да, ну что ж. Я тоже не знаю, буду ли дальше встречаться с Петром.

— Это плохо.

— А вот и нет.

Той ночью, лежа в постели, я думала о матери и ощупывала себя на предмет уплотнений, как обычно делала она. Я положила два пальца на горло. И думала о ней, о невыявленном раке, который незаметно распространяется по ее телу. Тут только до меня стало доходить, что я совершила большую глупость.

Я думала о том, что сейчас, в это самое время, она лежит рядом с моим отцом и не подозревает, что внутри нее могут

разрастаться и уплотняться эти зловредные клетки — может, похожие на длинные прожилки, а может, на маленькие зернышки вроде овсяных. Она будет избегать мыслей об этом еще полгода, или год, или два; будет все отрицать, пока кожа ее не сделается серой, изо рта не полезут щупальца, а груди не отвалятся и не шмякнутся на пол как два куска влажной глины. Только когда все это случится, она наконец сдастся и скажет: «Хммм, может, со мной что-то не так? Может, мне все же стоит показаться врачу?»

Почти всю ночь я пролежала без сна.

В какой-то момент я встала, пошла в туалет и, сидя на толчке, вдруг прониклась уверенностью, что в воде подо мной плавает что-то ужасное. Я была убеждена на все сто. Живая крыса. Или кусок моего собственного кишечника, вывалившийся кровавым сгустком. Я сидела, боясь включить свет и посмотреть, и в то же время не могла уйти из туалета, не проверив.

Я сидела там с полчаса, изводясь от нерешительности. Кажется, даже ненадолго заснула.

А когда я наконец заставила себя включить свет, повернуться и посмотреть, то была настолько убеждена, будто там что-то плавает, что пустой унитаз стал для меня ужасным шоком.

Я вышла на работу во вторник.

— Я что-нибудь пропустила? — спросила я у одного из сослуживцев.

— А вы разве куда-то уезжали? — сказал он.

Я не знала его имени; все мужчины, работавшие там, выглядели одинаково. Они все были слишком шумные и слишком обильно брызгали слюной.

У меня был свой собственный отгороженный стенкой уголок, но я мечтала о личном кабинете, где можно было бы запереться.

Через несколько дней позвонил отец.

— Матери сообщили результаты обследования, — сказал он. — Маммограмма в порядке.

— Это здорово, — сказала я.

— Однако не похоже, чтобы она обрадовалась, — сказал он. — Ведет себя очень странно.

— Хм, — только и вымолвила я.

— Что происходит, Лайза? — спросил он. — Кажется, вокруг творится что-то подозрительное.

— Ничего не происходит, — сказала я. — Спроси лучше у своей жены, — сказала я. — Кстати, можно ее к телефону?

— Она только что умчалась на встречу, велела мне позвонить тебе. Сказала, ты испытаешь облегчение.

— Да уж.

— Сейчас позвоню твоей сестре, она тоже хотела знать

новости. Или ты сама позвонишь?

— Я позвоню, — пообещала я.

Мне казалось таким странным, что Мич нужно звонить; телефонный звонок означал расстояние, но наше семейство было настолько сплоченным, все в нем были так крепко связаны друг с другом, что словно бы слились в единое целое. Зачем телефон, чтобы поговорить с кем-то, кто живет у тебя под кожей?

Мы обе приехали домой на Рождество.

Позже их навестила Мич.

Потом я.

Потом снова настала очередь Мич.

Когда я позвонила домой во время визита Мич, отец сказал:

— Твоей матери пора на очередную маммографию, так что я отправил Лайзу проводить ее.

— Ты имеешь в виду Мич? Лайза — это я.

— Да, правильно, ну, ты поняла.

Через несколько дней отец перезвонил, голос у него был напряженный.

— Твоя мать сегодня говорила с врачом, — сообщил он. — Но мне ничего не рассказывает. Она заперлась у себя в комнате и плакала. Потом позвонила твоей сестре и проговорила с ней целый час. Скорее всего, доктора что-то обнаружили. Я дам тебе знать, когда все прояснится.

— Хорошо.

Я повесила трубку и позвонила Мич.

— Привет, — сказала она. Звук такой, будто она грызет ручку и давится.

— Мич, — сказала я, — это твои результаты, ведь так?

Она вздохнула и промолвила:

— Смешно, но я думала, что оказываю ей услугу. Думала, избавляю ее от лишних тревог.

— Ты пошла на процедуру вместо нее?

— Знаешь, — сказала Мич, — теперь она волнуется больше, чем если бы уплотнение нашли у нее. Как будто это ее опухоль, как будто это она была предназначена для нее, но мать как-то ухитрилась свалить ее на меня.

— Глупости какие, — сказала я. У меня было чувство, будто я беседую сама с собой.

— Хотя, знаешь, если бы это было возможно, я бы так и сделала, — сказала Мич. — То есть если бы был какой-то магический способ изъять опухоль из ее груди и пересадить в мою, я не сомневалась бы ни секунды.

— А я бы хотела сделать это ради тебя, — сказала я.

— Да, мы могли бы разделить ее на всех.

— Один десерт и три вилки, — сказала я.

И потом, когда я сидела одна-одинешенька на полу в своей квартире, я вдруг перестала понимать, где заканчиваюсь я и начинаются другие люди. Я вспомнила, как стояла в белой комнате, с грудью, зажатой между челюстей гудящей машины, и чувствовала уплотнение, которое вроде было у меня, а вроде и у мамы. Я представляла себе маммографические снимки как лунный рельеф. А потом я уже не могла вспомнить, у кого из нас была опухоль, кажется, у всех, она была мамина, моей сестры и моя, а потом снова зазвонил телефон, я взяла трубку и услышала голос отца. Тот обратился ко мне как обычно: «Леа-Лайза-Мич».

*Перевод И. Копыловой*

# НЕЖНЫЙ СЛОН
# Лидия Дэвис

Она терпеть не могла нежных слонов. Быть может, оттого, что «неж» есть «жен» наоборот, а «жен» — начало наименования того, чем являлась она сама — женщиной. Нежный слон носил на себе отпечаток печали, как снежный стон. Нежный слон, с ее точки зрения, должен был издавать снежный стон. Слон также содержал в себе пару букв от воин, а от него рукой подать до войны. Войны. Стон-ны. Слон к тому же включал в себя почти все необходимое, чтобы получилось слово ноль. Ноль, бесспорно, понятен и близок даже слону. Ноль слонов — это как раз там, где живет большинство американцев. Заслонить все на свете для человека может много нулей — на банковском счету особенно. Ноль слонов есть Америка, но заслонение многими нулями не может ли привести к вой-не? Заслонение приводило, в ее понимание, к снежному стон-ну. Америка могла бы вдруг превратиться в один гигантский долгий стон. Не понеженный слон превращается в заснеженный склон: пусть уж лучше тогда заснеженный склон. Да, пусть будет заснеженный склон и луна. И пусть будет ноль слонов, сказала она. Или даже соль носов.

*Перевод С. Збарской*

* * *

Кому:

_ _ _
Кристоферу М. Коннору
генеральному директору «Шервин Уильямс»
101, Проспект-авеню НУ
Кливленд, Огайо,
44115

_ _ _
Дорогой мистер Коннор,

У Вас много важных дел, поэтому я тоже сразу приступаю к делу. В последнее время я рассылаю письма капитанам нашей индустрии, сочиненные от лица ирландского сеттера по кличке Стивен. Каждое письмо уникально. Вот Ваше:

В ту ночь я бежал, словно плыл по глубокому озеру,

только еще тише. Я обгонял других собак, собак, которых знал, они были теперь силуэтами или просто черными ходячими кустами и казались мне пустым местом. Глаза Самсона, днем голубые, как лед, стали белыми и отражали свет. Я пронесся мимо, точно увлекаемый течением, не чувствуя, как ноги цепляются за сырую-пресырую траву.

Я бежал, ибо хотел почувствовать, как холодный ветер ворошит мою шерсть. Небо стало серо-синим, так бывает, когда в темноте исчезают облака. Дома склонялись надо мною, а я кружил среди деревьев. Черт возьми, я быстроногий пес!

Как меня задолбала людская болтовня. Я слышу все, что они говорят, все сразу. Стоит кому-то открыть рот, как я слышу их всех, слышу всё, что было сказано за много-много лет, и это всегда одно и то же, одно и то же злобное равнодушное нытье.

Но я говорю: Вуууу! Вуууууууууууу!

Знаешь, как бегают гепарды — как их ноги почти не касаются земли? Это я, мужик, — на бегу мой мозг вертится вокруг тела, хула-хуп над головой, и я несусь вперед, мать твою, как на воздушной подушке.

Просто это любовь.

Мистер Коннор, спасибо за внимание.

От кого:

\- - -
Дэниел О'Мара
5811 Меса-драйв, № 216
Остин, Техас
78731.

\- - -

# СУМАСБРОДСТВО БАНВАРДА (Или как могла затеряться картина длинной в три мили?) Пол Коллинз

*«Прививая вкус к изобразительному искусству тем, кто не слишком об этом задумывался, мистер Банвард преуспел гораздо больше, чем любой художник-одиночка со времен возникновения живописи. За что ему честь и хвала».*

*«The London Times».*

Жизнь Джона Банварда поистине являет собой квинтэссенцию мыслимых и немыслимых утрат. В 1850-х годах Банвард считался наиболее известным из художников своего времени, а возможно, и первым за всю историю художником-миллионером. Он завоевал признание миллионов, как обычных людей, так и выдающихся современников, таких как Диккенс, Лонгфелло, королева Виктория; казалось бы, его талант, богатство и положение в обществе непоколебимы. Однако тридцать пять лет спустя, окончив свой жизненный путь, этот же самый человек был опущен в самую скромную могилу на кладбище пограничного городка, затерянного среди просторов Территории Дакоты.[44] Его самые знаменитые полотна оказались уничтожены, а имя невозможно было отыскать ни в одном справочнике. Джон Банвард, величайший художник своего времени, оказался напрочь вычеркнут из анналов истории. Что же случилось?

В 1830 году пятнадцатилетний парень распространил среди своих школьных приятелей программку, законченный вид которой придавала такая наивная оплошность, как пропуск номера пятого:

УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗРЕЛИЩА БАНВАРДА
(Демонстрируются по адресу: Центральная улица, д. 68, между Уайтом и Уокером)
Номера:

Первый: Солнечный микроскоп
Второй: Камера-обскура
Третий: Панч и Джуди
Четвертый: Морская сценка
Шестой: Волшебный фонарь
Вход (чтобы посмотреть все): шесть центов.
Ниже дни сеансов, а именно:
по понедельникам, четвергам и субботам.
Представление начинается в половине четвертого пополудни.
Джон Банвард, устроитель

Школьники даже не догадывались о том, что стали первыми из более чем двух миллионов свидетелей таланта Джона Банварда, заключавшегося в умении развлечь публику. Наверняка этих мальчиков, посещавших домашний музей и диораму Банварда, встречал отец Джона Дэниел Банвард, удачливый строительный подрядчик, и сам не прочь поупражняться в искусствах. Любознательный сын унаследовал тягу к рисованию, писательству и занятиям наукой, причем последнее началось со взрыва: юноша ставил эксперимент, и водород взорвался, серьезно повредив ему глаза.

Однако настоящие бедствия были еще впереди. Когда в 1831 году у Дэниела Банварда случился сердечный приступ, его деловой партнер сбежал, прихватив капиталы компании. Последовавшая затем смерть отца принесла семье банкротство. На глазах у Джона все имущество пошло с молотка; он же взял и «подался в свободные края», точнее, в Кентукки.[45] Обосновавшись в Луисвилле, Джон поступил на работу в аптекарский магазин; свои художественные способности он оттачивал в подсобке, делая мелом карикатурные наброски с покупателей. Владелец магазина, не заинтересованный в том, чтобы поощрять подростка в его упражнениях, уволил парня. Пробавлялся Банвард тем, что рисовал вывески и портреты в доках.

Именно там он и познакомился с Уильямом Чапманом, владельцем первого в стране плавучего театра. Чапман предложил Банварду работу художника-декоратора. Само суденышко отличалось простотой в сравнении с более поздними судами; Банвард потом вспоминал:

«Судно было небольшим — если публика скапливалась на одном борту, вода захлестывала низкие планширы и проникала в каюту, где шло представление. Что вынуждало труппу посменно

заниматься не своим делом — откачивать воду, не давая суденышку утонуть. Иной раз волна от проходящего мимо парохода гнала воду в щели между обшивочными досками — душ публике был обеспечен… Правда, плату за подобное развлечение не взимали».

Да и вообще во всем, что касалось денег, никакой определенности не было. Однако если за время плавания на судне Чапмана Банвард что и приобрел, так это обширный опыт по части набросков и зарисовок пейзажных просторов — как позднее окажется, умение поистине бесценное.

Банвард решил, что лучше жить впроголодь, но работать на самого себя, а не на кого другого, и в следующем сезоне расстался с Чапманом. Он сошел на берег в городке Нью-Хармони, штат Огайо, где задумал основать театральную компанию. Банвард был в ней и за актера, и за художника-декоратора, и за режиссера; иногда он выскакивал на сцену в роли волшебника. Свое предприятие он финансировал, вытягивая из спонсора все до последнего — способ, к которому Банвард позднее прибегнет не раз.

В те времена река все еще оставалась чистой и… небезопасной. Однако труппа продержалась два сезона; кочуя из порта в порт, они играли Шекспира и другие пьесы. Лишь очень немногие города могли позволить себе собственный театр, но зато жители не жалели денег, когда к пирсу причаливали дрейфующие актеры. Порой зрители платили за место на борту натуральным продуктом — курами, мешками с картофелем, — что позволяло латать многочисленные прорехи в меню труппы. Однако в конце концов еда, деньги да и терпение подошли к концу; павшему духом Банварду, измученному приступами малярийной лихорадки, пришлось просить милостыню в порту города Падьюка, штат Кентукки. Хотя с годами Банвард поднаторел в делах шоу-бизнеса, в душе он оставался все таким же талантливым, умным и отзывчивым мальчишкой. Некий импресарио из местного театра сжалился над бедствующим парнем и нанял его рисовать декорации. Банвард с легким сердцем покинул свое суденышко.

И правильно сделал — ниже по течению между отчаявшимися трагиками вспыхнула кровавая поножовщина. Закон явился в образе беспомощного констебля, который, едва успев подняться на борт, тут же споткнулся о дверцу люка сценических подмостков и свернул себе шею. Оказавшись с мертвым полицейским на руках, команда запаниковала и бежала с судна; ни о ком из них Банвард больше не слышал.

В Падьюке Банвард сделал первые шаги к созданию «движущихся панорам». Панорама — расположенная вкруговую картина со зрителем в центре — была сравнительно новым изобретением, находчивым применением перспективы, открытой в конце XVIII века. К началу XIX века Институт Франции[46] официально признал панораму самостоятельным видом искусства. Изобретатель фотографии Луи Жак Манде Дагер пошел дальше, первым создав «диораму» — панораму из холста на передвижных рамах, которую можно было рассматривать благодаря оптическим эффектам. Когда маленький Банвард жил в Манхэттене, он мог прошагать несколько кварталов ради того, чтобы с изумлением поглазеть на эти огромные рулоны разрисованного холста, изображающего морские порты и «Путешествие к Ниагарскому водопаду».

Банварду исполнилось двадцать, однако он помнил об оставшихся позади годах тяжелой болезни и жестокого голода. Свободное время молодой человек проводил в Падьюке, занимаясь живописью и создавая движущиеся панорамы Венеции и Иерусалима: полотна, натянутые между двух роликов и приводимые в движение рычагом с одной стороны, позволяли публике стоять и смотреть, как перед ней разворачиваются удивительные пейзажи. И все-таки Банвард не мог долго жить без реки. Он вновь наметил маршрут, теперь уже по рекам Миссисипи, Огайо и Миссури, собираясь торговать галантерейными товарами и попутно зарисовывать проплывающие мимо пейзажи. Были у него и более грандиозные замыслы: в пограничных областях страны с успехом показывали диораму «кругов ада»; Банвард решил, что ее можно усовершенствовать. Во время остановки в Луисвилле он соорудил движущуюся панораму, которую назвал «КРУГАМИ АДА почти 100 футов длиной». В 1841 году панорама была закончена, и Банвард продал ее, выручив гораздо больше, чем за Венецию и Иерусалим.

Панорама произвела настоящий фурор. То было зарождение кинематографа — первый законный брак, свершившийся между реальностью зрительного восприятия и реальностью физического движения. У публики прямо-таки дух захватило, впрочем, у Банварда тоже: он пребывал в том самом лихорадочном состоянии, которое охватывает художника, открывающего новый вид искусства. Ободренный скорым успехом, двадцатисемилетний художник замахнулся на картину столь грандиозную, что она должна была затмить все сделанное до и после: он задумал изобразить портрет реки Миссисипи.

Когда мы читаем о границах продвижения переселенцев, нам представляются Калифорния и Невада. Во времена же Банварда граница все еще проходила через Миссисипи. Пускаясь по нетронутой глади реки и ее притоков, путешественник лишь изредка мог рассчитывать на комфортный отдых в каком-нибудь поселении; в пути человека поджидали всевозможные напасти, тучи комаров, а если он осмеливался причалить, то и медведи. Однако Банвард к тому времени успел уже несколько раз сплавиться по реке в обоих направлениях, а однажды и вовсе плавал в одиночку, коммивояжером. В идиллической жизни на воде были моменты как приятные, так и опасные; позднее Банвард вспоминал:

«Всевозможные тяготы и невзгоды, зной и стужа, а также несчастные случаи на воде, происходящие за время долгого и рискованного путешествия, конечно же, неведомы жителям поселений. Суда, проплывающие мимо их домов прекрасным весенним утром, лесная зелень, мягкий благоухающий воздух, восхитительная синь небес, пологий берег с одной стороны и отвесная круча с другой, широкая гладь потока, медленно катящего воды вдоль прибрежных зарослей и нежно толкающего судно вперед — все это рождает у очевидцев чудесные образы и ассоциации. Нет ни намека на опасность или необходимость тяжкого труда. Лодка плывет сама по себе, а наблюдающие за ней с берега даже не представляют, как сильно все может измениться за каких-то полчаса. Пока же на борту один перебирает струны инструмента, остальные танцуют. Экипаж на палубе и зрители на берегу обмениваются приветствиями, переругиваются или состязаются в острословии, моряки шлют девушкам признания в любви или отпускают дерзкие шуточки».

Банвард отдавал себе отчет в поджидавших его физических трудностях и был к ним готов. Однако едва ли он задумывался об испытаниях, подстерегавших его как художника. Весной 1842 года Банвард приобрел ялик, закупил провизию, а также дорожную сумку, набитую карандашами и бумагой, и пустился в плавание по Миссисипи. Его целью было набросать виды реки: от Сент-Луиса и до самого Нового Орлеана.

Следующие два года ночью он спал, подложив под голову вместо подушки дорожную сумку, а днем скользил по водной глади, заполняя листы речными видами. Время от времени Банвард причаливал, чтобы закупить сигареты, мясо, хозяйственные товары, словом, все то, что потом можно было

продать в прибрежных поселениях. Банвард делал неплохие деньги, в какой-то момент даже сменил ялик на судно повместительнее — чтобы брать больше товара. Спустя несколько лет он вспоминал те времена в своих публичных выступлениях — разумеется, с налетом драматизма — и рассказывал о нелегких испытаниях, подстерегавших одинокого путешественника на реке:

«От постоянной работы на веслах его руки огрубели, а от частого пребывания на солнце он загорел, став похожим на индейца. Случалось, неделями он не видал ни одной живой души, единственной его компанией было ружье, которым он добывал себе пропитание: лесную дичь или водоплавающую птицу… Во второй половине лета он достиг Нового Орлеана. В городе свирепствовала желтая лихорадка, но он, не обращая на то никакого внимания, зарисовывал местные виды. Солнце палило нещадно, и он сгорел, да так, что кожа слезала с лица и ладоней. От постоянного напряжения у него воспалились глаза — окончательно зрение потом так и не восстановилось».

Однако, вспоминая путешествия в своей неопубликованной автобиографии, Банвард был не так суров:

«Течение реки колебалось между четырьмя и шестью милями в час. Так что судно продвигалось довольно быстро; я начал заполнять дорожную сумку эскизами береговых видов. Поначалу было одиноко дрейфовать в лодчонке весь день, но через какое-то время я привык».

Шел 1844 год, когда Банвард, этот путешественник, вернулся в Луисвилль, привезя с собой наброски, кучу небылиц и деньги, чтобы воплотить фантастическую идею — изобразить реку, по которой прошел. Полотно должно было получиться самым большим из всех полотен в мире.

Банвард стремился запечатлеть на полотне три тысячи миль Миссисипи, начиная от места слияния реки с притоками Миссури и Огайо. Мир не знал еще замысла грандиознее, впрочем, таковы были честолюбивые устремления той эпохи. Ральф Уолдо Эмерсон, читая свои лекции в Новой Англии,[47] уже внушал, что «наши воды, богатые рыбой, наши негры, индейцы, все то, чем мы гордимся… торговля на севере, плантации на юге, завоевание западных территорий, Орегон, Техас — все это еще ждет своего певца. Америка — это все еще поэма в наших глазах, ее обширные территории поражают воображение…» До Эмерсона подобную мысль высказывали такие романисты, как Фенимор Купер, а

позднее — поэты, среди которых был и Уолт Уитмен. Когда в 1844 году Банвард построил на отшибе Луисвилля сарай — разместить огромные рулоны заказанных холстов — он также предвидел великое будущее американского искусства.

Первым делом Банвард сконструировал систему крепежа, не дававшего холсту провисать. Конструкция оказалась довольно оригинальной, ее запатентовали и несколькими годами позже рассказали о ней в журнале *Scientific American*. Месяц за месяцем Банвард лихорадочно трудился над своим творением, рисуя широкими мазками. У него уже имелся опыт работы с декорациями, когда на холсте надо было изображать обширные пейзажи. Для ценителя таких условностей, как детали и перспектива, его работа при ближайшем рассмотрении интереса не представляла. Однако движение творило чудеса с грубо обтесанными бревенчатыми домиками, песчаными берегами, полями цветущего хлопка, приграничными городками и плоскодонками, развозившими всякие чудодейственные снадобья.

Одновременно Банвард подрабатывал в городке; однако нам неизвестно, делился ли он с кем-нибудь своими творческими замыслами. По счастью, сохранилось письмо одного человека, случайно заглянувшего в сарай Банварда. Лейтенант Селин Вудворт в детстве жил всего в нескольких домах от Банварда; как-то, путешествуя по бескрайним просторам, он оказался рядом с Банвардом и не смог не зайти к соседу, которого не видел вот уже шестнадцать лет. Когда Вудворт без всякого предупреждения возник на пороге сарая, он очень удивился тому, как возмужал его друг детства:

«Я заглянул в художественную студию, в этот огромный деревянный сарай… художник сам вышел на порог поприветствовать нас; на нем были берет и блуза, в руках палитра и карандаш… Все в студии казалось сплошным беспорядком, кроме живого, как будто настоящего изображения на огромной, еще не оконченной части картины, закрепленной на одной из стен… Эта картина была накручена на поставленный вертикально валик или барабан, находившийся в одном конце сарая — художник, рисуя на холсте, постепенно сворачивал его.

Любое описание творения таких гигантских масштабов… и приблизительно не передаст впечатления от конечного результата. Даже если не принимать в расчет мастерство и высокий профессионализм исполнения, одна уже удивительная правдивость изображения самых незначительных деталей на берегах реки сделает картину ценнейшим историческим полотном, с величием и разнообразием пейзажей которой не

сравнится ни одно творение со времен возникновения живописи».

Таково было произведение, которое художник собирался явить миру.

Ко дню открытия Банвард был полон самых смелых ожиданий. 29 июня 1846 года жители Луисвилля прочитали в газете о том, что местный художник арендовал зал для показа своей работы: «Огромную движущуюся панораму реки Миссисипи, нарисованную Банвардом, можно будет посмотреть в понедельник вечером, 29 июня в Зале Аполлона; ежедневная экспозиция продлится до субботы, 4 июля». В рецензии, напечатанной там же, говорилось: «Грандиозной картине длиной в три мили суждено стать одним из самых прославленных творений нашего века». Автор рецензии даже не догадывался, до чего верными оказались его первые ощущения: картина действительно стала самым прославленным творением столетия. Но не осталась в веках.

День торжественного открытия оказался явно неудачным. Банвард ходил по выставочному залу взад-вперед, поджидая толпы зрителей и потоки монет — по пятидесяти центов за вход. Постепенно стемнело, зарядил дождь. Панорама стояла на освещенном помосте, свернутая и ожидающая первого оборота валика. Уже и солнце село, и дождь барабанил по крыше, а Джон Банвард все ждал и ждал.

Ни один зритель так и не явился.

Казалось бы, после такого позорного дебюта Банварду только и оставалось, что собрать вещи и покинуть город. Но на следующий день этот гений кисти показал себя еще и гением рекламы. Утром тридцатого числа Банвард принялся обрабатывать луисвилльские доки: напустив на себя вид человека бывалого, не раз сплавлявшегося по реке, он болтал с моряками на пароходах. Переходя от одной команды к другой, Банвард раздавал билеты на бесплатный дневной сеанс.

Даже если бы моряки заплатили за вход полную стоимость, они бы о том не пожалели. Плавно разворачивавшееся перед ними полотно Банвард сопровождал описанием своего путешествия. В его выдумках присутствовали и пираты, и колоритные переселенцы, и опасности, которых он чудом избегал, и дивные виды, возможно, чуть приукрашенные, но все же убедительные для большинства моряков, которые, усомнись они в правдивости его повествования, тут же освистали бы рассказчика. Благодаря рекомендациям моряков, вечерний сеанс посетили уже пассажиры, и Банвард выручил целых десять долларов — сумму

по тем временам совсем неплохую. С каждым разом посетителей приходило все больше; по прошествии нескольких дней Банвард выступал уже в переполненном зале.

Вернувшись к себе, Банвард на радостях от таких заработков и успеха добавил к панораме еще несколько секций, после чего поместил ее в зал попросторнее. Народ по-прежнему валил валом; жители соседних городков фрахтовали пароходы и приезжали посмотреть на картину. С добавленными секциями сеанс продлился почти до двух часов; Банвард крутил холст быстрее или медленнее — в зависимости от того, как публика принимала картину. Каждый сеанс оказывался уникальным, даже для тех, кто оставался на два показа подряд. В конце сеанса холст не перематывали в начало, так что путешествие вверх по течению чередовалось с путешествием вниз по течению.

Когда такое пробное плавание увенчалось успехом, Банвард задумал вывезти «трехмильную картину» в какой-нибудь крупный город. 31 октября он выступил в последний раз, после чего направился в Бостон, центр интеллектуальной культуры Америки.

Банвард выставил панораму в бостонском Армори-холле как раз перед Рождеством. Свой рассказ он довел до совершенства, сдобрив его пикантными деталями, собственными воспоминаниями и байками об известных грабителях, орудовавших в отдаленных областях страны. Механизм, приводивший картину в движение, теперь был спрятан от глаз публики, а свое повествование Банвард сопровождал вальсами на пианино. Снабдив панораму американских пейзажей искусно продуманным освещением, художник добился идеального сочетания.

Публике это очень понравилось. По подсчетам Банварда, за полгода удивительное представление посетили 251 702 бостонца; установив входную плату в пятьдесят центов, он получил около 100 000 долларов чистой прибыли. Всего за год Банвард из скромного живописца вырос до известного и богатого художника, возможно, самого богатого в стране. Когда Банвард опубликовал биографическую брошюру *«Описание панорамы реки Миссисипи, созданной Банвардом»* (1847), а также нотную запись музыки, сопровождавшей показы, он заработал еще больше. Однако идея с музыкальным сопровождением имела продолжение — нанятая Банвардом юная пианистка, Элизабет Гудман, вскоре стала его невестой, а затем и женой.

Похвальные отзывы раздавались со всех сторон; вершиной успеха стало заключительное представление в городе, которое посмотрели губернатор, спикер и члены палаты представителей, единодушно принявшие резолюцию о награждении Банварда. Его

успехи вовсю обсуждались в высших кругах бостонских интеллектуалов. В 1856 году Джон Гринлиф Уитьер написал книгу, назвав ее в честь картины Банварда — *«Панорама и другие стихотворения»;* Генри Вордсворт Лонгфелло, побывав на одном из первых бостонских сеансов, запечатлел Миссисипи в своей эпической поэме *«Эванджелина».* Сам Лонгфелло никогда не видел реку, однако пейзажей Банварда ему оказалось вполне достаточно. Он даже упомянул художника в своем романе *«Кавана»,* ставя того в пример будущей американской литературе: «Нам нужно эпическое произведение, которое соответствовало бы масштабам страны; в литературе оно должно быть тем, чем в живописи является панорама Миссисипи Банварда — то есть величайшим в мире».

Нет никаких сомнений в том, что «трехмильная картина» Банварда была самой длинной из всех картин. Однако в название вкралась неточность. Ученый Джон Хэннерс, чьими усилиями память о Банварде жива и в наши дни, замечает: «Банвард всегда осторожно указывал на то, что это другие называли картину „трехмильной“… Ведь площадь первоначального произведения составляла 15 840 квадратных футов, а не три мили в длину».

Но, может, Банвард и не торопился исправить ошибку, возникшую в раздутом воображении публики. Его слава теперь бежала впереди него. В 1847 году он перевез картину в Нью-Йорк, где собрал еще большие толпы зрителей и выручил еще больше денег; в Нью-Йорке картину назвали «памятником национальному таланту и гению». Выручка после каждого вечернего представления отвозилась в банк и запиралась в надежные сейфы; банковские служащие уже не пересчитывали груз от Банварда, а принимали его на вес.

Признание и богатство породили льстивые отзывы собратьев по цеху, не отличавшиеся искренностью. По стопам Банварда пошел Джон Роусон Смит, нарисовавший так называемую «четырехмильную картину». Даже принимая во внимание склонность Банварда к преувеличениям, с трудом верится в то, что его предприимчивым соперникам удавалось переплюнуть художника — тому нет никаких доказательств. Однако наметилась тревожная тенденция. Банварду приходилось слышать о беспринципных антрепренерах, замышлявших скопировать картину и показывать эту пиратскую версию в Европе, выдавая за «истинную панораму Банварда». Добившись оглушительного успеха у себя на родине, Банвард свернул нью-йоркское шоу и заказал билеты на рейс в Ливерпуль.

Лето 1848 года художник провел в подготовке к лондонскому

представлению — устраивал короткие показы в Ливерпуле, Манчестере и других небольших городах. Когда Банвард прибыл в Лондон, ему отвели огромный Египетский зал. Он начал с того, что устроил специальное представление для обитателей Флит-стрит,[48] надеясь первым делом произвести впечатление на них. «Невозможно, — восхищалась *The Morning Advertiser,* — описать это великолепное[49] словами!» *The London Observer* отзывалась не менее восторженно; в номере от 27 ноября 1848 года репортер написал следующее: «Работа и впрямь невероятная! Мы никогда еще не становились свидетелями подобного представления… столь грандиозного в своем единстве замысла». Художник быстро заслужил своего рода благословение прессы.

И снова повалил народ, потекли деньги. Однако чтобы заинтересовать журналистскую братию всерьез, Банвард нуждался в том, чего у него никогда не было в Америке: в одобрении королевского дома. После многочисленных уловок и интриг Банвард добился своего — 11 апреля 1849 года его пригласили в Виндзорский замок: предполагалось, что он даст специальное представление в честь королевы Виктории и всего августейшего семейства. Банвард к тому времени уже был богат, но монаршее одобрение значило для него немало: одно дело быть обыкновенным антрепренером, умеющим держать кисть в руке, и совсем другое — официально признанным живописцем. Банвард выступил самым лучшим образом: он рассказывал истории, приключавшиеся с ним в пути, а рассказ его отлично дополняла сидевшая за пианино жена. Под конец, когда Банвард закончил и отвесил поклон всем, слушавшим его в парадном зале святого Георгия, он уже знал — как художник он состоялся. Потом Банвард всю жизнь вспоминал это выступление как свой звездный час.

С этого времени его панорама превратилась в настоящую сенсацию; представления в Лондоне шли целый год, их посетили 600 000 зрителей. Дополненный и приукрашенный репринт его автобиографической брошюры, теперь называвшейся *«Банвард, или приключения художника»* (1849), также хорошо раскупался лондонцами, а вальсы из музыкального сопровождения можно было услышать чуть ли не в каждой гостиной. Банвард сумел затронуть все слои общества; Чарльз Диккенс, побывав на одном из его представлений, написал Банварду восхищенное письмо: «Ваша картина в высшей степени захватила меня и порадовала». Других представителей этой островной нации, которой привычнее было видеть воды неспокойные, Банвард развлекал щекочущими нервы рассказами об опасностях диких мест, разбавленными сладкой идиллией жизни на реке:

«Разумеется, приятное путешествие на речном пароходе от Цинциннати до Нового Орлеана не сравнится с путешествием по морю. Пустая, бескрайняя морская гладь вскоре утомляет глаз любого, кроме разве что моряка. К тому же на море случаются штормы, все на судне необходимо закреплять, да и самому за что-то держаться, чтобы не выпасть из койки. Путешествие по морю вызывает невыносимую тошноту, кроме того, оно опасно. На реке же вы всегда рядом с берегом, видите зелень, спокойно едите, пишете и занимаетесь делами без всяких помех. В зависимости от сезона у вас на столе сливки, овощи, фрукты, парное мясо и дичь, купленные на берегу».

Под конец лондонских выступлений Банвард обнаружил, что его прямо-таки преследуют всевозможные подражатели: за один только сезон 1849–1850 гг. возникло пятьдесят панорам, соперничавших друг с другом. Мало того, что Банварда донимал давний его соперник Джон Роусон Смит, теперь его самым оскорбительным образом обвиняли в плагиате, и обвинителем выступал соотечественник, портретист Джордж Кейтлин, завистливый художник, «подружившийся» с Банвардом, чтобы занять у того денег. Банварду также стало известно, что конкуренты засылали на его представления своих шпионов — студенты-художники сидели среди публики и наскоро зарисовывали панораму Банварда по мере того, как тот ее разворачивал.

Известно, что появление таких вот дешевых подделок, а то и пародий на подделки свидетельствует о том, что данный вид искусства стал частью культуры. На подобную тему существует давно забытая работа американского юмориста Артемуса Уорда, опубликованная уже посмертно под названием *«Артемус Уорд и его панорама»* (1869). Последние годы своей жизни Уорд работал в Лондоне и наверняка бывал на кое-каких лекциях путешественников, сопровождавшихся показом панорам, и пародиях на эти лекции — их возникло немало. Панорама же Уорда, как видно из иллюстраций предполагаемой сцены (зачастую скрытой дырявым занавесом), состоит из рассуждений на тему Сан-Франциско и Солт-Лейк-Сити, часто прерываемых несвязным, как будто хмельным бормотанием на отвлеченные темы, набранным мелким шрифтом:

«Если вам сегодня что-нибудь придется не по вкусу — я приму вас всех бесплатно в Новой Зеландии — если приедете сделать заказ».

«Я знаю, что рассказ этот не имеет ничего общего с моим Представлением, однако один из основных принципов моего Представления заключается в том, что оно состоит из множества деталей, не имеющих к нему никакого отношения».

В объявлениях, напечатанных в книге, щедрый Уорд заверяет публику, что его лекционный зал снабжен огромным количеством «новых дверных ручек». Однако у Банварда были соперники и посерьезнее таких вот шутов, поэтому художнику снова пришлось взяться за дело. Он заперся в студии и нарисовал еще одну панораму Миссисипи. В то время как первая панорама показывала один берег реки, эта панорама изображала противоположный. В Лондоне Банвард оставил вместо себя другого чтеца, а сам два года разъезжал по Британии со второй панорамой, собрав почти 100 000 зрителей.

Любопытно, что сделал бы Банвард с двумя полотнами на сцене? Если расположить их под углом друг к другу и одновременно приводить в движение, возник бы стереоскопический эффект: зрители плывут посередине Миссисипи. Родился бы первый мультимедийный проект объемного воздействия. Но среди всевозможных изобретений Банварда такое не упоминается.

В Лондоне Банвард занимался не только собственным творчеством. В свободное время он бродил по Королевскому музею, завороженный обширным собранием древнеегипетских экспонатов. Вскоре он сделался учеником местных египтологов и под их руководством научился расшифровывать иероглифы — по некоторым сведениям, единственный из американцев на тот момент. После Банвард в течение многих лет устраивал лекции по чтению иероглифов и всегда собирал полные аудитории.

Банвард перевез свою панораму в Париж, где на протяжении двух лет она пользовалась неизменным успехом. Художник к тому времени успел стать отцом: в Лондоне у него родилась дочь Гертруда, в Париже — сын Джон Банвард-младший. Но появление детей нисколько не помешало ему в его передвижениях, наоборот, следующий год художник провел вдали от семьи, отправившись в паломничество к Святой Земле. Повторяя свое путешествие по Миссисипи, он сплавился вниз по течению Нила, заполняя блокноты эскизами. Однако ему уже не приходилось спать, подкладывая эти самые блокноты под голову вместо подушки. Будучи человеком богатым, он мог путешествовать со всеми удобствами; в пути Банвард приобрел тысячи предметов

древнеегипетской культуры, которые стали подспорьем его удивительным способностям в расшифровке иероглифов.

Путешествия легли в основу еще двух панорамных картин: Палестины и Нила. Ни за одну из них Банвард не выручил столько, сколько выручил за панораму Миссисипи: всюду было полно имитаций, а публике начали уже приедаться лекции, сопровождавшие показы. Но тем не менее Банвард чувствовал себя в самом расцвете творческих сил. В 1854 году один американский обозреватель написал в *Pictorial Drawing Room Companion* Баллу:

«Мистер Банвард сделал себе имя и состояние на трехмильной панораме Миссисипи. Это один из тех случаев, когда награда своевременно находит того, кто поистине заслужил ее… Единственным учителем художника была Природа; его стилю почти не свойственны условности. То, что он делает сейчас, по своим художественным достоинствам намного превосходит панораму Миссисипи — художник быстро совершенствуется; впечатление от современных его работ усиливается высоким уровнем их исполнения».

Спустя каких-то восемь лет после путешествия по Миссисипи Банвард стал самым знаменитым художником среди своих современников и самым богатым за всю историю существования изобразительных искусств.

Весной 1852 года Банвард с семьей вернулся в Штаты. Он был сказочно богат и мог позволить себе удалиться от дел, поселившись в замке и время от времени беря в руки кисть для своего удовольствия. Поначалу именно так Банвард и поступил.

Известнейшему в мире художнику требовался соответствующий дом, и Банвард купил шестьдесят акров на Лонг-Айленде, взявшись за возведение точной копии Виндзорского замка. Когда развернувшему строительство Банварду не стало хватать местных дорог, он взял и проложил собственную. Замок Банвард назвал «Гленада»,[50] в честь дочери Ады; соседи, которые то возмущались, то восхищались неслыханными затратами на строительство, прозвали замок «Сумасбродством Банварда».

Репортер, осматривавший поместье, оказался благосклоннее в своей оценке:

«У дома величественный вид, он сразу же напоминает один из тех старинных причудливых замков, уютно расположившихся посреди узких долин старой Шотландии… На первом этаже со

стороны лужайки располагаются девять комнат: гостиная, салоны, оранжерея, передняя, комната для приеду-ги и еще несколько помещений. На втором этаже — детская, учебный класс, комнаты для гостей, ванная, библиотека, кабинет и прочее, а комнаты для прислуги устроены в башнях. Подвал отведен под всевозможные домовые службы и хранилища. Хотя на данный момент фасад имеет протяженность в сто пятнадцать футов, мистер Банвард утверждает, что замок еще не окончен; он планирует достроить главную, то есть сторожевую башню, в которой разместит студию, красильню и музей под огромную коллекцию диковин, свезенных им со всех частей света… Возникло даже предложение — переименовать городок[51] в БАНВАРД…»

Неудивительно, что жители городка не смогли оценить по достоинству всю прелесть такого предложения.

И однако следующие десять лет Банвард прожил относительно безбедно; как художнику ему сопутствовал успех, правда, довольно скромный. В самом деле, его творческие горизонты год от года расширялись. В 1861 году он снабдил армию Штатов собственноручно нарисованными гидрографическими картами реки Миссисипи. Генерал Фримонт лично написал ему письмо, в котором благодарил за профессиональную помощь. В том же году Банвард проиллюстрировал первую хромолитографию, выпущенную в Америке. Уникальность процесса состояла в том, что необходимо было воспроизвести и цвет, и фактуру оригинальной иллюстрации, которую Банвард назвал «Молитвой». Результатом явился потрясающий успех, лишь закрепивший за Банвардом репутацию художника, использующего технические новшества.

Затем Банвард вернулся к своей первой любви — театру. В 1864 году в Бостоне шла с размахом поставленная «библейско-историческая» драма «Амасис, или последний из фараонов». Банвард являлся автором и текста, и громадных декораций; наградой ему стал теплый прием критиков. Банварду казалось, что он способен достичь успеха во всем, за что бы ни взялся.

В то самое время, как Банвард показывал свое египетское собрание гостям в «Гленаде», роль музея как такового быстро менялась. К 1780 году «комод с диковинками», имевшийся у богатых любителей всяких занятных вещиц, впервые развился в нечто, напоминающее музей; управлял им Чарльз Пил, живший в Филадельфии. Позже он объединился с Американским музеем в Нью-Йорке Джона Скаддера; в музеях стали вести

просветительскую работу: устраивали лекции и показы, демонстрировали рисованные и натуральные изображения необычных объектов природы и свидетельств прошлого.

Все изменилось, когда в 1841 году Американский музей Скаддера приобрел П. Т. Барнум. Новый владелец привнес в музейную работу элемент карнавала, где в равной степени присутствовала и зрелищность, и вымысел на грани обмана — мощная и очень привлекательная для публики смесь из паноптикума, диорам, сеансов магии, естественной истории и бесстыдного кривлянья и вранья в номерах «Мальчик-с-пальчик»[52] и «няня Джорджа Вашингтона».[53] Барнуму, этому деловому человеку, не была свойственна кристальная честность, однако он слыл самым талантливым антрепренером в стране. Привлеченные успешной деятельностью Барнума, подражатели вскоре оказались уничтожены — Барнум знал, как загнать соперника в угол. К тому же он как никто другой умел разрекламировать свои шоу.

К 1866 году общие продажи билетов на представления Барнума превысили тридцать пять миллионов — численность населения страны. Джон Банвард, весь замок которого был заполнен настоящими музейными экспонатами, едва ли мог оставаться равнодушным к тому, какие суммы расположившийся по соседству Барнум зарабатывал, демонстрируя вещицы весьма сомнительного происхождения.

Это побудило Банварда нанести визит Уильяму Лилиенталю, с которым он когда-то сплавлялся по реке. Пятнадцать лет назад они вместе прошли Нил, собирая экспонаты, положившие начало коллекции Банварда.

С помощью Лилиенталя — и немалых вложений инвесторов — Банвард намеревался расправиться с Барнумом. Однако основанное Банвардом совместное предприятие с самого начала оказалось ненадежным. Мало того, что Банвард вздумал тягаться с величайшим шоуменом Америки, — затея сама по себе безумная, — он еще и опирался при этом на свой опыт, в данном случае лишь мешавший ему. После стольких лет успешных гастролей с панорамой Банвард решил, что ему вполне по силам содержать музей; на самом же деле он никогда не возглавлял настоящее предприятие — со штатом сотрудников и собственным зданием. За годы демонстрации панорамы он заработал миллионы, имея в помощниках одного только секретаря, которого в конце концов выгнал за кражу нескольких долларов.

Лилиенталь с Банвардом вложили деньги в Музей Банварда, выпустив акции на сумму в 300 000 долларов. Которыми и рассчитывались с подрядчикам и рабочими; остальные акции

приобрели известнейшие семейства Манхэттена. Однако существовало одно затруднение — Банвард не регистрировал ни свое предприятие, ни акции. Его ценные бумаги ничем не были подтверждены. Ни поручители Банварда, ни, возможно, сам Банвард не подозревали, что акции ничего не стоят.

Благодаря финансовым вливаниям излишне доверчивых спонсоров, строительство Музея Банварда стремительно завершалось.

Когда 17 июня 1867 года огромное сооружение площадью в 40 000 квадратных футов открылось, оно оказалось самым лучшим музейным зданием в Манхэттене. Знаменитую панораму Миссисипи разместили на возвышении в центральном зале, вмещавшем до 2000 зрителей; кроме того, в музее имелось еще несколько залов поменьше, где читали лекции и демонстрировали собранную лично Банвардом коллекцию древностей. Лекционным залам придавалось большое значение: Банвард раздавал бесплатные билеты студентам, желая подчеркнуть, что его музей ориентирован на семейные и образовательные ценности — в противовес музею Барнума, построенному на сенсации. Была в музее и поистине приятная для многочисленных посетителей новинка: вентиляция. Вечной проблемой на демонстрациях панорам была невозможная духота в зале; Банвард первый сделал окна и вентиляционные отверстия по всему периметру помещения.

В лице Банварда Барнум получил серьезного соперника. Через неделю после открытия музея в *The New York Times* напечатали рекламу Барнума, буквально кричавшего о том, что в его собственном музее «ОТЛИЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ! ПРОХЛАДА! Просто наслаждение!! Настоящая прохлада!!! Изысканно оформленные, просторные, проветриваемые залы!» Конечно, все это было далеко не так — музей Банварда намного превосходил музей Барнума, причем Барнум это прекрасно знал. Но он обладал талантом привлекать массы, в чем Банвард не мог с ним сравниться. Оставшуюся часть лета можно было наблюдать за схваткой двух величайших шоуменов Америки — и ее первых миллионеров на ниве индустрии развлечений — они сцепились намертво, стремясь довести один другого до разорения.

На каждое новшество Банварда Барнум отвечал жалкой имитацией, зато отменно разрекламированной. Банвард выставлял панораму Миссисипи, Барнум показывал панораму Нила, возможно, даже скопированную с панорамы соперника. У Банварда среди экспонатов имелся настоящий скелет «Кардиффского великана»;[54] Барнум демонстрировал подделку.

Борьба не прекращалась все лето; в качестве излюбленных орудий боя соперники избрали эстраду и страницы газет.

Закончилось все это неожиданно быстро. Банвард по уши увяз в долгах: кредиторы настойчиво требовали уплаты, а акционеры пребывали в бешенстве, узнав, что приобретенные акции с самого начала ничего не стоили. И 1 сентября — не прошло и трех месяцев со дня открытия — на дверях Музея Банварда оказался висячий замок.

Банвард отчаянно стремился исправить положение. Месяц спустя здание снова открылось, уже в качестве оперного театра и музея. Последующие полгода спектакли ставили и тут же снимали: разухабистые танцевальные постановки, адаптации *«Нашего общего друга»*[55] и *«Хижины дяди Тома»*. Ни одна не принесла успеха. Будучи не в состоянии придумать что-либо еще, Банвард в конце концов сдал дом в аренду группе антрепренеров, среди которых оказался — возможно, к немалой досаде Банварда — и Барнум.

Следующие десять лет Банвард едва сводил концы с концами, да и то благодаря тому, что тайно присваивал арендные выплаты, причитавшиеся акционерам и другим кредиторам. Поместье на шестидесяти акрах приходило в запустение; Банвард с женой остались единственными его обитателями, сократив прислугу до одного человека. После подлого обращения Банварда с акционерами ни один житель Нью-Йорка не желал финансировать его проекты; Банвард сочинил еще две пьесы, и все только для того, чтобы лишний раз убедиться — ни одного директора театра они не интересуют.

И если платежеспособность Банварда больше не вызывала доверия, еще меньше верили ему как художнику. Вместо того чтобы придумывать новое, он занимался плагиатом: сначала напечатал исторический труд *«Двор и эпоха правления английского короля Георга IV»* (1875), который списал с книги, вышедшей в 1831 году, затем, на следующий год, издал пьесу, благодаря которой вновь открыл свой музей, уже под вывеской «Нового театра на Бродвее». Пьесу *«Коррина, или Сицилийская история»* Банвард не просто украл, а украл у живого и здравствующего современника, чем сильно разозлил того.

Опозоренного Банварда со всех сторон окружали кредиторы, и он лихорадочно подыскивал покупателя на свой театр. Сделал предложение даже Барнуму. Однако тот отправил давнему сопернику уничтожающий ответ: «Ни за что, сэр! Я не приму ваш театр даже даром, если мне придется заниматься им». Когда в 1879 году Банварду наконец удалось сбыть с рук ветшающее здание, он увидел, что новые хозяева добились успеха как раз

там, где у него ничего не вышло. В качестве «Театра Дэли» здание благополучно простояло еще не один десяток лет, пока не было снесено в 1920 году.

А вот замок просуществовал гораздо меньше. Банвард с женой цеплялись за «Гленаду» до последнего, однако в 1883 году, затянутые трясиной банкротства, вынуждены были продать ее. В конце концов замок пал под ударами шара, привязанного к стреле экскаватора, а все имущество пошло в уплату долга. Но панорама Миссисипи избежала аукционных торгов — с годами холст износился, и о картине забыли, посчитав ее ни на что больше не годной.

Банварду с женой к тому времени было далеко за шестьдесят; они остались без каких бы то ни было сбережений. Уложив немногочисленные пожитки, они тихо, без шума покинули Нью-Йорк. Им не оставалось ничего иного, как отправиться туда, откуда Банвард уехал много лет назад: к далеким и безлюдным окраинам страны, к самой ее границе. Банвард возвращался точно таким же, каким уезжал — бедным, никому не известным художником.

Переживший унижения и состарившийся Джон Банвард вернулся в далекий городок Уотертаун, что на территории современной Южной Дакоты. Чета Банвардов, ранее владевшая целым замком, поселилась в доме сына, где им выделили комнату. Юджин Банвард был адвокатом; он проявлял определенный интерес к местным предприятиям общественного пользования, а также строительным проектам, и временами Банвард-старший, вспоминая былое, с удвоенной энергией помогал сыну в работе.

Однако большую часть своего времени Банвард уделял писательству. За свою жизнь ему предстояло сочинить 1700 стихотворений, — столько же, сколько и Эмили Дикинсон, — но, как и она, опубликовал он всего несколько сочинений. В отличие от тех сомнительных пьес и исторических трудов, которые Банвард «приписал» себе, в авторстве его стихотворных произведений сомневаться не приходится, он искренен в своих чувствах, хотя и не отличился особым новаторством. За годы жизни в Уотертауне Банвард под псевдонимом Питер Паллетт[56] написал сотни стихотворений, став первым поэтом штата, чьи сочинения увидели свет. Одно из произведений Банварда, над которым он трудился особенно усердно, было опубликовано в Бостоне в 1880 году под названием «История строительства Иерусалимского храма»; основывалось оно на библейском сюжете о двух братьях, Орне и Аравне. Саму поэму предварял обычный

для того времени зачин — исполненное романтики обращение к читателям:

> Послушайте сказку, чудесную сказку:
> Араб, мой попутчик, что знал их немало,
> Ее рассказал у ключа среди скал,
> А в скалы Сирийское море плескало.
> Луна нам при этом серебряным светом
> Той сказки арабской сюжет навевала.[57]

Заканчивалась поэма перечислением всевозможных деталей архитектуры английских церквей, египетских обелисков, а еще причудливыми умозаключениями о масонских клятвах — предмете, бесконечно интересовавшем автора.

В сфере более практической перу Банварда принадлежит миниатюрное руководство *«Скоропись по системе Банварда»* (1886) — одна из первых книг, вышедших на территории Дакоты.[58] Банвард утверждал, что скорописью по его системе можно овладеть за неделю, и что сам он пользовался ею годами, практикуясь во время поездок на автобусах и паромах, когда тайком записывал разговоры пассажиров. «Автор выучился скорописи именно таким способом, будучи еще молодым человеком… Теперь в его распоряжении множество небольших тетрадок, которые представляют определенную ценность как ежедневная хроника его жизни».

В качестве тренировочных упражнений Банвард поместил в пособие свои собственные стихотворения и афоризмы, например: «Тот кривится при виде шрамов, кто сам никогда не бывал ранен». Банварду же в последние годы здорово доставалось, и не раз, прежде чем его необычное путешествие подошло к концу. Однако несмотря на свой возраст семдесят с лишним лет, художник еще раз заперся в студии, готовясь произвести на свет последний шедевр.

К 1886 году и диорама, и панорама стали развлечениями обыденными, не за горами были волшебные открытия Эдисона в области кинематографа. И если про искусство нельзя было сказать, что оно старело красиво, то же самое было справедливо и для его величайшего подвижника: вдобавок к общей дряхлости, свойственной его возрасту, а также расстроенным финансам Банвард стал хуже видеть. Его зрение и так не отличалось особой остротой с тех пор, как в детстве он неудачно поставил эксперимент. И все же Банвард производил впечатление человека еще очень крепкого. Один современник высказался о Банварде

так: «И в зрелые годы он выглядел бывалым лоцманом, бороздившим воды Миссисипи: коренастым, с крупными чертами лица, густыми темными волосами и окладистой бородой».

И тем не менее семья без энтузиазма восприняла идею Банварда в последний раз устроить гастроли; его дочь позднее вспоминала: «Мать и старшие члены семьи были против,[59] они понимали, что у отца слишком слабое здоровье». И если взрослые не поддержали старого Банварда, можно представить, как утешили его внуки, в чьих глазах патриарх семейства взялся возродить искусство, принесшее ему деньги и славу задолго до их рождения.

Темой диорамы Банвард избрал катастрофу, которую еще помнили на своем веку многие американцы: сожжение Колумбии. 17 февраля 1865 года большая часть столицы Южной Каролины была дотла сожжена войсками генерала Шермана — пожар бушевал весь день. Банвард воспроизвел событие на холсте, и работа вышла великолепная. Она стала словно бы эхом скромных начинаний Банварда, произведя на публику куда более сильное впечатление, чем ранние работы, — Банвард прокручивал диораму и сопровождал показ всевозможными специальными эффектами. Получилось целое представление с одним действующим лицом. До нас дошли воспоминания одного из зрителей:

«В качестве подручных средств Банвард использовал разрисованные холсты, веревки, лебедки, емкости с осветительным маслом, ликоподий, экраны, ширмы и вращающиеся барабаны. Батальоны маршировали, кавалерия стремительно неслась, пушки грохотали, дома вспыхивали, ружья стреляли… весь этот шум сражения сообщал представлению невероятную зрелищность, особенно если учесть, что за все отвечал один человек.

Сейчас пишут о миллионных затратах на производство одного современного фильма, но я вспоминаю захватывающее шоу, устроенное Джоном Банвардом пятьдесят лет назад в Уотертауне за десять долларов, и мне становится стыдно за Голливуд».

Но несмотря на всю зрелищность выступлений Банварда, его времена давно прошли. Дакота не была столь густо населенной территорией, чтобы показы передвижной диорамы окупались, поэтому художнику пришлось свернуть холсты, сложить барабаны и ширмы — раз и навсегда.

Через несколько лет, в 1889 году, умерла Элизабет, жена Банварда. Они прожили вместе более сорока лет; как это часто бывает в долгих браках, один вскоре последовал за другим. Если кому вздумается посетить кладбище в Уотертауне, он увидит скупую надпись и едва ли догадается, что стоит у могилы некогда самого богатого художника

ДЖОН БАНВАРД
*родился* 15 ноября 1815 года
*умер* 16 мая 1891 года

Когда известие о его смерти достигло восточной части страны и Европы, редакторы и авторы газетных и журнальных колонок изумились: как мог этот миллионер умереть без единого пенни, да еще в пустынной глуши? Но попытайся они задать этот вопрос семье Банварда, ответа все равно бы не получили. Сразу после похорон Банварды бежали из города, в котором наделали долгов.

Спешно покидая дом 513 на Нортуэст-Секонд-стрит, они многое побросали, и кредиторы устроили аукционную распродажу. Среди остававшихся вещей Банварда нашли пожелтевший листок бумаги с суммой в 15 долларов 51 цент — счет за похоронную службу его собственного отца, умершего в 1831 году. Молодого Джона всю жизнь преследовала эта смерть отца в полном забвении и последовавшее затем унизительное банкротство. Через шестьдесят лет все еще сжимавшего в руке позорный счет Джона Банварда постигла та же судьба.

А что же его картины?

Первые панорамы, на которых изображались круги ада, а также Венеция и Иерусалим, погибли в кораблекрушении в 1840-х. Несколько панелей с холстами разбросаны по Южной Дакоте; в Музее Робинсона в Пьере выставлены три картины. Еще две находятся в Уотертауне; в Музее наследия Кампеска можно увидеть «Речной пейзаж с Гленадой», а у Мемориального общества Меллетта хранится набросок «трехмильного полотна» — «Лодки в тумане».

Но что случилось с картинами, с этими оригинальными движущимися панорамами, принесшими Банварду славу и богатство? Много лет спустя в интервью один из внуков вспомнил, что в детстве играл на огромных рулонах. Но после смерти старого Банварда они были выставлены на аукцион. В 1948 году Эдит Банвард рассказывала: «Я догадалась, что часть полотна пошла на декорации… оперного театра Уотертауна». Она предположила, что уже после холст могли разрезать на куски и

продать в качестве декораций. За десятилетия показов холст износился, он уже не был той самой движущейся панорамой и более всего напоминал ветошь. Неудивительно, что его дальнейшая судьба оказалась неизвестной.

Однако кое-кто упорно настаивает на том, что шедевры Банварда никогда не покидали Уотертауна. Их якобы разрезали на куски, чтобы утеплить дома — где они и остаются по сию пору, заключенные между стен.

*Перевод О. Дементиевской*

# ИЗВРАЩЕНЕЦ
# Письменные показания капитана Джеффри Дагэна из 418 эскадрильи (заключенный № 573)
# Гейб Хадсон

Меня зовут капитан Дагэн, и я пишу все это по просьбе/требованию доктора Барретт. Она сказала: если я все опишу, ей будет что предъявить доктору Хертцу, своему начальнику. Сам я доктора Хертца не видел ни разу, и мне пришлось поверить доктору Барретт на слово, что доктор Хертц вообще существует в природе. Доктор Барретт сказала: если я не предоставлю им свою версию произошедшего, по закону им придется оставить меня тут, в палате психбольницы базы ВВС имени Холломана, ведь здоровому, сказала она, скрывать нечего, а у сумасшедшего полно тайн. Я ей на это ответил: раз так, я уверен на все сто, что я здоровый. А она пододвинула ко мне лист бумаги и карандаш и сказала: вот и докажите.

Если моя задача — выставить себя с наилучшей стороны, то, наверное, надо начать со вступления, и оно будет вот каким: наш мир вообще странное место, а ко мне он всегда поворачивался самой зловещей и загадочной стороной. И если сейчас вы со мной не согласны, то, когда закончите читать, согласитесь наверняка. Для начала мне важно убедить вас, что мне можно верить — иными словами, я хочу сказать, что я далеко не так глуп, как кажется. Просто я на самом деле совсем не тот, кем выгляжу (и дело не в том, что я маленького роста). Не исключено, что тот же секрет есть и у других людей — в смысле, они кажутся одними, а на самом деле другие. Хотя иногда я об этом забываю, но потом увижу себя в зеркале и думаю: «Ой, Господи, ну почему опять он? Тут какая-то ошибка. — Ну, а потом смиряюсь: — Ну и ладно, черт с ним, пусть будет так. В смысле, не похоже, чтобы у меня была возможность выбирать».

Итак, я сажусь в свой бомбардировщик Ф-117А «Стелс» — я называю его «красавчик» — поднимаюсь в небо и убиваю людей. По крайней мере, убивал — в Персидском заливе, за что и получил «Серебряную звезду», — и не сомневаюсь, что буду убивать еще, когда выйду отсюда. На базе поговаривают, что на очереди Сомали. Это моя профессия, и я стараюсь получать

удовольствие от работы. Я с ревом летаю над землей в черном гладеньком аппарате массового поражения, и я бы серьезно соврал, если бы сказал, что не испытываю большого кайфа, когда сижу в кабине, потому что, когда я в небе, я как будто вылетел прямиком из Божьей головы, божественная мысль, упакованная, как в комиксах, в облачко для божественных мыслей, абсолютно невидимая.

Правда, в тот день, когда в Ираке я грохнулся с небес на землю и разбил «красавчика» посреди пустыни, все было по-другому. Я был военнопленным в самом центре потрепанного военного лагеря, и меня жестоко мучил одноухий человек по прозвищу Мул. Там я уже не чувствовал себя невидимым.

Тут самое время рассказать о моем проклятии. Оно кое-что объяснит. У меня от рождения есть дар. Или проклятие — зависит от того, как посмотреть. Во сне мне иногда приоткрывается будущее. Знаю, что это звучит диковато, но у меня имеется доказательство: три дня назад мне приснился сон, в котором я был в темно-синем платье и красных туфлях на шпильках (именно так я сейчас и одет), я находился в комнате с мягкими стенами, за одну руку я был наручниками прикован к стулу (совсем как сейчас), а другой писал документ, который начинался со слов: «Меня зовут капитан Дагэн, и я пишу все это по просьбе/требованию доктора Барретт». Имеет смысл упомянуть, что сон заканчивался хорошо, потому что в нем доктор Барретт, прочитав показания, свидетельствующие, что я невиновен (именно так я и крикнул, когда почувствовал, как мне в бедро вонзился дротик с транквилизатором, выпущенный служащим военной полиции), разрешила мне вернуться к выполнению своих обязанностей (как поступите и вы, когда закончите читать), потому что пришла к заключению, что если со мной что-то и не так, это просто чрезмерная чувствительность, а вообще я полностью здоров и стал жертвой нелепых, продиктованных мстительностью обвинений моей жены в том, что якобы я какой-то трансвестит-извращенец.

Задание мне предстояло несложное. Заурядный боевой вылет, небо чистое, полет низкий, надо было взорвать несколько нефтеперегонных предприятий к югу от Нахьяба и валить оттуда к чертовой матери. Мы сидели под тентом с капитаном Джибсом и полковником Коури — дело было в Хамис-Мушаибе, — пытаясь спрятаться от зноя, и пили холодное пиво, когда я получил приказ. Помню, как я одним движением опустил руку с пивом и вскочил, а потом стукнул бутылкой по столу, с улыбкой посмотрел на Джибса и Коури и сказал: «Я на минутку, мужики.

Буря в пустыне зовет». Я оседлал «красавчика» и взмыл в бескрайнее аравийское небо. А когда подлетел к нефтяному заводику, то увидел трех иракских солдат, которые подпрыгивали на своих бочках и размахивали белыми тряпками, привязанными к палкам.

Я показал им, что к чему. Я снизился, сбросил на них бомбу GBU-10, и желудок у меня был наполнен таким туманным, мистическим чувством, которое появляется, когда ты убиваешь что-нибудь живое; это чувство совершенно невозможно описать, но должен сказать, что только в такие моменты я не сомневаюсь, что Бог меня видит, это единственный способ заставить Его привстать и обратить на тебя внимание. И вот я летел, греясь в лучах Его взгляда, подо мной дымились развалины, когда непонятно откуда выскочил этот сучий иракский солдат и попытался *убить меня,* вдребезги разнеся мне хвостовую часть крыла.

«Красавчик» скользнул сквозь облака, легко, как электромобиль в парке аттракционов, а я был оглушен. Я чувствовал запах дыма. Рукоятку аварийной посадки заклинило. Я попытался нырнуть и выровняться, но «красавчик» весь заходил ходуном, и я стал падать, я полетел на землю, как комета, в ужасе не отводя глаз от дисплея. Гигантские желтые челюсти пустыни вздыбились, а потом широко распахнулись и проглотили меня целиком.

Когда я очнулся, то понял, что привязан к стулу, а над головой у меня висит электрическая лампочка. Сквозь бамбуковые стены пробивались полосы света. Поморгав, я увидел, что сижу в маленькой лачуге, а со мной — несколько иракских солдат. Это место я стал называть про себя «хижина». В ней пахло страхом. Солдаты курили, хохотали, а один из них, вытянув руки перед собой, стискивал пальцами воздух, как будто там женские груди. Наконец солдат, стискивавший воздух, услыхал мои стоны, посмотрел в мою сторону, а потом сунул два пальца в рот и громко свистнул в крохотное окошко в двери. Дверь распахнулась, и прямо ко мне направился маленький одноухий человек и врезал мне палкой по подбородку. От удара челюсть мгновенно вывихнулась, а я вместе со стулом полетел на пол. Сквозь звон, стоявший у меня в голове, я услышал их смех, а потом одноухий сказал: «Привет. Меня зовут Мул. У меня к тебе есть пара вопросов. А ты на них ответишь, правда?»

Я задыхался. Ощущение было такое, будто от удара рот влетел в лоб, и, когда я попытался что-то сказать, у меня раздвинулась макушка. Я медленно пополз вперед на

четвереньках, смутно чувствуя, что солдаты равнодушно наблюдают за моими усилиями; я услышал, как один из них хохотнул и сказал: «Американос». Наконец я с силой прижался подбородком к стене, и — щелк — с таким звуком, как будто спустился затвор фотоаппарата, челюсть встала на место, а по позвоночнику прокатились волны облегчения. Это чувство — чувство облегчения — с тех пор никогда не покидало меня. Поэтому, когда через два часа Мул врезал мне по челюсти, кажется, уже в сотый раз, я был почти благодарен. Почти, но не совсем.

Я просто выплюнул несколько зубов.

Все, что происходило начиная с этого момента, расплылось у меня в одно большое пятно. От боли я запомнил только отдельные картинки, вспышки, запахи, а под конец — вкус крови во рту. Мул хотел записать со мной пропагандистское видео.

— Если ты хочешь еще раз увидеться с семьей, — сказал Мул.

— Я прошу совсем немного. Станешь кинозвездой, — сказал Мул.

— У меня скоро лопнет терпение, капитан Дагэн, — сказал Мул.

— По-моему, тебе больно, капитан Дагэн, — сказал Мул.

Я ничего не отвечал. Я держал рот на замке, но не из патриотизма — сказать по правде, никогда еще мне не было настолько плевать на свою страну, как тогда, — просто я понимал, что если послушаюсь, если запишусь на кассету, то потом уже не понадоблюсь им, и они меня прикончат.

Мул вытащил ручную электродрель «крафтсман», из тех, что продают в «Сиэрз». В мозгу у меня опять прояснилось. Мул несколько раз нажал на пуск, и дрель завизжала. Потом он подошел ко мне вплотную и приставил сверло к моему затылку.

— Может быть, теперь запишешься на видео?

Я посмотрел на него.

— Пожалуйста, не надо, — сказал я.

Мул улыбнулся.

— Все в твоих руках, капитан Дагэн.

— Пожалуйста, — сказал я. — Не надо.

Потом я почувствовал, как сверло с силой уперлось мне в череп. Было очень тихо, и я видел все, хотя мои глаза были закрыты. Видел все волоски в носу у Мула. Видел трех солдат — теперь они стояли за дверью хижины. Один из них двигал бедрами взад-вперед, как будто кого-то трахал. Другие двое смеялись. В небе парил стервятник. Потом я увидел, как указательный палец Мула медленно вжимается в оранжевый пластмассовый рычажок, жужжание оглушило меня, и я

почувствовал, что сверло давит и прорывает мой скальп.

Нетрудно догадаться, что свои пророческие сны я не всегда переживал легко. Я никогда никому про них не рассказывал — ни своей жене, миссис Дагэн, ни тем более своей дочери Либби, пока она еще была жива, пусть земля будет ей пухом. Конечно, и то, что мне снилось, не всегда меня радовало (порой будущее бывает не слишком радужным), но самым скверным было чувство вины. Господи Боже. Ох, это чувство вины. Как будто все натворил я сам. В смысле, в конце концов мне начинало казаться, будто всякая дрянь произошла *именно потому,* что сначала я увидел ее во сне, как тогда, когда на моего соседа Гордона кинулся его собственный пес и откусил ему большой палец на руке. Да, это правда, я всегда терпеть не мог Гордона, потому что в прошлом году, когда мы устроили с соседями шашлыки, он напился в стельку, на глазах у всех схватил мою жену за правую грудь и сказал: «Тук-тук», а она, тоже пьяная, кокетливо улыбнулась и ответила: «Кто там?» — и все это, конечно, было невероятно оскорбительно для меня, но это не имеет никакого отношения к делу, ведь я совершенно не желал Гордону остаться без пальца. Но я видел это во сне. А потом сон сбылся, и вот вы мне скажите, как мне было не почувствовать себя чуть-чуть виноватым?

Всего Мул проделал у меня в голове шесть дырок диаметром в четверть дюйма. Я смутно понимал, что к чему. Помню, что когда все кончилось, я смотрел на него как сквозь туманную дымку, а Мул улыбнулся и сказал: «Ты очень упрямый человек, капитан Дагэн». Я чувствовал: кажется, он приковывает меня наручниками за ноги к столбу в центре комнаты. Потом Мул сказал: «Может быть, ты умрешь. Может быть, нет. Но если не умрешь, то сильно проголодаешься. И не исключено, что, когда ты проголодаешься… да, не исключено, что тогда ты запишешься на видео. А пока до свидания, капитан Дагэн», — и исчез за дверью.

После этого все быстро покатилось под откос. Я остался один на один со своим безумием. Вы уже слышали подобное тысячу раз. Я имею в виду истории про военнопленных. Я спустился в ад и снова вернулся в свой разум. Я потерял надежду. Моя душа стала розовым червяком, которому в брюхо вонзили крючок, и я стал ждать, когда из тьмы приплывет ангел смерти и проглотит мою душу.

Таким был первый день.

Второй день был хуже. На второй день я стал слышать голос своей тринадцатилетней дочери Либби. Я понимал, что это

галлюцинация, но все-таки слышал. Я сидел, прислонившись к стене, и вокруг моей головы с жужжанием летали мухи. Я слышал, как голос Либби говорит: «Лейтенант Джефф Дагэн, с тобой говорит твоя дочь. Соберись. Ты должен выбраться отсюда. Да, это правда, дела идут скверно, но я пришла, чтобы помочь тебе. Ты лейтенант ВВС США, и ты на войне, а значит нельзя падать духом. Немного смекалки — и ты окажешься на свободе».

Тут я понял, что голос Либби звучит не у меня в голове. Я поднял глаза и увидел ее — у двери, спиной к ней, стояла Либби. Точнее, что-то расплывчатое и похожее на Либби. Ее окружали лучи белой энергии. Она была хорошо одета — в красивых кожаных туфельках, бело-желтых чулочках и зеленой кашемировой водолазке. Носик у нее, как всегда, был маленьким.

Я был в возмущении от того, что мой разум вытворяет такие идиотские трюки. «Издеваешься? — спросил я. — Это что, шутка?»

— Нет, папа. Это я, Либби.

Я не знал, что говорить.

— Ну, допустим, — сказал я. — А почему ты вся идешь волнами?

— А вот почему, — сказала она и объяснила мне все. Она сказала, что умерла. Она рассказала, как Джо по прозвищу Дымок, ее сиамский кот, выскочил на улицу перед красным «шевроле», и как она спасла Дымка, но, спасая его, сама попала под машину и погибла. Когда она закончила, заговорил я.

— Чушь. Неужели ты думаешь, что я в это поверю? — я стал стучать себя кулаком по голове. — Эй, послушай! Послушай! Я знаю, что ты здесь, у меня в мозгах. Я знаю, что это твои штучки. Я ожидал от тебя большего. Прекрати немедленно.

По лицу Либби было видно, что она не одобряет моего цинизма. Она нахмурилась и закусила нижнюю губку.

— Ну пойми. На самом деле тебя нет. Ты — галлюцинация, результат шока. Уходи, прошу тебя. Я так больше не могу.

— Не надо. Я пришла, чтобы помочь тебе, папа, — сказала она. — Мы должны вытащить тебя отсюда. Нельзя, чтобы мама потеряла нас обоих.

Я почувствовал, что начинаю звереть.

— Вот именно. Слушай, ты, черт возьми, кем бы ты ни была, ты начинаешь меня серьезно злить.

— Тсссс. Пока хватит. У нас нет времени. Сейчас мне надо идти, но завтра я вернусь и помогу тебе убежать.

С этими словами Либби повернулась, шагнула в стену и исчезла.

На следующее утро я проснулся от того, что кто-то пнул меня по лодыжке.

— А ну проснись. Ты что? Отдыхаешь?

Я открыл глаза и увидел Либби. Вид у нее был крайне сосредоточенный.

— Значит так, — сказала она. — Я кое-что разведала и подслушала их разговоры. Дела идут совсем скверно. Думаю, они планируют какую-то вылазку. Главарь у них настоящий псих. Поверь мне, с ним лучше не связываться.

— Ой, боюсь-боюсь, — сказал я. И указал на свою голову. — У меня в башке просверлили шесть дырок, и теперь плод моего воображения объясняет мне, что у меня неприятности. Очень интересно. Что ты можешь сказать о моих неприятностях такого, чего я сам не знаю?

— Папа, они хотят повесить тебя во дворе прямо сегодня. Немедленно. Тебя и еще одного пилота, которого они поймали. Они хотят устроить демонстрацию, чтобы поднять боевой дух перед вылазкой, — сказала она.

— Я тебе уже сказал. На самом деле тебя нет. — Я закрыл глаза руками. — Я тебя не вижу.

Но она продолжала:

— Итак. Вот что ты должен сделать. Они могут прийти за тобой в любую секунду. Мы должны поторопиться. Сейчас я сниму с тебя наручники. Ты согнешься, как будто тебе больно. Потом выхватишь у охранника пистолет и стукнешь этим пистолетом его по голове.

И вдруг я застыл. Потому что это была правда: я слышал, как с той стороны двери звенит ключами охранник. Во рту у меня пересохло.

Через две секунды вошел охранник, а я лежал, согнувшись пополам и делая вид, что мне больно.

— Боже, господи боже мой, — стонал я.

Еще один случай произошел, когда мне было девять. Тот сон был намного более смутным, чем остальные, и все-таки я проснулся тогда посреди ночи весь в поту и, хоть и не мог понять, в чем дело, но знал, что моей маме грозит опасность. А назавтра вечером, перед самым ужином, я смотрел, как мама режет морковку на доске, и ни капли не удивился, когда она подняла на меня глаза, чтобы велеть мне накрывать на стол, и отрезала себе указательный палец. Мы ехали в больницу на скорой помощи, а я все время всхлипывал: «Прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста».

Но самый неприятный сон приснился мне за две недели до

вылета в Саудовскую Аравию на войну в Заливе. Даже сейчас мне очень тяжело рассказывать о нем. Сон был динамичным и простым. Моя тринадцатилетняя дочка Либби выскакивала на проезжую часть, и ее насмерть сбивал красный «шевроле», когда она пыталась прогнать с дороги своего сиамского кота Джо по прозвищу Дымок — полное имя Дымок Джо, Лучший Котяра На Свете.

Теперь вы понимаете. Во всех этих событиях — и с Гордоном, и с мамой, и с Либби — была одна общая деталь. Все они совершались в моих снах перед тем, как происходили в реальности.

Когда я выскочил из дверей хижины, мои глаза едва не взорвались от солнечного света, но потом зрачки сузились, и я помчался к «красавчику». Когда я бежал к самолету, то с ужасом заметил капитана Джибса — он был повешен на веревке посреди двора. Его окружили солдаты, они стояли спиной ко мне, они издевались над Джибсом, швыряли камни, харкали в него. Добравшись до «красавчика», я залез под сиденье и увидел, что все мое оборудование лежит там нетронутым. Я набросил на себя бронежилет. Когда я рылся в рюкзаке, то услыхал крик и поднял глаза. Там, в дверях хижины, стоял охранник, потирая затылок. Он что-то кричал по-арабски и показывал пальцем на меня. Компания, окружившая Джибса, обернулась и посмотрела в мою сторону. На секунду воцарилась тишина, а потом, едва разглядев меня, они заорали, завопили, понеслись.

Взвыла сирена. Залаяли собаки.

Я взял девятимиллиметровую «беретту» охранника, выскочил из «красавчика» и помчался к стоящему пустым танку М-60, я отстреливался во все стороны, и два человека упало. Запрыгнул на борт танка и соскочил с него, скакнул вперед, мимо летящих пуль. Я увидел раненого, который лежал на земле и пытался что-то снять с пояса. Я застрелил его.

Я прыгнул, широко разведя ноги, и оказался на спине верблюда, заорал: «Хайааа!» — и поскакал на нем, стремительно и дерзко, прямо в гущу пуль и иракских солдат. У меня на пути возник Мул, и верблюд замедлил шаг и остановился. «Это очень глупо, капитан Дагэн», — произнес Мул и бросил осколочную гранату. Граната была в воздухе, когда я сорвал с себя бронежилет и накрыл им морду верблюда. Граната взорвалась, но осколки отскочили от бронежилета. Думаю, в этот момент верблюд понял, что я его союзник. Я заорал: «Ну помоги же мне!» — верблюд рванул вперед и сшиб Мула головой.

И в этот момент, когда я смотрел сверху вниз на Мула,

распростертого на земле, я почувствовал очень странное ощущение у себя в пупке. Было такое чувство, словно пупок разболтался. Очень необычное чувство. Я опустил руку, чтобы дотронуться до пупка, и нащупал в животе дырку размером с серебряный доллар. Мой указательный палец исчез в этой дырке, но крови там не было. Просто дырка — и все. И тогда я потерял сознание.

Когда я пришел в себя, верблюд галопом несся через пустыню. Я слышал звук, который разбудил меня, — мерное постукивание верблюжьих копыт по дну пустыни. Грудью я бился об верблюжий горб. Солнце только начало вставать, и кроваво-красные разводы разлились по линии горизонта, словно кто-то положил солнце в соковыжималку, а с другой стороны на небе висела серебряная-серебряная луна. Я обернулся и увидел, что иракский лагерь превратился в крохотную точку на горизонте. «Слава богу, — сказал я. — Я ведь там едва не погиб». Но как только мои губы пробормотали эти слова, я понял, что не имею ни малейшего понятия о том, кто я такой. Меня охватила паника. Я не мог вспомнить, даже как оказался в этой пустыне. Я задал себе вопрос.

С чего надо начинать, когда собираешься думать?

Ответа у меня не было.

Сердце увеличило громкость на пару децибелов. Но все-таки я не остановился, я ехал вперед и обмозговывал свой вопрос, насколько хватало сил, но потом вдруг мозг устал думать, поэтому я решил: пока память ко мне не вернется, надо быть проще. Лучшее, до чего я додумался, сводилось к следующему: ты — человек. Ты живой. Ты едешь на верблюде.

Так я и ехал через пустыню на верблюде, у которого не было имени.

Я ехал, один день сменялся другим, и тот сменялся новым, а у меня не было ни еды, ни питья. Я не знал, куда я еду, но даже не задумывался об этом. Солнце, этот величественный огненный шар, вставало и заходило, вставало и заходило, вставало и заходило больше раз, чем я мог сосчитать. Я смотрел на свою изможденную тень, отплясывающую бессмысленный танец на песке, я смотрел на горизонт.

Один раз налетела огромной кляксой сумасшедшая песчаная буря и сожрала мою военную форму прямо на мне. Все это время я держал глаза закрытыми. Буря пришла и ушла. Я остался совершенно голым. Верблюд продолжал нестись, словно бежал с кем-то наперегонки.

Потом однажды я поднял глаза и увидел впереди пальму и

оазис с чистой голубой водой. Вода светилась посреди зноя. За этот день мой верблюд несколько раз споткнулся, и я понимал, что жить ему осталось недолго. Я подумал, не забросить ли его на плечи и понести самому, но потом отказался от этой затеи. Мне так хотелось пить, что язык во рту был как скомканный лист бумаги. Я встряхнул головой и взглянул еще раз, чтобы убедиться, что это не шутка, которую сыграл со мной разум. При виде воды верблюд с новым рвением набрал скорость. Он пустился галопом. Это был удивительный верблюд. У него было золотое сердце. «Давай, малыш! Давай!» — заорал я, и крик вылетел из меня шепотом. Мы были все ближе и ближе. Я попытался улыбнуться, но в губах у меня не осталось никакой силы.

А потом верблюд зашатался, споткнулся и рухнул мордой в землю, а я полетел вперед, по воздуху, прямо на кромку оазиса. Я вонзился коленями в песок. Верблюд лежал на земле, перебирая ногами, как новорожденный жеребенок, пытаясь снова встать на ноги. Он был великолепен. Он был трагичен. У меня было ощущение, словно в этих его усилиях мне приоткрывается величайшая тайна вселенной. Потом он испустил жуткое «Харррумпппп», и его душа отлетела в иной мир.

Я назвал верблюда Бренди.

Я знаю, о чем вы подумали: какой смысл называть существо после смерти. Я отвечу: сам не знаю. Но я его назвал.

Вода была похожа на стеклянное блюдце. Думаю, за всю жизнь не видел ничего прекраснее этого оазиса. Окунувшись в воду, я почувствовал, что недели агонии и страха сходят с меня, как скверный одеколон. Я очистился.

Прошло еще несколько дней. Это было время радости. Ничего подобного я раньше не испытывал. Я ел кокосы с деревьев. Я не понимал, что со мной происходит, но когда я смотрел на свое отражение в воде, то думал: «А ты могла бы быть хорошенькой». Я отпустил длинные волосы. Я накрасил губы помадой, которую сделал из древесного сока. Почти все время я проводил, рассматривая свое отражение в воде. Я соорудил хижину из пальмовых листьев. Я сделал себе купальник.

Один день сменялся другим.

И вот наконец я подумал: «Все, хватит. Какая разница, кто я на самом деле, в любви нуждаются все. Разыскать людей — мысль, в любом случае, неплохая». И я отправился в путь. Я шел несколько столетий. Я обернулся, посмотрел и увидел, что следы от моих шагов тянутся, насколько хватает взгляда. Вся пустыня разостлалась передо мной. А однажды пошел снег. Прямо в пустыне. Я знаю, это звучит глупо, но там действительно пошел

снег. И мне стало так легко от того, что зной отступил, что я носился и, высунув язык, ловил снежинки. Я слепил снеговика и назвал его Берт. Я пожал снеговику руку и сказал: «Здравствуй, Берт», — но от моего рукопожатия у Берта отломилась рука. Почему отломилась рука у Берта, а не у меня? Я громко засмеялся, потому что был очень благодарен судьбе за то, что у меня по-прежнему есть две руки. Никогда в жизни я не смеялся так громко. Я смеялся так громко, что едва не поперхнулся собственной бородой. Мне показалось, что снеговик смеется тоже, но на самом деле Берт сказал: «Ладно. Так и быть. Тебя зовут лейтенант Дагэн. Это первая подсказка. Тебя ищут. Иди за мной. Я отведу тебя на твою базу».

Берт полностью сдержал слово.

В общем, выяснилось, что я блуждал по пустыне шесть месяцев. Вернувшись в Хамис-Мушаит, я прошел реабилитацию, что оказалось очень кстати, ведь я и правда порядком вымотался. Я проспал трое суток. Но лишь потом, когда я, проснувшись, позвонил жене, и она рассказала, что шесть месяцев назад Либби сбил красный «шевроле», — лишь тогда воспоминания потоком полились в мой разум. Ведь именно в тот момент я вспомнил, как призрак Либби явился мне и помог бежать из плена, в этот момент я понял, что на самом деле произошло там и что случилось с моим пупком.

Папа не хотел, чтобы я умирала, поэтому он выпрыгнул из своего тела и запихнул туда меня — ему хотелось, чтобы я жила. Папа не смог пережить чувства вины. Вот почему вместо пупка была дырка. Тогда он как раз выходил из своего тела и засовывал туда меня. Вот как сильно любил меня папа.

Итак, это я, Либби. Я тринадцатилетняя девочка, которая обитает в теле капитана ВВС. Другого выхода не было. Никому из тех, с кем мне приходится сталкиваться, я не говорила, кто я такая на самом деле. Я веду себя, как и положено пилоту ВВС, я хожу на службу на базе имени Холломана и совершаю тренировочные полеты на «красавчике». Оказывается, быть пилотом ВВС не так уж сложно, тем более что папино тело помнит, как что делать, и все получается легче легкого. Как я уже писала, когда я в кабине, я как будто вылетела прямиком из Божьей головы, божественная мысль, упакованная, как в комиксах, в облачко для божественных мыслей, абсолютно невидимая. Иногда мне бывает жалко маму, потому что она не знает правды, а рассказать ей я не могу. Да если бы и рассказала, все равно мама не поверила бы. Это просто причинило бы ей ненужную боль.

Когда я вернулась на базу имени Холломана, меня наградили «Серебряной звездой» и повысили в звании до капитана. Потом, в первый же день дома, мама повезла меня на кладбище, чтобы я побывала на своей могиле — точнее, могиле, в которой похоронено мое прежнее тело. Чтобы не огорчать маму, я выдавила из себя слезу. Место там красивое. Рядом — дуб, на котором сидела ворона. На надгробном камне написано: «Либби Дагэн, любимой дочери. Она была слишком прекрасна для этого мира». Конечно, иногда по ночам в постели мама пытается вести себя плохо, но я ее отталкиваю. Она думает, что это из-за того, что мне грустно, и пытается разговаривать. Она говорит: «Я знаю, что тебя мучит. Но мы сумеем справиться. Либби на небесах. Жизнь слишком прекрасна, чтобы унывать. И, кроме того, друг у друга остались мы». Но недавно она совсем взбесилась. Громко плачет и говорит, что цветок у нее внутри засыхает. А я всегда перевожу разговор на другую тему, потому что мне становится смешно. Или я вылезаю из постели, выхожу на крыльцо и выкуриваю сигарету.

Джо Дымок — единственный, кто знал правду. Он ходил за мной по пятам, терся об ноги и прыгал на колени при любой возможности. Я думаю, он был благодарен мне за то, что я спасла его. Конечно, я тоже очень рада была его видеть, но все-таки он доставил мне большие неприятности. Ведь когда мама приходила домой и видела, что Дымок лежит у меня на груди, она говорила: «Это же бред какой-то, Джефф! Я думала, Джо ненавидит тебя, Джефф. А с тех пор, как ты вернулся, он не оставляет тебя ни на секунду». Тогда я стала подозревать, что мама раскрыла мою тайну. Слишком уж странно она косилась на меня, когда я повязывала Джо бантики на хвосте или кормила его «печеночным угощением». Клубок стал распутываться. Мой обман вот-вот мог вскрыться. По ночам мне не удавалось уснуть, а когда я смотрела на ножки кровати, то видела, что там лежит Дымок, смотрит на меня и мурчит. Так что неудивительно, что одним ясным и прохладным утром я случайно переехала Дымка своим «фордом-бронко» на подъезде к дому.

А в остальном все шло хорошо, и иногда, когда мама все еще была на работе, я возвращалась с базы пораньше, запирала все двери, задергивала все шторы и снимала трубки со всех телефонов. Потом я залезала в самую глубь кладовки, где в мусорном пакете у меня хранится кое-что, чего я не хочу показывать больше никому. Я подвязывала пипиську, чтобы она не болталась, и надевала трусики в цветочек. Я залезала в одно из маминых платьев, густо мазалась губной помадой и тенями для век и любовалась на себя в большом зеркале в гостиной. Иногда я

воображала, что иду на королевский бал, и тогда надевала длинные белые перчатки по локоть. Я делала реверанс, а потом изысканно-красиво говорила: «А вы как поживаете? Сегодня вечером вы выглядите просто прелестно, дорогая. Чаю? Да, будьте любезны. Благодарю вас, вы так милы».

Именно это я делала и сегодня, но мама вернулась домой с работы слишком рано и, войдя в дом, пошла прямо на меня, держа в руках видеокамеру. Когда я увидела, что мама заходит через переднюю дверь, я побежала прятаться и юркнула в кладовку. Думаю, она меня заметила, потому что она подбежала к кладовке, стала стучать кулаками и кричать: «Джефф, я знаю, что ты там. Я все знаю уже несколько недель. Не надо больше ничего скрывать, Джефф. На этот раз я сняла тебя на видео. Нам надо поговорить!»

Да, мне стало не по себе, когда она вот так молотила в дверь. Я попыталась придумать, как бы выкрутиться, чтобы при этом никого не расстроить и чтобы никто не узнал больше, чем ему полагается знать. Мой разум пылал. Но теперь-то, доктор Барретт, вы наконец поняли, что я не сумасшедшая, теперь-то вы поняли! Обязательно расскажите об этом и доктору Херцу тоже. Обязательно попросите его прочитать все, что я написала, все до последнего слова. А еще теперь вы наверняка поняли смысл моего вступления: наш мир вообще странное место, а ко мне он всегда поворачивался самой зловещей и загадочной стороной. И вот, сидя в кладовке, я решила убежать. Я собиралась распахнуть дверь, добежать до своего «бронко» и скрыться, пока мама не успела меня увидеть. Но я не знала, что мама догадается, что именно это я и собираюсь сделать. Я не знала, что мама уже позвала вас. Я не знала, что, когда выскочу из кладовки и помчусь по лужайке, меня уже будет ждать военная полиция с транквилизаторами. Я не знала.

*Перевод Е. Кулешова*

# ДЕВЧОНКА С ЧЕЛКОЙ
## Зэди Смит

Однажды я влюбилась в девчонку. Теперь это уже в далеком прошлом. У нее была челочка. Мне тогда едва стукнуло двадцать, голова полнилась мешаниной из разных дурацких идей. Я верила, к примеру, что однажды повстречаю какую-нибудь милую цыпочку, полюблю ее (может, даже женюсь) и при этом не стану ей ничего запрещать — пусть спит с другими парнями и девчонками, причем все это без лишнего шума и слез, проще некуда. Я полагала, что большинство окружающих — зануды, их не расшевелить, хоть ты тресни; признаки их серости и занудства сразу бросались в глаза (одежда, прическа), и игнорировать их было невозможно, они виднелись на просвет, как водяные знаки. Я часто размышляла и на другие пустые темы: о гибели одних вещей (социализма, музыкальных стилей, стариков) и о будущем других (фильмов, обуви, поэзии), — теперь не вижу смысла утомлять вас этой ерундой. Единственным стоящим во всей белиберде, с которой я носилась в те дни, единственным, идущим из глубины, из самого нутра, было чувство, что девчонка с пушистой черной челкой, падающей на глаза цвета бутылочек «Перье», — появилась в моей жизни к лучшему. Вы бы посмотрели, как она откидывала челку со лба, приглаживала волосы на макушке, а в следующую секунду они снова падали на лицо! Прекрасное, в самом деле прекрасное сочетание формы и содержания, вот так же вы обычно думаете о вишне (знаете, есть поговорка, что жизнь похожа на миску с вишней; а она была сладкой ягодкой), пока однажды косточка не попадет вам в дыхательное горло. Я верила, что Шарлотта Гривз со своей челкой появилась в моей жизни к лучшему. Но оказалось, что нет, определенно к худшему, ведь не прошло и восьми месяцев, как она захватила меня с потрохами; это сродни многократно проверенному факту: даже самый умненький ребенок не желает расставаться с игрушкой, которую собрал сам. Я никогда до этого не встречалась с девушкой, и с ее появлением появились и проблемы, каких никогда не бывает с парнями, потому что с парнями всегда можно составить список плюсов и минусов и рассмотреть ситуацию рационально, со всех сторон. С Шарлоттой всегда можно составить список минусов, длинный, как дорога отсюда до Азербайджана, а в колонке плюсов будет один-единственный пункт, «ее челка», и он перевесит все контраргументы. Парни — они всегда всего лишь парни, а

девчонки порой *действительно кажутся* только поворотом бледного запястья, округлостью бедра или прядкой темных волос, упавшей на веснушчатый лоб. Я не говорю, что они действительно таковы. Говорю только, что иногда так кажется, и все эти детали (родинка на ноге, румянец во всю щеку, шрам размером и формой как орешек кешью) будто крючки, на которые так легко попасться. В данном случае наживкой была длинная челка, шелковистая и выразительная; занавес, скрывавший лицо, ради одного взгляда на которое не жалко было целый день давиться в очереди. У каждой женщины есть закулисье, конечно, конечно. Похожее на лабиринт со множеством комнат, бесспорно, бесспорно. Но вас это не пугает, вы все равно приходите посмотреть на представление, лишь это я и хочу сказать.

Когда я впервые увидела ее, она встречалась с бельгийцем, который жил в нашей общаге через коридор от меня. Я заметила, как она возится в общей ванной, где всегда царил бардак — во всех смыслах, грязно и не прибрано — ее футболка была заправлена в трусы, изо рта торчала сигарета, на губах — остатки зубной пасты или эликсира, а главное — эти лезущие в глаза волосы. Трудно было понять, почему этот бельгиец, Морис, вообще стал с ней встречаться. У него, у Мориса, был такой великосветский акцент, такой нарочитый французский, французистее некуда, форма подбородка — и та по последней моде, и вообще, если бы у вас был список всех возможных обаятельных черт и нужно было оценить Мориса, то пришлось бы ставить галочки напротив каждого пункта. Морис умел производить впечатление. Шарлотта же была из тех женщин, у которых всего два лифчика, и оба серые. Но через некоторое время, если приглядеться повнимательнее, вы начинали замечать, что у нее такой вид, будто она только что встала с постели, причем неважно, в какое время дня вы с ней столкнулись (у нее была особая манера ходьбы, она никогда не смотрела, куда идет, поэтому столкновения были неизбежны), и это ее свойство, если поместить его в таблицу «КАЧЕСТВА, КОТОРЫМИ НАДЕЛЕНЫ НЕКОТОРЫЕ ДЕВЧОНКИ», можно было бы занести в графу «ЗАСПАННЫЕ ГЛАЗА» или «ТАКОЙ ВИД, СЛОВНО ОНА ВСЕГДА ДУМАЕТ О СЕКСЕ». Такое впечатление, будто она вечно, спотыкаясь, шла от кого-то еще к тебе. Неуклюжая фигурка, широкая улыбка, руки раскинуты в стороны, вместо одежды какое-то рванье, а на заднем плане — дымящиеся руины. Наверное, я пересмотрела слишком много фильмов. Но все равно: вот, допустим, вам из окна третьего этажа кидают сверток с ценными вещами, кое-как замотанными в одеяло, выбранными

хозяином случайно, наугад и выброшенными в спешке из горящего здания; их швыряют прямо в вас; он может вас задеть, этот сверток; но гляньте-ка! Вы его помяли! Он слегка помятый, но в целом в порядке. Теперь можно и посмотреть, что вы спасли! (Вы меня поймете, я знаю. Именно такое чувство и возникает. И вообще зачем еще нужны метафоры, как не для описания женщин?)

Потом пошли слухи, что этому Морису предложили высокооплачиваемую должность в новостной программе на ТВ — его отправляли работать корреспондентом в Таиланд. Он разрывался на части, взвешивал варианты: с одной стороны Шарлотта, с другой — деньги. В результате он заявил, что не уедет, пока она не пообещает его дождаться. Она дала ему обещание, а он все не возвращался и не возвращался, и тут-то на сцене появилась я. Не прямо сразу — я не ворую чужое, — а постепенно: садясь рядом с ней в читальном зале библиотеки и глядя, как упрямые волосы мешают ей заниматься. Располагаясь возле нее за обедом и наблюдая, как прядки волос мотаются туда и (по-моему) сюда, а мимо снует со своими подносами народ. Заводя знакомства с ее друзьями, а потом и с ней самой; подпуская столько комплиментов Морису, сколько возможно. Я стала парнем на замену. Я стояла под окном, в ожидании вытянув руки. Я пускалась на все те старые хитрости, которые обычно проделывают парни. Эти трюки вовсе не такие уж сложные, как внушают вам некоторые ребята, но все они требуют времени и срабатывают только при накоплении эффекта. Иногда на вас накатывает отчаяние, и вы думаете: «Да кончится ли это когда-нибудь?!» Но потом, как правило, без всякого предупреждения, вложенные усилия вдруг вознаграждаются. С Шарлоттой так и произошло: однажды она зашла выпить травяного чаю, я скрутила косяк, потом другой, и вскоре она свернулась калачиком у меня на коленях, вся мягкая и бескостная, словно моллюск, а я запустила пальцы в ее челку, стала перебирать прядки — так все и началось.

Когда мы уединялись, это чаще всего происходило в ее комнате. В самом начале романа вам даже не хочется выходить на улицу. Эта ее комната напоминала кокон из грязи, по щиколотку всякого мусора; это была комната такого сорта, в которую попадают, как в западню, и потом не могут выбраться. Настенных часов там не было, а мои наручные канули в бездну хлама; мы проводили время среди разложения: гниющих фруктов, размножающихся бактерий, растущего уровня окурков в вазе,

которая служила нам пепельницей. Времени было — гнилое яблоко с четвертью. Третья суббота месяца нашего затворничества. Весь этот антураж был неприятен и утомлял. И она оказалась вовсе не интеллектуалкой; с книгами, которые я ей давала, она обращалась, как ребенок обращается с рождественским подарком: краткие восторги, а потом скука и забвение; к концу недели книга уже валялась где-нибудь в дальнем углу, погружаясь в пучину мусора; через несколько недель, когда мы занимались любовью, я обнаружила, что корешок одного романа упирается мне в поясницу, а о страницы другого я порезала пальцы ног. Постель как таковая отсутствовала. Ее заменял участок пола, который был самую малость почище остального пространства. (Но постойте! Вот она падает, выгибаясь немыслимой дугой, а вот я — осторожно передвигаюсь и оказываюсь как раз в нужном месте, под окном, и снова она — приземляется, и ничего не сломано; я даже поверить не могу в свою удачу. Ну, вы меня понимаете. Одного взгляда на ее челку было достаточно, чтобы все раздражение улетучилось.)

И снова повторюсь: знаю, что это звучит глупо, но давайте не будем забывать про челку. Давайте не будем забывать, что после ссоры, после настоящего соревнования «кто кого перекричит» она могла так поглядеть на меня из-за завесы слипшихся от пота волос, что я сразу сдавалась. «Да, можешь оставить перевернутый горшок с цветком там, где лежит. Да, Руссо и впрямь форменный придурок, раз ты так считаешь». Вот, значит, каково это — быть парнем. Улица, мостовая и распростертые руки, обнимающие воздух. И нет ничего такого, чего вы не могли бы совершить.

У Шарлотты близились экзамены. Я умоляла ее пройтись по программе еще разок и выработать хоть какую-нибудь стратегию атаки, но она хотела делать все по-своему. «По-своему» значит перечитывать всего две книжки: «Общественный договор» Руссо и «Республику» Платона (у Шарлотты была тема о людях, о том, как они организуют свою жизнь, или как это было раньше, или как это должно выглядеть в идеале — я уже не помню; эта тема даже как-то формулировалась, но названия я тоже не помню) — она читала их снова и снова, расположившись в комнате для занятий, в тихом уголке колледжа. Эта комната предназначалась для общего пользования, но как только там обосновалась Шарлотта, все остальные постепенно исчезли. Помню, один немецкий выпускник защищал свои позиции особенно долго, около месяца; он регулярно прочищал горло и демонстративно подбирал оброненные Шарлоттой вещи — но она одолела и его. По всему полу валялись Шарлоттины записи, на каждом столе — остатки

ее обедов, на каждом стуле — ее и моя одежда (теперь наши вещи сделались неразличимы). В баре ко мне подходили люди и говорили: «Слушай, Шарлотта сделала то-то и то-то. Ради всего святого, постарайся, чтобы она больше так не делала. Ладно?» — и я старалась, но челка Шарлотты помогала ей оставаться в своем, Шарлоттином мире, она едва ли меня слышала. А теперь, прежде чем мы двинемся дальше, пожалуйста, скажите мне вот что. Скажите, случалось ли вам, стоя под окном, поймать сверток всякого бесполезного дерьмища? Золотое покрытие, которое отходит, стоит только потереть; фальшивые автографы; ничего не стоящие безделушки. Случалось, а? Может, наживка была другая — не челка, а глубокие ямочки по обе стороны от улыбки или необычайно яркий цвет глаз. Или еще какая-то телесная характеристика (волосы, кожа, округлости), которая напоминает вам о чудесах природы (о пшеничном поле, море или сливках). Какая-то отличительная черта. Так случалось или нет? Вы когда-нибудь встречались с подобной девчонкой?

Через некоторое время после экзамена, когда вопросы и задания, преследовавшие ее так долго, остались позади, раздался стук в дверь. В мою дверь — припоминаю, что в то утро мы были в моей комнате. Я натянула халат и пошла открывать. Это был Морис, загорелый и одетый как один из битлов, когда те ездили повидать Махариши; белый костюм с воротником-стойкой, своя собственная отросшая челка и спутанные волосы, довольно длинные сзади. Он выглядел роскошно. Он произнес: «В баре мне сказали, ты знаешь, где Шарлотта. Я ее ищу — это очень срочно. Ты ее видела?» Я ее видела. Она лежала в моей постели, всего в пяти футах от Мориса, скрытая стенкой. «Нет… — ответила я. — Нет, сегодня еще не видела. Но скорее всего, она спустилась вниз позавтракать, как всегда. Так что, Морис? Когда ты вернулся?» Он сказал: «Разговоры подождут. Сначала мне надо найти Шарлотту. Судя по всему, я на ней женюсь». И я подумала: «Боже, я как будто угодила во второсортный фильм!»

Я растолкала Шарлотту, разбудила ее, впихнула в какую-то одежду и велела обежать вокруг колледжа и добраться до столовой раньше Мориса. Когда дверь за ней закрылась, я продолжала видеть ее мысленным взором — для этого не нужно было обладать сверхъестественным воображением, я уже видела, как она бегает, как животное со слабой координацией движений (панда?), в которое только что пытались стрелять, — я видела, как она несется сломя голову мимо древних стен, запутывается в плюще, спотыкается на ступеньках и наконец вваливается в двойные двери столовой, дико озираясь, словно киношные

путешественники во времени, которые никак не сообразят, в какой эпохе очутились. Но все-таки ей это удалось, по крайней мере, прибежала она вовремя. Хотя, как всем теперь известно, Морису хватило одного взгляда на ее прилипшие ко лбу прядки и полоски-отпечатки от подушки на щеке, чтобы обо всем догадаться и спросить: «Ты что, спишь с ней?» (или, может: «Ты что, спишь *с ней!»* — точно не знаю, слышала с чужих слов), и Шарлотта, которая, как и все не отмеченные печатью большого ума женщины, не умела врать, призналась: «Э-э… ну да. Да», — и всем своим видом изобразила типично женское раскаяние: нижняя губа чуть оттопырена, взгляд устремлен куда-то вверх, челка растрепалась.

В тот же день, попозже, Морис снова заглянул в мою комнату. Выглядел он еще более внушительно и, похоже, стремился спокойно, по-мужски обсудить положение дел, в духе «видишь ли, я вернулся, чтобы жениться на ней/что ж, не буду вам мешать», что было с его стороны очень по-английски и разумно. Я предоставила право говорить ему. А сама только кивала там, где это казалось уместным; иногда я вскидывала руки в знак протеста, но тут же снова их опускала. За что здесь бороться, когда тебя уже заменили другим; всего один шаг в сторону, и на твоем месте оказывается старый/новый бельгийский красавчик — он стоит на мостовой, задрав голову, широко разведя руки и рассчитывая угол падения. Я думала о девчонке, которую он хотел вернуть, из-за которой моя жизнь рассыпалась на куски и которая причинила мне одни неприятности. О девчонке с челкой и асоциальным поведением. Я вдруг сообразила, что чувствую себя рас(по)трепанной. В душе я даже восхищалось страстью, которую он к ней питал. Находясь за тысячу миль отсюда, с дымящимися руинами за спиной, я наблюдала, как он умоляет меня отступиться от нее; в глазах у него стояли слезы, ну и дела. Я согласилась, что так будет лучше для всех. Мне вдруг подумалось: она из тех девушек, которых бросает от мужчины к мужчине долгие годы, и каждый из этих мужчин считает, что сумел каким-то чудом ее спасти, тогда как на деле опасность ей вовсе не грозила. Никогда. Ни секундочки.

Он сказал: «Тогда избавь нас от своего присутствия и сообщи ей о нашей договоренности», — и я сказала, мол, да, хорошо, но когда мы вошли в Шарлоттину комнату, ее кудряшки ерошил кто-то третий. Шарлотта всегда была одной из тех, для кого секс доступен в любой момент — он просто случался с ней, быстро и с минимальными предварительными беседами. С этим парнем она

спала в те дни, когда не была со мной. Это продолжалось четыре месяца. Разумеется, подробности выплыли наружу позже.

Хотите верьте, хотите нет, но он все равно на ней женился. Скажу больше, он женился на ней несмотря на то, что она в тот же день побрилась налысо — только чтобы досадить нам. Всем нам, даже тому парню, которого мы раньше и в глаза не видели. Морис привез лысую англичанку со странной неровной походкой и характером горгоны назад в Таиланд, где и женился на ней, наплевав на непонимание друзей и громкие протесты Анипы Капур, его напарницы по выпускам новостей. Эта телеведущая была дамой в хичкоковском стиле: волосы туго стянуты в пучок, острый нос и зловещий ярко-красный рот. Таким ни к чему кокетство. «Морис, — сказала она, — ты многим мне обязан. Ты не имеешь права пустить эти четыре месяца псу под хвост, как будто они ни хрена не стоили!» Он написал мне об этом по электронной почте. Признался, что некоторое время держал Анипу в неопределенности, а она ждала от него решительных действий. Потому что в реальном мире (или это мне только так кажется?) под окнами почти всегда ждут женщины, а не мужчины, и они почти всегда в итоге оказываются разочарованы. В этом смысле Шарлотта отличалась от остальных.

*Перевод И. Копыловой*

# ВАГОНЧИК ГИПНОТИЗЕРА
## Энн Камминс

Одна женщина, Джозефина, как-то раз прочитала объявление в рекламной газете: «Специалист по вредным привычкам. Могу излечить от чего угодно. Гипноз, ментальный массаж». Джозефина курила и к тому же немного выпивала. Она решила дать гипнотизеру шанс. Захватила с собой дочку.

Гипнотизер жил и работал в вагончике, расположившемся на стоянке у подножия Каменной горы.[60] Это был волосатый мужик, зато зубы у него были ровные, а ногти аккуратно подстрижены. Вагончик был обставлен скудно: ратанговый диван да видавший виды стул. Никаких вазочек или журналов.

— Давайте обойдемся без долгих вступлений и перейдем сразу к делу, — сказал гипнотизер. — Вы верите в Бога?

— Да, — сказала Джозефина.

— Как он выглядит?

Этот вопрос ее озадачил.

— У него есть борода?

— О да.

— И у меня есть борода.

— В самом деле.

— А еще у Бога длинные волосы и карие глаза.

Джозефина предположила, что, видимо, так и есть.

Таким образом гипнотизер довольно быстро убедил ее, что она беседует с Богом.

— Верите ли вы, что Бог может очистить вас от скверны? Доверяетесь ли вы Ему всей душой?

Она верила. Она доверялась.

— Тогда дайте мне что-нибудь в знак вашей веры.

— В знак?

— Что-нибудь, чем вы дорожите. Ваш кошелек, например.

Дочь — ее звали Айрин — рассмеялась, и по лицу гипнотизера скользнула тень. Он поглядел на девчонку. Довольно миленькая — для тех, кто любит панков. Ее личико было покрыто белой пудрой, а глаза подведены зеленым. Половина волос сбрита, половина выкрашена — он ненавидел такие прически. Впрочем, она была тощая, а тощих он любил. Он вдруг ощутил желание вовлечь ее в действо.

— Ваша дочь смеется, и она совершенно права, — сказал он. — Кошелек — это всего лишь вещь.

Джозефина улыбнулась дочери, Айрин театрально закатила

глаза.

— Отдайте мне то, что вам по-настоящему дорого, — потребовал гипнотизер. — Отдайте мне свою дочь.

Айрин снова засмеялась.

— Ага, мам, отдай ему меня.

— Мою дочь? — нахмурилась Джозефина. Сколько бессонных ночей и мучительных дней пережила она из-за Айрин. Женщина поглядела на гипнотизера — тот поглаживал бороду и плотоядно глядел на ее дочку. К ее изумлению, лицо мужчины стало меняться: нос больше не торчал, щеки были не такими дряблыми и обвисшими, все смягчалось и подтягивалось.

Внезапно Джозефина кинулась вперед и крепко обняла дочку.

— Вы ее не получите! — прошипела она.

Гипнотизер вскинул брови, потом опустил глаза и уткнулся взглядом в землю.

— Это я виновата, что она покатилась по наклонной, — прошептала Джозефина.

— Это заметно, — прошептал гипнотизер в ответ.

Айрин высвободилась из материнских объятий. Ей было приятно, что ее наконец заметили. Но она успела заскучать. Начала покачивать ногой и ерзать. Гипнотизер нахмурился. Скука — это плохо. Скука портит нужную атмосферу. Он провел языком по зубам, наклонился вперед, улыбнулся Джозефине и сказал:

— Отдайте мне ваш пупок.

— Что? — не поняла Джозефина.

— Пупок отдайте.

Девчонка улыбнулась. Представление начинало ей нравиться.

— Отдайте его мне, — прошептал гипнотизер.

Женщина посмотрела вниз. Задрала блузку, слегка опустила юбку и поглядела на свой пупок. Как это — отдать его? Как в детских фокусах, когда делаешь вид, что отрываешь свой большой палец? Она посмотрела на дочь. Та кивнула. Ну, точно, должно быть, это фокус. Джозефина рассмеялась. Она потянулась и схватила себя за пупок. Он отделился и остался у нее в руке. Женщина уставилась на него. Он был плоский, как монетка, но прямо у нее на глазах края начали морщиться и заворачиваться.

— Отлично, — сказал гипнотизер.

Она прижала пупок к животу, стараясь прилепить его на место. В ушах звенело. Пупок не желал держаться.

— Только Бог может приставить его обратно, — сказал гипнотизер. — Вот видите. Значит, вы все-таки не верите в Него.

— Не верю, — простонала женщина. Пупок лежал у нее на ладони. Горло сдавило, в висках пульсировало. Она чувствовала, что вот-вот расплачется.

— Я обо всем позабочусь, потому что верю, что эта штуковина вам дорога. Вы слышите, что я говорю, Джозефина? Я верю вам.

— Верите мне? — она тупо посмотрела на него.

— Я верю вам и верю в вас! — он произнес это с такой убежденностью, что комок в горле Джозефины исчез, и слезы наконец хлынули из глаз.

— Позвольте мне взглянуть на него, — попросил гипнотизер.

— Взглянуть?

— Всего на минутку.

— Зачем?

— Чтобы исцелить его. Он умирает. Сами посудите.

Она разжала пальцы. Пупок свернулся в маленький шарик. Он весь потемнел и сморщился. Ее рука затряслась.

— Сейчас, — он прикрыл ее ладонь двумя своими. — Вот так. Теперь он у меня. Всё в порядке. — И он принялся поглаживать пупок.

Джозефина смотрела во все глаза. Сперва она не видела разницы, но потом заметила, что цвет меняется. Неужели действительно меняется? Да. Пупок бледнеет и увеличивается в размерах. С каждым поглаживанием он расправляется и обретает первоначальную форму, становится персикового оттенка. Она улыбнулась. Гипнотизер не соврал и излечил его.

— Ну и как? — сказал он. — Теперь лучше?

— Да, — прошептала она и протянула руку, но он не вернул ей пупок.

— Я хочу поговорить с вами кое о чем, Джозефина.

— О! — только и вымолвила Джозефина и снова опустилась на стул. Она знала: что бы этот мужчина ни сказал, он будет прав. Она слишком много пила. Слишком много курила. Она прикрыла живот рукой. Без пупка она чувствовала себя обнаженной.

— Вы заметили, как легко он отвалился? — спросил он. Она нервно сглотнула. — Со здоровым человеком такого бы не произошло. — Он поглядел на дочку. Та сидела, опершись подбородком о кулак, а локоть поставив на колено, смотрела в окно и была целиком поглощена происходящим на улице. — У здорового человека пупок — центр жизненной энергии — полон сил и эластичен. Позвольте, я вам покажу. — Он стал водить над пупком рукой. — Вот, смотрите, — прошептал он. Маленькая штучка на его ладони начала пульсировать и наполняться цветом. Гипнотизер прикоснулся к ее краю. Облизал палец и провел вдоль кромки. Поглядел на девчонку. Та действительно была очень симпатичной. Он восхищался дерзким поворотом ее головы, царственной линией уха, изгибом челюсти. Шея — которая в старости сделается длинной и морщинистой, как у черепахи, и

скованной в движениях, — сейчас поворачивалась легко и элегантно. Он провел взглядом вдоль линии ее шеи, задержавшись на голом угловатом плече, потом по руке с вытатуированной розой, снова вернулся к плечу и опустил глаза на юную грудь, приятно круглившуюся под тонким хлопком — не слишком развитую, но и не слишком плоскую. Он прикрыл глаза и снова медленно провел пальцем вдоль кромки пупка. — Смотрите, — прошептал он. — Следите, как я заставлю его вырасти.

Джозефина увидела, как ее пупок становится белым и светящимся, цвета облатки для причащения, целый сверкающий мир холода и божественной красоты, будто северное сияние. К тому же он заметно вырос! Когда гипнотизер держал его под определенным углом, слегка наклонив к Джозефине, ей казалось, будто она видит луну и свое отражение в ней. И всё это принадлежало ей! Она радостно засмеялась.

Гипнотизер открыл глаза. Посмотрел на мать — она так и стояла с отвисшей челюстью и горящими глазами, — и тоже рассмеялся.

— Смотрите, — сказал он и повертел пупок на пальце. — Не отводите взгляд.

Он подбросил пупок в воздух, и тот задрожал, покраснел и стал немного пахнуть духами. Диск менялся: из оранжевого в красный, а потом в розовый, шел волнами, и Джозефина начала елозить на стуле вверх и вниз, юбка у нее задралась. Гипнотизер уставился на ее бедро. Противное бедрышко, пухлое и со слабо развитыми мышцами, — он как раз такие и любил.

— Встаньте, — скомандовал он. — Развернитесь.

Айрин наконец оторвалась от окна и увидела, что ее мать танцует, медленно описывая неровные круги, облизывает губы, исступленно гладит себя. И это ее мать — спокойная и сдержанная женщина! Мать происходила из породы сдержанных женщин. Даже когда она напивалась, то не устраивала дебошей, а тихо слонялась по дому и переставляла вещи, вроде как прибиралась. Но сейчас она схватилась за юбку и потащила ее вверх, через голову, при этом трясясь в танце. Мужик-гипнотизер уже язык свесил от вожделения, глазки превратились в крохотные бусинки.

— Еще, давай согнись! — прошептал он. Джозефина согнулась в талии и просунула голову между коленок.

— Мама? — встревоженно окликнула ее Айрин.

Гипнотизер откинулся на спинку стула, хлопнул в ладоши над головой и сказал:

— Привет, Джозефина.

— Эй! — воскликнула Айрин. Гипнотизер покосился на девчонку. Айрин холодно взирала на него и усмехалась. Он оглядел ее с ног до головы, потом посмотрел ей в глаза и увидел там собственное отражение — уродливый жирный мудак. Он присмотрелся получше. Погрузился в сквозившее во взгляде Айрин презрение и увидел себя таким, каким видела его она: дряблая кожа, затуманенный взгляд, жалкий мужчинка со скошенной нижней челюстью. Присмотрелся получше и увидел, каким станет впоследствии: губы запали, кожа мешочками обвисла с заострившихся скул, глазницы ушли в глубь черепа, а глаза начали слезиться. Айрин, попавшись на удочку его взгляда, видела, как его плечи ссутулились, грудь под рубашкой сделалась впалой, а руки, губы и голова стали мелко трястись. Его состарившееся лицо было мешаниной крошечных лопнувших капилляров и приобрело сине-красный цвет, а глаза превратились в лишенные зрачков озера боли, влажные, гноящиеся болота, испускающие слезы.

Юное горлышко Айрин невольно сжалось, а в сердце зародилась жалость; она услышала птичий крик и уловила слабый, едва заметный запах.

Гипнотизер выглянул в окошко на гору — поверхность неопределенного цвета и холодная каменная сердцевина — среди этого ступора природы его и заставили припарковать свой вагончик.

Он перевел взгляд на Джозефину: лицо ее раскраснелось, зрачки расширились, заняв почти всю радужку. Сердце его дрогнуло. Он усмехнулся.

— Хорошо, хватит, — прошептал он, и женщина выпрямилась. Разгладив юбку, она присела на краешек дивана, прижала пальцы к губам, с опаской оглянулось на дочь — та словно бы к чему-то прислушивалась. Джозефина поежилась.

— Так, замечательно, а теперь смотрите, как он уменьшается.

Джозефина сидела и смотрела. Гипнотизер поймал висевшую у него над головой пупочную луну и начал складывать ее треугольничками. Каждый новый треугольник меньше предыдущего. Когда треугольник стал размером с его ладонь, гипнотизер принялся вылепливать из него сияющий шар. Положил на одну ладонь, прикрыл другой, закрыл глаза, открыл их, убрал вторую ладонь — и вот он, ее пупок, прекрасный маленький персиковый диск, совершенно плоский, только с маленькой спиралькой посредине. Гипнотизер улыбнулся и подал пупок клиентке. Она протянула руку, но он вдруг разжал пальцы.

— Ой! — сказал он. — Я его уронил. — И мерзко рассмеялся.

— Уронили? — спросила Джозефина.

— Куда же он запропастился? — недоумевал он.

— Вы его уронили? — еще раз переспросила она, и в голосе ее послышалась дрожь — наверное, от страха, а может, и от гнева.

— Где же он? — сказал он.

Джозефина уставилась в пол.

— Я не знаю, — промолвила она и опустилась на четвереньки. Бока заходили ходуном, она разрыдалась, взахлеб, до икоты. — Рини, он пропал.

— Что пропало? — Айрин встряхнулась, протерла глаза и увидела, как мать ползает по полу. — Что пропало-то?

Гипнотизер поднял ногу, изучил подошву своего ботинка, вроде бы что-то с нее соскреб и подмигнул Джозефине. Потом сунул находку в рот. У Джозефины отвисла челюсть, а глаза полезли из орбит.

— Так что у тебя пропало? — не унималась Айрин.

Гипнотизер пожал плечами.

— Всё, — ответил он. Правая щека раздулась, как у хомяка. — Я съел сливу, которую она мне дала. Она была холодная. Очень вкусно. — Он открыл рот и пошевелил багровым языком. А потом проглотил. Поудобнее устроившись на стуле, он облизал губы и добавил: — Ну, что ж, еще один довольный клиент.

Айрин скорчила раздраженную гримаску.

— Ничего у тебя не пропало, мам.

Джозефина судорожно вцепилась пальцами в живот, будто бы ее проткнули шпагой. Гипнотизер ухмылялся. Он даже не мог припомнить, когда в последний раз испытывал такое удовлетворение. Он подался вперед, прикрыл рот ладонью и шепотом раскрыл Джозефине маленький секрет.

— Она, знаете ли, говорит правду. Он не пропал. Смотрите сюда. Он в отвороте моей штанины.

Джозефина бессильно сползла по спинке дивана. Она с несчастным видом глядела на маленький диск, который мужчина выудил из штанины.

— Пошли отсюда, мам, — позвала ее Айрин.

— Пошли? — повторила Джозефина. — Мы не можем уйти.

— Она абсолютно права, — согласился гипнотизер. — Она не может уйти.

Но дочке уже порядком надоел весь этот цирк. Зачем она вообще сюда пришла? Ведь не хотела же. Джозефина умоляла ее пойти. «Твоей смелости хватит на нас двоих», — говорила она. Ей всегда приходилось делиться с матерью частичкой смелости. «Именно для этого и нужны дочери», — любила повторять Джозефина.

— Я ухожу, — заявила Айрин и встала.

— Уходишь? — переспросила Джозефина.

Айрин, сжав кулаки, возвышалась над матерью. Джозефина, подняв на нее взгляд, увидела, что дочь изготовилась к бегству. Приняла позу «если-и-дальше-не-будешь-обращать-на-меня-внимания-то-пожалеешь». Джозефина нахмурилась. Что эта маленькая паршивка о себе возомнила?! И ведь какая грубиянка!

Внезапно Джозефине остро захотелось выпить. Разговор с дочкой истощил запасы ее терпения.

Еще хотелось закурить. Она полезла в сумочку, но тут же вспомнила, из-за чего она здесь. Разве гипнотизеру не полагалось справиться с этой напастью? Она, сдвинув брови, поглядела на него. Он смотрел на нее так плотоядно, что у нее все внутри затрепетало.

Однако дело уже шло к вечеру, а ей нестерпимо хотелось курить. Она поднялась. Ноги дрожали, а голова шла кругом. Женщина обеими руками вцепилась в сумочку и осторожно направилась к дверям. Ощущение было такое, будто отдельные части тела как-то не очень связаны друг с другом.

— Уже уходите? — прогудел ей вслед голос гипнотизера.

Джозефина обернулась. Глазки мужчины горели, как два уголька. Она вздрогнула.

— А вы, случайно, ничего не забыли? — поинтересовался он.

Джозефина облизала губы. Но Айрин уже схватилась за дверную ручку, а когда дверь распахнулась, Джозефина заметила, что глаза гипнотизера тоже распахнулись широко-широко. «Какая прелесть, — подумала она. — Он не хочет меня отпускать. Даже несмотря на то, что я замужем».

В вагончике затхло воняло духами. Гипнотизер пялился на дверь. Пальцы вцепились в стул с такой силой, что костяшки побелели. Губы спазматически подергивались, постепенно складываясь в некое подобие… а потом и в настоящую улыбку.

— Ну что, ушла? — он запрокинул голову и рассмеялся. — Ну и ладно, для игры твое присутствие и не требуется!

Он перевел взгляд с двери на свои волосатые пальцы. Потом разжал левую ладонь. Полуприкрыв глаза, он уставился в центр ладони. Кожа была желтоватая, грубая, но под его взглядом она стала преображаться, вздуваться, как опухоль. Вот кожа вспучилась, натянулась и уже готова была треснуть. Сверкающий диск, плоский, как монетка, прокладывал себе путь к поверхности.

Гипнотизер поднял вещицу к лицу, чтобы получше рассмотреть. В центре была крошечная дырочка, он посмотрел

сквозь нее на дверь и снова рассмеялся. Потом подбросил диск в воздух и поймал его.

— Орел или решка? — он со шлепком опустил диск на тыльную сторону ладони. — Решка. Ты проиграла.

Он сжал вещицу в кулаке и наблюдал, как та появляется с другой стороны руки.

А что это за шорох колес по асфальту?

— Вернулась? — он склонил голову и улыбнулся. Но почему же не доносилось шума мотора? Маленький диск задрожал.

Шестичасовое предзакатное солнце прорывалось сквозь жалюзи, разрезая на полоски диван, где недавно сидела клиентка. В вагончике было тихо. Гипнотизер пытался уловить пение птиц, но в жару птицы никогда не пели. Он ожидающе глядел на дверь.

— Ну, заходи же, искусительница!

Он встал, подошел к двери, открыл ее и поглядел на миражи, словно целлофановые волны, плещущиеся над асфальтом. Возле его крыльца раскаленное и липкое дорожное покрытие вздулось и пошло трещинами. Поблизости не было ни души. Поодаль тоже.

— Все-таки уехала? — Гипнотизер пожал плечами. — Ну и ладно.

Оставалось только винить самого себя. Вечно он не мог вовремя остановиться. Несдержанность — вот его беда.

И всегда так было. Он горько посмеялся над собой. А ведь он практически не сомневался, что сегодня ему повезет — если не с девчонкой, так с мамашей.

— Лишнее доказательство тому, что человек предполагает…

На вытянутой ладони он держал телесного цвета диск.

— Если тебе он не нужен, — крикнул он, глядя на дорогу, — то мне и подавно. — Щелчком пальцев гипнотизер попытался скинуть диск на асфальт.

Но тот только дернулся и остался на месте.

Гипнотизер снова его смахнул.

Тот же результат.

Он попытался отскрести диск большим пальцем, потом энергично затряс рукой.

Маленькая персиковая штуковинка от жары сделалась липкой и пристала к нему намертво.

Гипнотизер вернулся в комнату и прикрыл за собой дверь. Обе его ладони стали клейкими.

— Сейчас смою тебя в канализацию, — пробормотал он, направляясь в ванную, и вдруг замер. Пупок как будто бы увеличился в размерах. Вырос, что ли? Разве так бывает? Странная фигня, разбухшая и пышущая жаром, прилипла к мягкой подушечке ладони, и к тому же она пахла. Пожалуй, даже

воняла. Он поднес руку к лицу и принюхался. Запах — без сомнения, кровь, удушающая вонь замешенных на крови духов, — отравлял воздух, а ладонь начала зудеть. Он почесался. Штука пульсировала. Вибрирующий зуд, а пальцы, к его ужасу, на глазах опухали. Он попробовал сжать руку в кулак, но пальцы — все красные и вздутые, словно беременные, — не желали смыкаться. И, кажется, зрение тоже начало его подводить.

Да, покрытые коркой края штуковины были связаны с ладонью крошечными синими прожилками. Его затрясло. Присмотревшись получше, он обнаружил, что жилки протянулись за пределы штуковины в… в…

Он, как нашкодивший малыш, спрятал руку за спину. Снова послышалось птичье пение. Штуковина пульсировала. Она что, пустила в него корни? В ушах звенело.

— Так видно, — бубнил он под нос. — А так нет. — Он ахнул от изумления.

Эта штука исчезла. Гипнотизер почувствовал, как ее не стало! Он взглянул на ладонь. Плоская и желтоватая. Он рассмеялся, но тут же, поперхнувшись, смолк. Штука появилась опять, скользкий, пульсирующий, все увеличивающийся шматок.

— Таквидно, атакнет!

Штука никуда не делась. Утробный хохот. Чириканье птиц.

Это против правил! Он перевернул ладонь и встряхнул ею, затряс что было мочи, но чем больше он тряс, тем больше делалась штуковина. Он перестал махать рукой. По обрюзгшему лицу катились бисеринки пота. Она…

Она не должна была отдавать эту штуку. И о чем она только думала? Разве можно разбрасываться такими вещами?!

«А зачем ты вообще оставил эту чертову фигню у себя, придурок, если собирался всего лишь поиграться и вернуть? — спросил он себя. — А теперь сделка совершена и обжалованию не подлежит!»

Он без сил обрушился на стул. Хотелось плакать и одновременно смеяться. Что ж, по крайней мере, что-то новенькое. Он уставился на бесформенный комок, лежавший на ладони.

— Кто ты? Моя будущая женушка? — промолвил он и провел пальцем по штуковине, которая теперь выглядела как прозрачная пульсирующая перепонка. Он поежился. — Ты — моя возлюбленная?

*перевод И. Копыловой*

# ЧЕТЫРЕ МОНОЛОГА НА СЛУЖЕБНЫЕ ТЕМЫ
# Джордж Сондерс

## *I.*

### *(увещевание)*

МЕМОРАНДУМ
ДАТА: 6 апреля
КОМУ: персоналу
ОТ КОГО: от Тодда Бирни
ТЕМА: результаты работы отдела за март с. г.

Не хотелось бы называть этот текст воззванием, но боюсь, что именно на воззвание он и будет похож (!). Итак: перед нами стоят определенные задачи, и мы все молча согласились их выполнять (обналичили последний чек? я помню, что обналичил, хе-хе). Кроме того — следующий логический ход, — мы согласились выполнять их качественно. Все мы знаем, что лучший способ делать работу плохо — это испытывать по отношению к ней негативные эмоции. Давайте представим себе, что нам надо вытереть пыль с полки. Проведем такую аналогию. Полка. И если мы возьмемся за эту работу, но начнем с того, что битый час будем рассуждать, как бы лучше вытереть пыль с полок, будем ныть, бояться предстоящих усилий, ломать голову над тем, нравственно ли вытирать с полки пыль и т. д., то чего мы в конце концов добьемся? А вот чего: мы сделаем эту работу *труднее, чем она есть на самом деле.* Все мы прекрасно понимаем: обстоятельства сложились так, что пыль с «полки» должна быть вытерта, а значит этой работой займешься либо ты, либо совсем другой человек, который придет на твое место и будет вместо тебя обналичивать твои чеки, то есть, если отбросить все лишнее, в сухом остатке останется всего один-единственный вопрос: чего мы хотим — вытирать пыль с полки, испытывая радость, или вытирать пыль с полки, испытывая тоску? Какая стратегия будет эффективнее? Эффективнее *лично для меня.* Что поможет быстрее прийти к цели? А в чем состоит цель? В том, чтобы зарабатывать. Вот есть я, я вытираю пыль с полок и делаю это быстро. Какой же эмоциональный настрой поможет мне вытереть пыль с полки быстро и качественно? Негативный? Неужели поможет

негативный эмоциональный настрой? Нет, конечно, и вы сами это понимаете отлично. Отсюда — ключевое слово всего моего обращения: ПОЗИТИВНОСТЬ. Позитивный эмоциональный настрой — вот что поможет вытереть пыль с полки быстро и качественно, а значит, добиться цели — то есть заработать.

Итак, к чему я веду? Думаете, хочу, чтобы вы насвистывали во время работы веселый мотивчик? А почему бы и нет? Давайте представим, что нам надо поднять что-то очень тяжелое, например, дохлого кита. (Извините за полки и китов, просто мы только что вернулись с дачи на Рестон-Айленде, и там а) было очень много пыльных полок и б) хотите верьте, хотите нет, там был в буквальном смысле слова дохлый кит, и мы — я, Тимми и Вэнс — вместе с другими людьми очищали от него берег, как полку от пыли). Итак, вообразите, что вам с коллегами поручено поднять тушу дохлого кита и взгромоздить ее на платформу. Задача еще та, разговора нет. Но если мы будем ее выполнять с негативным эмоциональным настроем, то сделаем ее еще труднее. Скажу больше: мы (то есть я, Тимми и Вэнс) убедились, что даже при нейтральном психологическом настрое это все равно очень нелегкая работа. Когда мы (то есть я, Тимми, Вэнс и еще десятка полтора человек) пытались приподнять этого кита, мы были эмоционально настроены по отношению к нему абсолютно нейтрально, и все-таки — ни в какую, кит не шелохнулся, пока наконец один из нас, бывший морской пехотинец, не сказал, что мы должны одолеть физические трудности крепостью духа, расставил нас в кружок, и мы все проскандировали что-то вроде речовки. И наш дух окреп. Мы, продолжая приведенную выше аналогию, осознали стоящую перед нами задачу и испытали эмоциональный подъем, а зарядившись позитивной энергией, решили, что выполним задачу; так вот, скажу я вам, чувство было совершенно неописуемым, мы были вне себя, когда кит наконец поднялся в воздух благодаря мощи нашего духа и паре больших ремней из фургона морского пехотинца, и я должен признаться: этот момент, когда мы с совершенно незнакомыми людьми взгромоздили дохлого, наполовину сгнившего кита на платформу, стал *кульминацией* всей нашей поездки.

К чему же я призываю? Я призываю (причем очень настойчиво, потому что это чрезвычайно важно): давайте попытаемся как можно меньше жаловаться, как можно меньше сомневаться, а хватит ли у нас сил выполнять задачи, которые нам время от времени приходится выполнять и которые на первый взгляд могут показаться не самыми приятными. Я призываю: давайте перестанем размусоливать все, что нам

приходится здесь делать, взвешивая, насколько оно хорошо, или плохо, или ни хорошо и ни плохо с точки зрения морали и нравственности. Поезд ушел. Надеюсь, каждый из вас уже обсудил все сам с собой еще год назад, когда все только начиналось. Мы приняли решение, а раз уж мы его приняли, то, согласитесь, исходя из этого решения (которое все мы приняли год назад), разве это не самоубийство — впадать в интеллигентские рефлексии и из-за этого снижать темпы работы? Доводилось кому-нибудь из вас держать в руках кузнечный молот? Некоторым доводилось, я знаю. Я знаю, что, когда мы разносили дворик Рики, кое-кому из вас доводилось держать в руках кузнечный молот. Разве это не прекрасно, когда ты не сдерживаешься, а просто молотишь себе, и сама сила тяготения работает на тебя? Так вот что я хочу сказать, друзья: пускай сила тяготения работает на вас еще и здесь, на рабочем месте. Молотите, доверяйте природным инстинктам, которые, как я вижу иногда, вызывают у некоторых из вас мощный прилив энергии и помогают выполнять работу с удивительным энтузиазмом и безо всяких соплей и интеллигентских рефлексий. Помните ту рекордную октябрьскую неделю, когда Энди нарастил свои обычные показатели вдвое? Если отвлечься от всего, забыть все эти «правильно» и «неправильно» и т. д., и т. п. — ну неужели там не было на что посмотреть? Неужели это не было достойное зрелище — само по себе? Давайте честно и откровенно признаемся: неужели мы все чуть-чуть не завидовали? Вот уж он действительно молотил так молотил, и какой энергией пылало его лицо, когда он проносился мимо нас, чтобы схватить новую салфетку! Мы все только рты поразевали — ого, Энди, что это на тебя нашло? А его показатели говорят сами за себя. Они висят там, в комнате отдыха, у всех на виду, возвышаются над всеми остальными, и, хотя сам Энди за несколько месяцев с того октября так ни разу и не воспроизвел свои же показатели, а) никто его в этом не винит, потому что октябрьские показатели были настоящим чудом и б) я убежден: пусть даже Энди вообще никогда не воспроизведет свои показатели, все равно мы должны сохранить в своих сердцах благоговейную память о нечеловеческой энергии, которая струилась из него тем памятным октябрем. Скажу честно: не думаю, что тот октябрь состоялся бы в жизни Энди, если бы он цацкался с собой или давал волю сомнениям, интеллигентским рефлексиям и переоценке ценностей. А вы как считаете? Я не думаю. Энди тогда был сама целеустремленность, сама одержимость, и это ясно читалось у него на лице. Может быть, дело в том, что у него родился малыш (если так, то Дженис должна каждую неделю

дарить ему по малышу. Я шучу).

Подводя итоги, скажу, что в том октябре Энди, по крайней мере в моих глазах, занял место на доске почета, и с тех пор уже никто не мониторит его показатели со всей пристальностью, по крайней мере я. И пускай он приуныл, пускай он в каком-то смысле дал задний ход (а я думаю, вы все заметили, что он с того октября довольно сильно приуныл и сбавил обороты), вы никогда не увидите, чтобы я стал пристально мониторить его показатели, хотя за всех ручаться не стану, кто-нибудь другой, быть может, и мониторит тревожно падающие показатели Энди, хотя в глубине души я надеюсь, что это не так, это было бы нечестно и, поверьте мне, если я замечу хоть какие-то признаки, я непременно дам Энди знать, а если Энди будет слишком подавлен, чтобы слушать меня, я позвоню Дженис домой.

Отчего же Энди приуныл? Думаю, оттого, что он поддался рефлексии и задним числом переоценивает то, что совершил в октябре — и, черт возьми, разве это не стыдно, разве это не упадочничество со стороны Энди — сначала в октябре побить все рекорды, а теперь сидеть и переживать из-за этого? Неужели его переживания что-нибудь изменят? Неужели достижения Энди в свете тех задач, которые я поставил перед ним в шестой комнате, будут перечеркнуты его переживаниями; неужели его показатели, вывешенные в комнате отдыха, чудесным образом поползут вниз; неужели люди, неожиданно выходящие из шестой комнаты, снова почувствуют себя в полном порядке? Нет, ничего такого не случится, и все мы это знаем. Не бывает такого, чтобы человек выходил из шестой комнаты и чувствовал себя в порядке. Даже те из вас, друзья мои, кто делает все, что надлежит делать в шестой комнате, выходя из нее, не чувствуют себя на вершине блаженства, я это знаю, я ведь сам сделал в шестой комнате кое-что такое, из-за чего чувствовал себя совсем не замечательно, уж поверьте, и никто не станет отрицать, что в шестой комнате может прийтись ох как несладко, а работа, которой мы занимаемся, ох какая нелегкая. Но те, кто сидит повыше и раздает нам поручения, полагают, что работа, которую мы делаем в шестой комнате, не просто *очень трудная,* она еще и *очень важная,* и я подозреваю, что именно поэтому они стали так пристально мониторить наши показатели. Говорю вам от чистого сердца: если вы хотите, чтобы в шестой комнате всем приходилось еще более несладко, чем теперь, — тогда флаг вам в руки, тогда давайте будем хандрить и до, и после, и во время, чтобы началась уже полная труба, плюс, если вы начнете хандрить, показатели ваши поползут вниз еще быстрее, хотя этого они делать — что? угадайте! — не должны. Мне было сказано на

совещании сектора, и сказано абсолютно недвусмысленно, что наши показатели больше не должны снижаться. Я ответил (и, поверьте мне, это было непросто, с учетом атмосферы, которая установилась на совещании), войдите в положение, сказал я, мои парни измотаны, у них чертовски тяжелая работа, и физически, и психологически. И тут, честное слово, воцарилась мертвая тишина. Мертвая, гробовая тишина. А взгляды, которыми меня наградили, были очень нехорошими. Мне было сказано, причем абсолютно недвусмысленно, сказано лично Хью Бланшеттом, что наши показатели больше не должны снижаться. Потом меня попросили, чтобы я напомнил вам — точнее, напомнил всем нам, в том числе и самому себе, — что если мы неспособны вытереть пыль с вверенной нам полки, то эту пыль не просто вытрет кто-нибудь другой — вполне может случиться так, что мы сами обнаружим себя на этой полке, *сами окажемся* этой полкой, на которую совсем другие люди обрушат всю мощь своей позитивной энергии. И я легко представляю, как горько вы раскаетесь, я отлично вижу раскаяние, написанное на ваших лицах в этот момент, да и сами вы видели это раскаяние, в шестой комнате, на лицах «полок», с которых вытирали «пыль», поэтому прошу вас, просто и без обиняков: давайте сделаем над собой усилие и не станем доводить дело до того, чтобы превратиться в «полки», чтобы нам, вашим бывшим коллегам, не осталось ничего другого, кроме как вытирать, вытирать и вытирать пыль в шестой комнате, со всей мощью своей позитивной энергии и безо всякой оглядки.

Все это стало для меня очевидно на совещании, и теперь я пытаюсь донести эти мысли до вас.

Я мог бы распинаться еще очень долго, но вместо этого прошу вас, прошу всех, у кого есть хоть какие-то сомнения в том, чем мы занимаемся, — пожалуйста, загляните ко мне в кабинет, и я покажу вам фотографии того самого гигантского кита, которого мы с сыновьями подняли, вооружившись позитивной энергией. Само собой, эта информация, информация о том, что вы испытываете сомнения и вам стоит заглянуть ко мне в кабинет, останется между нами, хотя я убежден, что никому из вас не надо лишний раз об этом напоминать — слава богу, вы меня не первый день знаете.

Все будет хорошо, отлично и замечательно.

*Тодд Бирни, начальник отдела*

## *II.*

Опираясь на предварительные расчеты, мы рекомендуем отвести часть служебного пространства под коридоры и переходы, где могла бы свободно перемещаться вся группа. Опираясь на специальную литературу по данному вопросу, мы рекомендуем пространство, выложенное плиткой, как максимально предохраняющее стены и полы от возможных повреждений со стороны группы, перемещающейся внутри данного пространства. Обзор опубликованной литературы показывает также, что наиболее предпочтительным является пространство для перемещения (здесь и далее именуемое «пространством Фенлена» [см.: Эллис и др.]), нелинейное в плане, т. е. предполагающее пути изменения направления движения (т. е. ответвления коридора и углы) и создающее, в терминологии Эллиса, иллюзию «свободы выбора курса». Нелинейность пространства и возникающая в силу этой нелинейности видимость свободы выбора курса, формирует у коллектива «установку на поступательное движение» [см.: Гэзгрейв, Хеллер и др.[. «Установка на поступательное движение» (включающая в себя, в соответствии с методикой Эндрю-Бризона, такие признаки, как «надежда», «решимость» и «целеустремленность») поддерживает более высокий уровень как сохранности пространства Фенлена, так и физической целостности временного коллектива, что, в свою очередь, позволяет значительно сократить уровень медицинских расходов [см.: Эллис и др.].

Под «прогрессивно-мотивированным временным коллективом» (ПМВК) [см.: Эллис и др.] понимается временный коллектив с уровнем эксплицитно выраженной негативной ориентации (ЭВНО) ниже трех единиц на один человеко-час во время перемещения по отдельно взятому участку пространства Фенлена. Под «непрогрессивно-мотивированным временным коллективом» (НМВК) понимается временный коллектив с уровнем ЭВНО, существенно превышающим три единицы на один человеко-час. Значение ЭВНО высчитывается по методике Рилли на основе эмпирических данных, фиксирующихся специализированным персоналом, осуществляющим наблюдение изнутри так называемых будок Амстела — помещений с односторонними зеркалами, равномерно распределенными по пространству Фенлена.

В соответствии с заявленной суммой на реализацию проекта предполагается обустройство четырех будок Амстела, оснащенных соответствующим электрическим и вентиляционным оборудованием.

В рамках проектного задания была проведена статистическая обработка ЭВНО четырех пространств Фенлена по методике стандартного учебного Т-теста, дополненной новейшей моделью корректировки отклоняющихся значений Андерса-Кили. Примечательно, что наиболее важным компонентом пространства Фенлена оказалась конструкция, в новейшей литературе известная под наименованием «Вторичный преобразователь Дэли» (ВПД).

ВПД позволяет быстро производить изменения в пространстве Фенлена за период, в течение которого временный коллектив перемещается по другому, территориально удаленному участку пространства Фенлена. Функция ВПД состоит в том, чтобы продлить так называемый «период доверия» [см.: Элджин и др.], т. е. промежуток времени, в течение которого временный коллектив не опознает в пересекаемом в данный момент участке пространства Фенлена участок, который уже пересекался ранее. Напротив, после реорганизации геометрической структуры пространства Фенлена у временного коллектива формируется установка на то, что пересекаемый им в данный момент участок пространства Фенлена является абсолютно незнакомым и прежде не пересекавшимся участком, а эта установка, в свою очередь, усиливает убежденность временного коллектива в том, что со временем он достигнет локуса, который Эллисон и Дьюитт называют «предпочтительным пунктом назначения». В некоторых организациях незадолго до погружения в пространство Фенлена перед временным коллективом проводятся небольшие устные презентации, в ходе которых утверждается, косвенно или даже в открытой форме, что целью пересечения временным коллективом пространства Фенлена является достижение предпочтительного пункта назначения, который описывается с упоминанием ряда деталей — особенно в части улучшения температурных условий (холод/тепло), условий скученности/перенаселенности, условий питания и/или уровня угрозы физической целостности временного коллектива. В устной презентации также «приносятся извинения» за все произошедшие в недавнем прошлом неприятные инциденты. Можно также дать понять, что лица, ответственные за эти инциденты, были уволены, и т. д., и т. п. Доказано, что проведение таких устных презентаций связано с колоссальными преиму-ществами, как-то: минимизация уровня ЭВНО и увеличение периода доверия. Некоторыми исследователями также отмечался энтузиазм, с которым после таких устных презентаций временный коллектив погружается в пространство Фенлена.

В случае, если руководство комплекса «Эд Терри» сочтет необходимым сопроводить внедрение ВПД соответствующей устной презентацией, предваряющей перемещение по пространству Фенлена, «Джадсон и компаньоны» будут рады предоставить соответствующие рекомендации по техническому письму — эта услуга уже была успешно предоставлена девяти организациям северо-восточного региона.

В любом случае, мы настоятельно рекомендуем внедрение какой-либо версии ВПД. Исследование пространства Фенлена, не оснащенного ВПД, в городе Кантон, Нью-Джерси, показало, что уже по истечении первого дня временный коллектив всего за несколько часов деградировал от ярко выраженного ПМВК (с очень низким, в диапазоне от 0 до 2 единиц на один человеко-час, уровнем ЭВНО) до ярко выраженного НМВК (с уровнем ЭВНО, достигающим 9 единиц на один человеко-час). Самым поразительным обстоятельством, выявленным при исследовании в Кантоне, оказалась резкость и стремительность, с которой выросли ценности ЭВНО за время деградации временного коллектива от состояния ПМВК к состоянию НМВК (т. е. в момент окончания «периода доверия»), пока вспышки ЭВНО, по оценке одного из наблюдателей из будки Амстела, не стали происходить с такой частотой, что «уже решительно не поддавались шкалированию», в результате чего ситуации был присвоен статус «хаотической», по типологии Элиота, что потребовало принудительной зачистки пространства Фенлена от временного коллектива. Иными словами, как только временный коллектив начинает воспринимать пространство Фенлена как многократное пересечение одного и того же физического пространства, его моральные качества резко падают и, согласно клиническим данным, восстановлению уже не подлежат. Кроме того, очевидно, что принудительная зачистка пространства Фенлена, как и связанный с ней перерыв в выполнении процедур, сопряжены со значительным риском и влекут за собой серьезные материальные издержки.

Когда же организация в Кантоне была оснащена ВПД, «хаотические» ситуации больше места не имели, за единственным исключением, вызванным, как было установлено позднее, небольшим возгоранием в одной из будок Амстела.

Среди имеющихся в наличии на сегодняшний момент ВПД есть как устройства, преобразующиеся вручную (преимущественно на основе древесноволокнистых панелей, размещенных на вмонтированной в пол решетке и снабженных болтами быстрого откручивания), так и электронные устройства на основе лент-транспортеров, позволяющие создавать огромное,

практически неограниченное число конфигураций и в большинстве случаев оснащенные программным обеспечением ChangeSpace™. Для комплекса «Эд Терри» в пределах заявленной сметы мы может предложить как экономичный ВПД-6 «Домашний» (древесноволокнистая модель-решетка), так и более современный ВПД «Касио 3288» (компьютеризированное устройство на основе лент-транспортеров). Для «Домашнего» в смету включена ориентировочная стоимость физической работы, необходимой для преобразования ВПД вручную. В рамках данного проекта мы ориентируемся на семь реорганизаций в день, производимых силами четырех человек на каждую реорганизацию. Это требование проистекает из приблизительного расчета по три часа на каждый цикл перехода — т. е. семь реорганизаций в день — и исключает вероятность того, что работы по реорганизации случайно попадут в поле зрения временного коллектива, что, как было установлено, в силу очевидных причин приводит к резкому сокращению «периода доверия» [см.: Перси и др.].

«Джадсон и компаньоны» убеждены в том, что данный проект полностью отвечает требованиям, изложенным в Вашем запросе от 9 января. Если у Вас возникнет необходимость в дополнительных пояснениях, убедительно просим Вас связываться либо напрямую с Джимом Уорнером, либо со мной. Ждем Вашего ответа и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество как в рамках этого важного и увлекательного проекта, так и в рамках будущих проектов.

*С уважением, Марк Джадсон, Президент и исполнительный директор фирмы «Джадсон и компаньоны».*

## *III.*

## *(дружеское предупреждение)*

Мы, работники подотдела разрубки ниже следующим требуем, чтоб вы работники подотдела раскладки, забросили свою моду про ящики жировые, говорить пицца-хат, про ящики костевые, говорить бульён, а про ящики ливера разного, говорить собачья радость, в силу того, что это не уважительно к нашей работе и нашему подотделу и вы уже заколебали издеваться над нашей работой, как будто она какая-то нетакая. То что мы изготавлеваем действительно можно употребить сверху на пиццу,

можно на бульён, а можно на собачьи консервы, но нам не нравится, что вы все это произносите издивательски. Также новички могут быть заражены таким недоброжелательным отношением, и пройдет всего ничего, как они перестанут работать как следует и будут только ржать над вашими тупоумными шуточками, поэтому в дальнейшем используйте только утвержденные наименования (ящики жировые, ящики костевые и ящики ливера разного), если уж у вас настроение разговаривать во время работы, хотя мы работники подотдела разрубки рекомендуем конкретно что бы вы заткнулись и уж если работаете, то работайте и помалкивайте. На пример когда сотрудник подотдела разрубки производит бросание туши и промахивается мимо ленты это еще не повод называть его «мазила» и громко каментировать, как в баскетболе, что ай-ай-ай-ай, мяч летит мимо корзины. Также задолбали кричать ой убился, когда сотрудник производит бросание туши слишком сильно и она бьется в стенку потому что, что-то не похоже чтобы туше было больно, туша просто дохлая туша и всем понятно, что это у вас такие приколы. Короче нас ваши приколы не прикалывают, потому что если мы промахиваемся мимо ленты или туша бьется в стенку то надо откладывать тесак и идти доставать, вущерб своему рабочему времени. А мы и так тут корячимся чтобы еще ходить взад вперед. А что мы впахиваем сразу видно, когда человек весь день задыхается и дышит холодным воздухом в помещении, а вы хотя это правда что у вас у всех горбы повырастали, но мы что-то никогда не видели, чтобы вы так задыхались и вы даже не работаете с тесаками и у вас даже не бывает что вы можете случайно рубануть своего товарища. Вот поэтому вы такие веселые и выкрикиваете свои шуточки, что у вас больно много энергии, присваивать лентам ваши тупоумные прозвища. Подводя итоги выше сказанного мы очень недовольны вашими шуточками, которые вы работники подотдела раскладки каждый рабочий день выкрикиваете гнусными голосками, а ничего такого в нашей работе нет, народу надо мясо, народ любит мясо, это нормальная работа, вы должны гордиться, что у вас есть эта работа, поэтому хвост торчком и порхайте шмеликом, тоесть, если попростому хлебальники заткнуть а смехуёчки отставить, лучше осознайте, что Бог вам дал такую большую благодать, что у вас вобще есть работа, а бывает намного хуже, потому что у многих нет даже такой работы.

## *IV*

***(93 990)***

Десятидневный эксперимент по изучению острой токсичности препарата проводился на двадцати самцах макака яванского весом в диапазоне от 25 до 40 кг. Животные были разделены на четыре группы по пять обезьян. Каждая из четырех групп получала внутривенно инъекцию боразидина концентрацией 100, 250, 500 и 10 000 мг/кг/день соответственно.

В группе высокой дозировки (10 000 мг/кг/день) был отмечен мгновенный и резкий эффект, выразившийся в смерти всех, за исключением одной из пяти, особей, последовавшей в течение двадцати минут после инъекции. У особей 93 445 и 93 557 перед смертью наблюдалось отделение рвотных масс и дезориентация. Данные особи почти незамедлительно впали в кататоническое состояние и были усыплены. У особей 93 001 и 93 458 наблюдалось отделение рвотных масс, беспокойство, дезориентация и поскребывание по животу. Вскоре эти особи также впали в кататоническое состояние и были усыплены.

Только у одной особи из группы высокой дозировки, 93 990, небольшого самца весом 26 кг, не было зафиксировано никакой реакции на инъекцию.

Тела всех мертвых животных были извлечены из клетки и подверглись вскрытию. Причиной смерти в каждом из случаев была признана почечная недостаточность.

В течение 1-го дня в группах меньшей дозировки (т. е. 100, 250 и 500 мг/кг/день) не наблюдалось никакой реакции на инъекции.

В течение 2-го дня после инъекции у особей из группы 500 мг/кг/день стало наблюдаться отделение рвотных масс и в отдельных случаях агрессивное поведение. В большинстве случаев агрессивное поведение состояло из адресного визжания с имитацией кусания или без нее. У нескольких особей из групп минимальной дозировки (т. е. 100 и 250 мг/кг/день) наблюдалось отделение рвотных масс, а у одной особи из группы 250 мг/кг/день (особь 93 002) тенденции к царапанию себя, аналогичные наблюдавшимся ранее в группе высокой дозировки (т. е. включающие вглядывание в живот и поскребывание по нему в сочетании с умеренным подергиванием).

В конце 3-го дня три из пяти особей группы 500 мг/кг/день впали в кататоническое состояние, а у двух других особей из данной группы наблюдалось предельно выраженное подергивание, сопровождаемое попытками кусания и щипания других особей, часто в сочетании с взвизгиванием. Наблюдалась потеря шерсти в диапазоне от незначительной до обширной,

сопровождаемая «игровым» поведением с образовавшимися комками шерсти. Это «игровое» поведение варьировалось от слабого до интенсивного. Было сделано заключение о том, что такого рода «игровое» поведение аналогично тому, которое подобные животные, под влиянием любопытства, демонстрируют по отношению к более мелким видам, например, грызунам, на основании чего был сделан вывод о том, что такое поведение сформировалось под влиянием галлюциногенного эффекта. У нескольких особей наблюдалось гримасничание в адрес этих комков шерсти, по-видимому с целью вызвать у комков шерсти реакцию испуга. У особи 93 110 из группы 500 мг/кг/день наблюдалось сидение в углу клетки и созерцание собственных рвотных масс, в то время как другая особь, не проявившая реакции на инъекцию (93 222), пыталась возбудить интерес особи 93 110 с помощью похлопывания по спине, за которым следовало энергичное похлопывание по спине. Интересно, что у единственной оставшейся особи из группы высокой дозы (93 990, небольшой самец) даже после введенной на 2-й день инъекции по-прежнему не было отмечено никаких симптомов. Несмотря на то, что эта особь была самой маленькой по размерам в группе максимальной дозы, симптомы так и не были зафиксированы. Не наблюдалось ни отделения рвотных масс, ни состояния апатии, ни тенденции к царапанью себя, ни беспокойства, ни агрессии. Выпадения шерсти также не наблюдалось. При отсутствии комков шерсти (связанном с тем, что выпадения шерсти не наблюдалось), эта особь не демонстрировала «игрового» поведения по отношению к неодушевленным предметами, наличествующим в боксе, таким как миска для еды, стул, кончик веревки и др. Напротив, данная особь ограничивалась тем, что смотрела на лаборантов не отводя взгляда и /или стремительно удалялась, когда лаборанты заходили в клетку с длинными палками для тыкания, чтобы проверить наличие под определенными предметами (стульями и досуговым колесом) комков шерсти или остатков жидких экскрементов.

К середине 3-го дня у всех особей из группы 500 мг/кг/день был засвидетельствован летальный исход. Перед смертью у них, помимо вышеописанных симптомов, наблюдались симптомы в диапазоне от поскуливания до неистовых вращений вокруг своей оси по полу клетки, периодически сопровождавшихся визжанием и отделением пенных масс. Особи, у которых был зафиксирован летальный исход, были удалены из бокса и подвергнуты вскрытию. Причиной смерти во всех случаях была признана почечная недостаточность. Интересно, что эти особи перед смертью не впадали в кататоническое состояние, а напротив,

выглядели чрезвычайно оживленными, демонстрировали затрудненность дыхания и в некоторых случаях энергичное лазанье по веревке. На основе превышающей обычную частоты падения с каната был сделан вывод о наступлении негативных изменений в координации движений. Реакция на падение варьировалась в диапазоне от полного отсутствия реакции до реакции отчаяния с элементами самоистязания (напр., нанесение себе ударов, вырывание шерсти, быстрые потряхивания головой).

К концу 3-го дня у всех особей из групп минимальных доз (250 и 100 мг/кг/день) было зафиксировано страдание в той или иной форме. Некоторые особи впали в кататоническое состояние, другие отказывались принимать пищу, у многих наблюдался жидкий, слабо окрашенный стул, некоторые, усевшись на пол, поедали свой стул, сопровождая поедание взвизгиваниями.

У особей 93 852, 93 881 и 93 777 из группы 250 мг/кг/день в последние часы перед смертью наблюдались короткие периоды бодрости и вспышки активности, а также симптомы беспокойства наряду с нетвердостью походки, дезориентацией и царапанием глаз пальцами. У этих же особей периодически наблюдалось наталкивание или наскакивание на прутья клетки, за которым следовали приступы возбуждения. Была зафиксирована слепота или частичная слепота. Когда перед животными махали флажками яркой раскраски, некоторые не реагировали никак, в то время как другие реагировали швырянием фекальных масс в лаборантов.

К полудню 4-го дня у всех особей из группы 250 мг/кг/день был зафиксирован летальный исход. Они были удалены из бокса и подвергнуты вскрытию. Во всех случаях причиной смерти была признана почечная недостаточность.

К концу 4-го дня в живых осталось только пять особей из группы 100 мг/кг/день, а также упоминавшаяся выше особь (93 990) — обладающий повышенной устойчивостью небольшой самец из группы максимальной дозировки, у которого по-прежнему не было замечено никаких симптомов. У данной особи по-прежнему не наблюдалось ни отделения рвотных масс, ни рыгания, ни тошноты, ни дезориентированности, ни утраты моторных функций, ни каких-либо других симптомов из числа описанных выше. Данная особь по-прежнему нормально перемещалась по клетке и потребляла обычное количество еды и воды; кроме того, у нее периодически наблюдалось бодрое залезание по веревке, и была зарегистрирована незначительная прибавка в весе.

В 5-й день у особи 93 444 из группы 100 мг/кг/день наблюдалось предсмертное состояние. По причине своего крайне

ослабленного состояния она не получила очередной утренней инъекции. Особь была удалена из клетки, усыплена и подвергнута вскрытию. Причиной смерти была признана почечная недостаточность. Особь 93 887 (группа 100 мг/кг/день) неоднократно кренилась и падала на одну и ту же сторону, сопровождая падение судорожными подергиваниями. Данная особь умерла в 13.00 5-го дня, была удалена из клетки и подвергнута вскрытию. Причиной смерти была признана почечная недостаточность. В промежутке между 15.00 5-го дня и 20.00 5-го дня у особей 93 254 и 93 006 из группы 100 мг/кг/день был зафиксирован летальный исход, когда они лежали свернувшись в северо-западном углу большого бокса. У обеих особей перед смертью наблюдалось сопение, быстрые хватательные движения конечностями и выпячивание гениталий. Обе особи были удалены из бокса и подвергнуты вскрытию. В обоих случаях причиной смерти была признана почечная недостаточность.

Таким образом, остались две особи — особь 93 555 из группы 100 мг/кг/день и особь 93 990, самец небольшого размера из группы максимальной дозировки. У особи 93 555 наблюдались почти все вышеописанные симптомы, наряду с которыми под конец 5-го дня было зафиксировано несколько случаев нанесения царапин и ушибов собственным шее и морде в спазматических попытках дотянуться до какого-то объекта, находящегося за пределами клетки. Кроме того, у данной особи несколько раз фиксировалось быстрое кружение вокруг своей оси. Некоторые из этих быстрых кружений завершались резким и тяжелым падением на пол. В двух случаях результатом резких и тяжелых падений стала утрата особью зуба. После одного из случаев утраты зуба у особи наблюдалось агрессивное поведение, аналогичное фиксировавшемуся ранее агрессивному поведению, адресованному комкам шерсти. Кроме того, особь после продолжительного оскаливания зубов, направленного на собственный зуб, атаковала его и проглотила. Было принято решение усыпить особь из гуманитарных соображений в том случае, если подобное поведение будет наблюдаться на 6-й день, однако вскоре после 23.00 описанное поведение прекратилось, и особь сидела с апатичным видом в собственных фекальных массах, периодически совершая конвульсивные подергивания, в силу чего, ввиду улучшения состояния, усыплена не была.

На 12.00 5-го дня у небольшого самца 93 990 по-прежнему не было зафиксировано никаких симптомов. Наблюдалось лишь сидение в юго-восточном углу бокса и сосредоточенное вглядывание в пол клетки. Такое состояние первоначально было

ошибочно истолковано как начальная стадия кататонии, но после того как между прутьями клетки была помещена металлическая палка и предпринята попытка тыканья, особь отреагировала отскакиванием с повизгиванием, что было признано нормальной реакцией. Было также отмечено, что особь 93 990 периодически всматривается и совершает жесты в сторону бокса малой дозировки, т. е. бокса, в котором продолжала сидеть с апатичным видом особь 93 555, периодически совершая конвульсивные подергивания. К концу дня 5-го у особи 93 990 по-прежнему не наблюдалось никаких симптомов, она с аппетитом съела свою пищу, а взвешивание, произведенное в середине 5-го дня, подтвердило факт прибавки в весе. Особь также забиралась по веревке. Периодически она демонстрировала попрошайничество. Было выдвинуто предположение о том, что попрошайничество стало результатом незначительного галлюциногенного эффекта. Попрошайничество стало причиной непроизвольных вспышек смеха со стороны лаборантов, результатом которых стало прекращение фактов попрошайничества со стороны обезьяны и ее удаление в северо-западный угол, где она сидела, обернувшись к лаборантам спиной. Было принято решение о необходимости в дальнейшем воздерживаться от смеха для получения возможности объективной фиксации продолжительности ничем не прерываемого попрошайничества.

В результате инъекции, сделанной утром 6-го дня, последняя оставшаяся в живых особь из группы низкой дозировки, перед этим атаковавшая и проглотившая собственный зуб, а после этого с апатичным видом сидевшая в собственных фекальных массах, периодически совершая конвульсивные подергивания, умерла. Перед смертью, помимо описанных выше симптомов, у нее наблюдалось царапанье собственных глаз и плоти, а под конец — затрудненное и поверхностное дыхание во время сидения на корточках. После непродолжительного глубокого закатывания глаз особь впала в предсмертное состояние, умерла и была подвергнута вскрытию. Причиной смерти была признана почечная недостаточность. Когда тело особи 93 555 подвергалось удалению из бокса, особь 93 990 сидела спокойно, потом отошла в задний, т. е. максимально удаленный от двери, сегмент бокса, где стала сидеть на корточках. Через непродолжительно время она поднялась, приблизилась к миске с едой и с аппетитом поела, не прекращая смотреть в сторону двери.

В результате инъекции, сделанной на 7-й день, у особи 93 990, единственного оставшегося в живых животного, по-прежнему не наблюдалось никаких симптомов. Особь хорошо ела и пила.

В результате инъекции, сделанной на 8-й день, у особи по-прежнему не наблюдалось никаких симптомов. Она хорошо ела и пила.

На 9-й день было решено проверить воздействие экстремально высоких доз боразидина путем удвоения дозировки и доведения ее до уровня 20 000 мг/кг/день. Такая повышенная доза была введена внутривенно утром 9-го дня. Никаких заметных симптомов зарегистрировано не было. Особь продолжала перемещаться по клетке и нормально принимала пищу и воду. У особи по-прежнему наблюдалось пристальное вглядывание в пол клетки и — периодически — в другие, опустевшие боксы. Снижения числа лазаний по веревке зарегистрировано не было. Был зарегистрирован непродолжительный эпизод попрошайничества. Смеха со стороны лаборантов не случилось, и попрошайничество, ничем не прерываемое, длилось в течение приблизительно 130 секунд. Когда по окончании попрошайничества между прутьев клетки была помещена металлическая палка и предпринята попытка тыканья, палка была отобрана особью 93 990. Когда лаборант предпринял попытку войти в клетку и вернуть палку, он подвергся тыканью. В результате этого инцидента было принято решение попыток возвращения палки больше не предпринимать, а вместо этого обратиться на склад для получения запасной палки. В силу того что склад в текущий момент не располагал запасной палкой, было принято решение не предпринимать попыток тыканья, до тех пор пока не представится возможность вернуть утраченную палку. На основании заключения о проблематичности возвращения утраченной палки было решено, что переход первой палки в собственность особи 93 990 может быть использован в рамках эксперимента для анализа совершаемых особью 93 990 манипуляций с палкой как отражения воздействия боразидина на моторные функции особи.

На 10-й день, являющийся, по плану, последним днем эксперимента, на основе того, что у особи 93 990 по-прежнему не фиксировалось вообще никаких симптомов, было принято решение увеличить дозировку до уровня 100 000 мг/кг/день, т. е. в десять раз превышающего тот, который почти немедленно привел к летальному исходу всех остальных особей из группы максимальной дозировки. Данное решение было признано оправданным научными целями и задачами. Инъекция была произведена в 10-й день, в 03.00. Примечательно, что у особи не было отмечено никаких острых эффектов, за исключением тех, что были связаны с инъекцией как таковой (т. е. небольшого вздутия и покраснения в области, где была произведена

инъекция, в сочетании с повышенной частотой сердцебиения, учащенным дыханием и умеренной панической жестикуляцией), но эти симптомы вскоре прекратились и были признаны скорее результатом введения большого количества жидкости, нежели воздействием боразидина.

На протяжении 10-го дня у особи 93 990 по-прежнему не наблюдалось никаких симптомов. Ела и пила особь нормально. Особь энергично перемещалась по клетке. Особь взбиралась по веревке. Под конец экспериментального периода, вечером 10-го дня, никаких симптомов так и не было зарегистрировано. Примечательно, что животное скакало по клетке. Особь с большой сноровкой манипулировала палкой, время от времени попрошайничала и испускала энергичные выкрики в адрес лаборантов. Подводя итоги наблюдения, следует констатировать, что даже дозировка, десятикратно превышающая уровень, оказавшийся смертельным для более крупных и тяжелых особей, не вызвала у особи 93 990 никаких симптомов. Даже после введения исключительно высокой дозы, животное выглядело во всех смыслах нормальным, здоровым, невредимым и веселым.

Около 01.00 11-го дня особь 93 990 была подвергнута воздействию транквилизатора посредством выстрела, удалена из бокса, усыплена и подвергнута вскрытию.

Не было обнаружено никаких признаков почечной недостаточности. Не было обнаружено никаких следов негативного воздействия препарата. Была обнаружена прибавка в весе на 3 кг с момента начала эксперимента.

Все боксы были вывезены из лаборатории специализированным персоналом и утилизированы посредством сожжения.

*Перевод Е. Кулешова*

# ДВА НУЛЯ
# Рик Муди (с извинениями Шервуду Андерсону)

Мой отец ратовал за традиционные ценности Среднего Запада, за семью, за крепкое рукопожатие, за немного неуклюжий обмен любезностями с официанткой в «ХоДжос».[62] Пока ему не стукнуло тридцать четыре, он работал на одной ферме; ферма принадлежала крупной международной корпорации, которая выросла из разорившихся семейных хозяйств. С воздуха такие хозяйства смотрелись ни дать ни взять шахматной доской. Отцова ферма находилась неподалеку от городка Бидуэлл, штат Огайо. Понятия не имею, как называлась та корпорация: «Арчер Дэниелз Мидленд» или «Монсанто» — что-то в этом роде. Землю, о которой речь, потом продали застройщикам. Наверняка так оказалось выгоднее: один участок продать, другой купить. Жилой микрорайон, выросший на проданной земле, назвали «Золотыми лугами», хотя никаких лугов там и в помине не было. Вот в этом-то микрорайоне мы и поселились после того, как отца сократили. Отец как раз сидел в баре у железной дороги, когда до него дошла новость о сокращении.

Ну, он и подался в «Сирс», в отдел электрических инструментов. Примерно тогда же познакомился с моей будущей мамой. Мама одно время была королевой красоты, мисс «Скандинавский Бидуэлл». До свадьбы они с отцом долго встречались. Мама, эта коронованная особа, очень хотела, чтобы отец, да и я, вскоре появившийся на свет, ухватили за хвост удачу, американскую мечту, буквально витавшую в воздухе. Мама очень надеялась. И рассчитывала поиметь с этого свою долю. Что же до типовых одноэтажных домов в «Золотых лугах», то… они стояли слишком тесно друг к другу. Наш так еще и заваливался. В довершение ко всему по соседству жил продавец подержанных машин, которого все недолюбливали. Ходили слухи, будто в подвале у этого парня, Стабба, спрятаны тела убитых подростков. Впрочем, это очень даже вероятно, ведь Огайо, этот «Каштановый штат», занимал в стране первое место по числу серийных убийств. Мама убедила отца в необходимости найти работу с перспективой дальнейшего роста. Неужели он в самом деле всю жизнь будет продавать электроинструменты? Ей пришла в голову идея разводить ангорских кроликов. Отец согласился. Кролики размножались с бешеной скоростью — наверняка для вас это не

новость. Вообще-то заботу о них переложили на меня. У нас были десятки клеток; кролики повсюду оставляли лужи мочи и орешки кала, стоило только шикнуть на них, пусть даже совсем тихо. И потом, эта шерсть — приходилось ее прясть. Чтобы выручить какие-никакие деньги. Правда, я тогда с прялкой не возился — мал был еще. Думаю, вы догадываетесь, чем все закончилось: у мамы попросту не хватило терпения.

Следующими были тисовые деревья. В тисе содержится какое-то вещество, которое входит в состав лекарства против рака. Как знать, может, мама думала о наших соседях. Почти каждый житель «Золотых лугов» щеголял в парике, и ничего удивительного — как оказалось, строительство затеяли прямо на заброшенном захоронении хрома. И вот мы уже засадили тисом пол-акра, взятого в аренду у какого-то производителя нейлона в деловой части города, как вдруг узнали, что тяжелые металлы есть и в этой земле. Наверняка они и сгубили деревья. Но главное — к концу года в лабораториях научились добывать вещество искусственным путем.

Тогда мама решила разбогатеть на разведении лам. Она наведалась в местную публичную библиотеку и разыскала секцию деловой литературы. Прочла о ламах все, что было. Но так и не придумала, что с ними делать. Вязать из шерсти свитера? В итоге мы остановились на страусах. Страус — это чистая поэзия, скажу я вам. Да и сама птица впечатляет, с какой стороны ни посмотри. К примеру, это самая крупная птица на всей планете. В высоту почти восемь футов, весит триста фунтов, а мозг не больше голубиного. На лапах страуса всего по два пальца. Скорость развивает до пятидесяти миль в час, и это правда — сам видел. Если встать в дальнем конце нашей страусиной фермы «Два нуля» и вытянуть перед собой пивную кружку, наполненную кукурузой, страусы помчатся со скоростью фуры, хорошо разогнавшейся на трассе. Все равно что стая налетевших голубей, вот только голуби эти размером с мини-фургон. Невероятная глупость страусиной физиономии достойна того, чтобы упомянуть о ней, если, конечно, она не встречалась вам совсем недавно. Так вот, страусы дышат через клюв, во всяком случае, их клювы всегда приоткрыты. Словом, вы понимаете. Свет горит, квартира свободна — заходи кто хочет. Страусы похожи на умственно отсталых детей, к примеру, на Закария Данбара — я с ним в средней школе учился. Он уже умер. Впрочем, дело вот в чем: страусы вечно пытаются взять верх, громоздясь друг на друга и совокупляясь. При этом их не волнует, кто под ними: самец или самка. Раз уж речь зашла о страусах и сексе, я почти уверен, что работники на ферме пытались найти к продукции «Двух нулей»

особый подход. Ясно ведь, что, имея такой крошечный мозг, страусиха никогда не примет связь с каким-нибудь горемыкой со Среднего Запада за физическое оскорбление. И вообще удивительно, что мозг размером с горошину в состоянии управлять другим концом птицы. Трудно поверить, что электрические импульсы добивают в такую даль, достигая громадной средней части, состоящей сплошь из красного мяса, сотен фунтов, которое, как говорится в любом буклете, содержит поразительно мало жира. Вообще-то, по вкусу страусятина напоминает курятину, говорила моя бабушка, пока однажды не подавилась. Ну да, страусы вроде как птицы, вот только не похожи на них. А уж когда носятся стадом в триста-четыреста голов — со скоростью пятьдесят миль в час, расплющивая лапами грызунов и пытаясь заняться любовью — приобретенные под сомнительный залог, оставленный банку «Бакай Сейвингс энд Траст»… тогда они выглядят скорее как представители вымирающего биологического вида, собравшиеся в каком-нибудь отеле «Холидей Инн». Кажется, вот-вот появится парочка охваченных любовным настроением мохнатых мамонтов. Или компания саблезубых тигров.

Но что-то я отвлекся. А ведь на самом деле рассказ мой о страусиных яйцах. Так вот, в течение десяти лет родители пытались сделать так, чтобы ферма «Два нуля» приносила доход, но в конце концов им пришлось все распродать и объявить себя банкротами. Почти у каждого в Бидуэлле банковский счет находился под арестом. Когда с «Двумя нулями» не выгорело, остались лишь страусиные яйца — раньше родители сидели у дома под навесом и продавали их заезжим посетителям. По дороге к нашей ферме стояли указатели — всего три. «Посетите страусиную ферму! Две мили!» Через полмили: «Страусиные яйца! Пять долларов штука!» И еще через полмили: «Покормите страусов! Если смелости хватит!»

Помню, инструктировал парочку, приехавшую откуда-то издалека, из восточной части страны, разодетых как на парад. Прошло уже несколько недель; парочка оказалась первой, кто заинтересовался кормлением страусов. Я выдал обоим по стаканчику с эмблемой бейсбольной команды «Кливлендские индейцы», насыпав туда кукурузу. Можно было положить зерна на ладонь и протянуть страусам, но лично я ни за что бы так не сделал: своими глазами видел, как птицы подхватили одного карапуза, причем запросто так, точно платочком махнули, и перебросили через забор — мальчишка в два счета свернул себе шею. Можно протянуть страусам сам стаканчик; они попытаются затоптать друг друга до смерти, чтобы очутиться перед этим

стаканчиком первым, и одна из булавочных голов, обрушившись на вас с невероятной силой, вырвет стаканчик из рук и удерет. А можно просто-напросто рассыпать кукурузу у ограды, через которую пропущен электрический ток, самим же при этом убраться подальше — я бы на вашем месте так и сделал. «Интересно, кому придет в голову тащиться куда-нибудь из нашего Бидуэлла?» — спрашивал я себя. Разве что парочка скрывается от розыска, объявленного по нескольким штатам? Как знать, вдруг эти двое, стоящие прямо передо мной и смеющиеся над несчастными глупыми птицами, на самом деле из тех, кто запросто совратит целую детсадовскую группу, ограбит богатую даму на Парк-авеню, укокошив ее и спрятав тело, изрубит до неузнаваемости пару-тройку подростков, а затем исчезнет, чтобы заняться своими финансовыми вложениями?

Итак, ранчо было да сплыло. Мы же оказались в подержанной «Эльдорадо», пробежавшей уже 120 тысяч миль. Я сидел на заднем сиденье с пятью дюжинами страусиных яиц. Отцу было под пятьдесят, он уже облысел, обзавелся брюшком, а неудачные попытки быстро обогатиться превратили его в человека унылого и скупого. Если он и открывал рот, так только затем, чтобы обругать политиков. В этом плане он ни от кого не зависел. Ну, то бишь ни с этими, ни с теми. Беспартийный. После сплошных беспокойств на уродливой голове отца сохранилась лишь пара волосинок: клочки как раз над ушами. Как будто он и сам был страусиным птенцом. Птенцы, когда они вылупляются, очень похожи на человеческий зародыш. Я даже слышал, что у человека и страуса тридцать восемь процентов ДНК общие — если вдуматься, совсем немало. Так что отец напоминал страуса. А может, одного из тех еще живых раковых больных, что в «Золотых лугах», — они всегда отвечали, что чувствуют себя отлично, на миллион, даже если на самом деле тянули баксов на пятьдесят, не больше. Мама же, несмотря на неудачные деловые проекты, все хорошела и хорошела. Она, как и прежде, проводила утром два часа перед зеркалом, разрисовывая лицо карандашами и кисточками в цвет «пьяной вишни».

Если говорить о весе, одно страусиное яйцо равняется двум десяткам обычных куриных яиц. В яйце два литра густой жижи. Если вы, к примеру, готовите на скорую руку в какой-нибудь забегаловке, страусиного яйца вам надолго хватит. Может, на целый день. Размером яйцо с мяч в американском футболе, но форма скорлупы ничем не отличается от куриной. Именно это я и должен был говорить туристам: «Обратите внимание — форма как у обычного яйца». Старусиное яйцо выглядит таким совершенным, что кажется ненастоящим. Оно как будто сделано

из пластика. А что, может, те, кто изобрел пластик, и в самом деле вдохновились страусиным яйцом. Я же не мог есть его спокойно, мне все казалось, что внутри маленький, еще неоперившийся страусенок, до боли напоминающий человеческий плод; по крайней мере, мне думалось, что именно так он и выглядит — судя по картинкам из энциклопедии «Золотые книги». А вдруг вы по случайности съедите этот зародыш! Так что будьте осторожнее! Хотя… из них получаются вполне приличные гренки, если поджарить хлеб в молоке да с яйцом.

За несколько лет отец насобирал целую коллекцию уродцев. Среди страусов часто рождались генетические мутанты, к примеру, цыплята с четырьмя лапами, двумя головами, а то и вовсе без головы, но с громадным тельцем. Может, такое количество генетических сбоев объяснялось тем, что ферма находилась неподалеку от целлюлозно-бумажного завода, выбрасывавшего диоксин, а может, всему виной хром, полихлорированные бифенилы или что там еще. Вот всегда так — не одно, так другое. Ну да суть в том, что эти уродцы в некотором роде составили отцово счастье — всю свою коллекцию он забрал с собой. Собственно, ничего такого в этом нет. Хотя… мне вот на заднем сиденье было не очень удобно — яйца и уродцы заняли все место.

Свою закусочную мы открыли не в Бидуэлле — с Бидуэллом нас связывали неприятные воспоминания, там мы разорились и все такое. Так что пришлось двинуть дальше — туда, где жизнь не такая дорогая. Остановились в Пиклвилле — вот уж где все дешево, правда, и делать совершенно нечего. В Пиклвилле жители занимались тем, что стреляли по диким котам. Этого зверья там развелось видимо-невидимо. Дети учились расправляться с ними, а заодно и с другими представителями дикой природы. Еще в Пиклвилле была железнодорожная станция, на которой раз в день останавливался поезд, следовавший из другого штата. Мама решила, что раз поблизости станция, наверняка пассажиры захотят посидеть в уютной семейной закусочной. Итак, мы открыли заведение, которое назвали «Глупыш» — по имени того самого двуглавого страусенка. Внутри все было стилизовано под старые добрые времена, ну, вы знаете: зал длинный такой, как ректальная свеча, везде алюминий и хромированное покрытие, у каждой кабинки музыкальные автоматы… Жизнь как будто повернулась вспять. На новом месте мне повезло: школа находилась в районе поприличнее, я завел дружбу с ребятами из хороших семей, которые, правда, считали меня деревенщиной и пеняли за то, что, мол, я водился с тупыми придурками.

Родители обзавелись неоновой вывеской, полкой, на которой отец разместил результаты своих экспериментов со страусами, а потом стали готовить рагу из индейки и много чего другого с рубленым мясом. Почти любое блюдо в закусочной обязательно включало в себя тонко порубленную говядину. Мама решила, что мы должны работать круглосуточно — время от времени товарные составы высаживали пассажиров (таким образом ей не приходилось сталкиваться с отцом, который работал в другую смену). Бродяги, путешествующие в товарняках, забредали к нам; на их лицах было написано, что они никогда ничего не имели за душой и нигде не жили подолгу. Иногда бродяги заказывали яичницу из одного яйца, обжаренного с обеих сторон; отец принимался соблазнять их на страусиное яйцо. Бродяги рассматривали яйцо со всех сторон, потом громко звякали мелочью и, наконец, уходили.

Мне думается, отец решил, будто жителям Среднего Запада свойственны дружелюбие и общительность, так что, несмотря на вечные неудачи и все возраставшую меланхолию, он старался изобразить из себя хозяина радушного, всегда готового развлечь гостя шуткой. Этакого веселого трактирщика. То была его последняя надежда. Отец стал улыбаться посетителям, даже нам с матерью, и это вошло в привычку. Я стал улыбаться беспородному коту, который поселился в нашем трейлере. Стал улыбаться даже ребятам в школе, обзывавшим меня деревенщиной. Но страусиное яйцо все испортило.

Однажды дождливым вечером я проснулся поздно, отлынивая от домашней работы, как вдруг услышал жуткий вопль из закусочной. Такой ни с чем не спутаешь, сразу ясно — случилось что-то из ряда вон выходящее. У меня аж мурашки забегали по коже. Отец ворвался в трейлер, громко всхлипывая и швыряясь тарелками. Мне особенно запомнилось, как мама, никогда не прикасавшаяся к уже сильно сдавшему отцу, гладила его лысину, будто пыталась распрямить борозды волнений и тревог.

А дело было так. Джо Кейн, державший стриптиз-клуб в Бидуэлле, ждал своего папашу, адвоката от республиканского округа. Тот как раз проезжал мимо станции — в столице штата слушалось громкое дело. Поезд задерживался, и Джо убивал время в закусочной: выпил уже несколько чашек кофе и прослушал весь репертуар Мерла Хаггарда.[63] Часа два Джо сидел, не обращая на моего отца никакого внимания, но в конце концов решил все же нарушить молчание. И выдал какую-то банальность, вроде: «Вот, мол, жду своего старика. На поезде едет. Да что-то опаздывает».

Может, отец столько всего передумал об этой персоне,

сидевшей прямо перед ним и оказавшейся сыном окружного адвоката, что не на шутку разнервничался. У него даже пена начала собираться в уголках губ. Когда играют в шахматы, количество ходов нарастает с самого начала; может, и отец, желая сказать что-нибудь остроумное, решил заранее просчитать в уме каждый возможный поворот в беседе с Джо Кейном, но, застигнутый за размышлениями, умудрился выставить себя полным кретином.

Взял и пробормотал свое излюбленное: «Приветики-конфетики!»

— Приветики-конфетики?! — повторил Джо Кейн. Он ушам своим не поверил. Такое услышишь разве что в детской передаче, но никак не в современном мире с его школьными перестрелками и религиозными сектами. Ну а дальше пошло-поехало: закаканчик, печенюшка, тру-ля-ля, шуры-муры… Все, что угодно, лишь бы поддержать разговор с посетителем, лишь бы тот не ушел. В своем сборнике партий отец отыскал разговорный гамбит под названием «испепеляющее презрение озаряет лицо вашего соперника», и ему не осталось ничего другого как продолжать разыгрывать партию — все в той же дружелюбной манере. Что он и сделал.

— Э… а вот вы слыхали, что Христофор Колумб, когда открыл эту самую нашу Америку, схитрил? Смошенничал, да еще как! Заявил, что поставит яйцо стоймя. А ведь такой фокус можно проделать только в день равноденствия. Ну, не вышло у него, но скорлупу зачем разбил? И вообще, почем мне знать, может, яйцо это вообще сварили. Вкрутую. Видать, Колумб не такой уж и великий, раз не смог поставить яйцо, не разбив скорлупы. Знаете, я даже сомневаюсь, стоит ли каждый год праздновать эти его годовщины, ведь насчет яйца-то он соврал. А может, и насчет остального тоже. Все твердил, что не разбивал скорлупу, когда на самом деле разбил. Нет, так не пойдет!

Для наглядности отец потянулся к полке, на которой валялась целая дюжина страусиных яиц — для нужд закусочной — и снял одно. Стойка была жирной от засохшего бекона, кукурузного сиропа, молока, меда, черной патоки, на ней кишмя кишели сальмонеллы. Отец положил яйцо на стойку.

— Ничего себе яичко! — заметил Джо Кейн. — Это что, мутант после ядерного взрыва? Небось вместо инкубатора кладете их в реактор?

— О яйцах я знаю побольше других, — пробурчал отец.

— Ничуть не сомневаюсь, — сказал Джо Кейн.

— Это яйцо меня послушается. Поддастся моим волшебным чарам.

— Ну, раз вы так говорите…

Отец попытался поставить яйцо, но у него ничего не вышло. Он стал пробовать — еще и еще. Лично я не представляю, кому такое в голову пришло — ставить яйцо стоймя. Ведь не пытаются же поставить тыкву или, скажем, футбольный мяч. Видать, эта идея овладела умами людей с тех самых пор, как вообще появились яйца. Может, это потому, что все мы в некотором роде происходим из яйцеклетки, пусть даже она и не похожа на то самое яйцо, которое мой отец все пытался поставить перед Джо Кейном. И раз уж мы происходим из некоего яйца, раз уж яйцо ближе всего к истинной точке отсчета нашего происхождения, то мы и неравнодушны к нему. Хотя, если посмотреть с другой стороны, сдается мне, эти яйца берутся от курицы и наоборот… Ладно, нечего меня запутывать. Так вот, яйцо каталось по всему столу — Джо пришлось даже отодвинуть чашку с кофе, и не раз. Отцу же никак не удавалось привести яйцо в равновесие. Но если нет, к чему так упорствовать?

В конце концов, отец перешел к своей коллекции: сняв с верхней полки емкости с формальдегидом, стал показывать Джо Кейну страусиных уродцев. Перечисляя все эти аномалии, он многих называл по имени. Показал и двуглавого зародыша, Глупыша — миленький такой страусенок. Потом поставил перед Джо страусенка с четырьмя лапками. Дальше — две или три емкости с сиамскими близнецами, среди которых «влюбленная парочка». Парочка вполне могла сойти за адскую летучую мышь. Рассказывал отец с дрожью в голосе. Его взгляд, взгляд родителя, гордого за своих отпрысков, любовно взирал на желтоватый формальдегид.

Джо Кейн тем временем прикидывал, как бы сбежать. Он и сам в тот момент напоминал страуса с открытым ртом, он походил на зазывалу перед паноптикумом, где настоящие уродцы, владельцы цирка, из кожи вон лезут, готовые приклеить кость на лоб пони, изображая из него единорога — лишь бы публика раскошелилась. Джо все высматривал местечко, чтобы укрыться от дождя, льющего как из ведра. Какой-нибудь навес или что еще. На правильной стороне путей.

— У этой вот птички аж два мужских хозяйства; я знаю немало парней, которые с радостью согласились бы на такое. Но вы только представьте — потом ведь с женщинами хлопот не оберешься.

А вы замечали, что на Среднем Западе никто друг с другом не целуется? Вот, скажем, в восточной части страны двое встречаются и… чмок друг друга в щеку. Мол, рад тебя видеть! А вот на Среднем Западе такое — редкость. Что вполне объясняет

любовные поползновения работников на страусиной ферме, отвергнутых своими женами, — они так и ищут чьего-нибудь взгляда, пусть даже это будет страусиха, глупо раззявившая клюв. Работники возвращаются домой, а жены начинают их пилить — мол, ты не сделал то, ты не сделал это; мужчины тут же разворачиваются, садятся в пикапы и отправляются в какую-нибудь забегаловку, заказывая еду прямо в машину. Свои горестные песни они изливают в микрофон приемщицы заказов. Раз отец увидал, как один парень, обсуждая с другим бейсбольный матч, дружески хлопнул того по плечу. Дело происходило в обычной забегаловке, каких много. Отцу стало ужасно завидно. Поэтому, показав Джо Кейну страусиный зародыш с двумя мужскими достоинствами, он решил ласково так потрепать Джо за подбородок — в знак добрососедских отношений. И вот отец — высоченный и здоровенный — вышел из-за прилавка, и в то самое время как Джо Кейн уже привстал со стула, собираясь идти, потрепал его за подбородок.

— Ну-ка, погодь, приятель, сейчас я тебе покажу, как запихнуть страусиное яйцо в бутылку из-под кока-колы. Бутылку потом можешь забрать — себе на память. Дарю. Вот как это делается. Нагреваю яйцо в самом обычном уксусе, какой везде есть — уксус размягчает скорлупу. Теперь остается лишь просунуть яйцо в горлышко литровой бутылки — кока-колу я тоже купил в самом обычном магазине. Ну а когда яйцо уже в бутылке, скорлупа снова затвердевает. Вот только если у тебя станут допытываться, как это сделать, ты уж будь другом, не рассказывай, идет? Это наш с тобой секрет, договорились?

Что мог поделать бедняга Джо? Отец уже поставил уксус на горелку. Яйцо в уксусе нагрелось, и отец стал загонять его в горлышко бутылки, но ему это никак не удавалось. Ясное дело — бутылка постоянно выныривала донышком вверх. И падала, скатываясь за стойку. Отец шел за ней и снова принимался за дело. Тем временем поезд подходил к станции. Прошло несколько часов, и вот уже послышался гудок состава на переезде. Отец надавливал на яйцо, вовсе даже не размягчившееся, прижимая его к узкому горлышку бутылки — ничего не выходило. Может, и вышло бы, возьми он бутылку с горлышком пошире.

— В прошлый раз получилось.

— Послушайте, мне пора. Поезд подходит. Мой отец…

— Да сядь же, кому сказал! Ишь, распивает тут кофеек чашку за чашкой, когда она всего-то восемьдесят пять центов! А знаешь ли ты, сукин сын, что ко мне, может, за целую неделю никто больше не заглянет?! Сказать тебе, куда это яйцо войдет запросто, как родное? Черт бы тебя подрал!

И в этот момент яйцо, понятное дело, разлетается, подобно гейзеру — этакий взрыв на нефтеперерабатывающем заводе самоуважения моего старого папаши. Пинты так и не превратившейся в цыпленка жижи заляпывают все вокруг: стойку, стулья, тостер, витрину с черствыми пончиками… И тут Джо Кейн, вовремя убравшийся подальше и стоявший уже в дверях, начинает смеяться, да так обидно! На отцовом лице виснут, покачиваясь, нити белка; отец хватает другое яйцо и запускает им в Джо Кейна. Ну да это все равно, что бороться за чемпионское звание в толкании ядра. Яйцо долетает до ближайшей кабинки и разбивается о крышку музыкального автомата, измазывая желтком весь список песен группы «Джаддз».

После чего и раздался тот самый леденящий кровь вопль, о котором я вам уже рассказывал. Прошу прощения, что повторяюсь, но так уж вышло. Отец находился в закусочной один и, на манер вошедшего в поговорку медведя, что угодил в капкан, взвыл сиреной, напугав жителей всего Пиклвилля, особенно маленьких детей. Есть такие люди, которые любят порассуждать о чужих делах; они наверняка бы высказали несколько догадок насчет этого вопля: мол, отец разозлился на самого себя, поскольку его фокус с яйцом не удался, или он мучился из-за того, что ему вечно не везло. В какой-то степени эти люди оказались бы правы, но от них ускользнет одна немаловажная деталь, которую я сейчас поведаю. На самом деле отец завопил потому, что оскандалился по части желудочно-кишечного тракта. Да, именно так. И хотя в моем рассказе это не самое главное, дело в том, что как раз в то время одна крупная компания, производитель пищевых продуктов, начала пробные продажи сырных шариков. Догадайтесь, где? Правильно, в Огайо. В нашем штате вообще часто устраивают такие продажи — считается, что жители Огайо не особо информированы в этом плане. Сырные шарики стоили дешево, ничего не скажешь, особенно по сравнению с известными марками, к тому же у них был привкус чеддера. Только вот незадача: толстая и тонкая кишки не усваивали жирную кислоту, и она выходила прямиком наружу — где-то две-три столовые ложки. И пачкала трусы, которые потом не отстирывались. Вообще-то, все зависело от того, насколько вы увлекались этими самыми сырными шариками. Если умять целую пачку, могло выйти и хуже. Вот и получилось, что отец оказался не только с лицом, измазанным в яйце, но еще и с запачканными штанами. Да, денек тот еще.

Вы спросите: откуда такие подробности? Ведь меня в закусочной не было, да и отец никогда ни о чем таком не говорил. Уж о течи из анального отверстия точно не

распространялся. После того происшествия отец вообще не особо разговаривал, иногда только, когда ходил на футбол, поругивал наш штат. Вы спросите: и как это я столько всего знаю о жителях Огайо? Ведь в то время я был подростком, а подростки обычно ходят угрюмые, им ни до чего дела нет. Да ладно вам, что-что, а воображение у жителей Канзаса, этой житницы страны, имеется. Мать, сидя дома, «высидела» настоящий план: как нам выбраться из этой дыры, как сделать так, чтобы у меня появилась целая библиотека книг. Однажды ночью ей приснилось, что мы покидаем Средний Запад, где промышленность в полном загоне, сбегаем от бесконечных однокомнатных хибар и домиков у железной дороги. Сон о мальчике-птице из сказки, мальчике, у которого потом родился свой мальчик, а у того — свой: мечты каждого поколения становились все скромнее, превращаясь в то, что сейчас показывает Чак И. Чиз в своем специальном представлении в честь дня рождения, где этот веселый мышонок, любитель сыра, выступает со своими друзьями-музыкантами. Взять хотя бы «Крэкер Бэррел». Или «Уэндиз», «Арбиз», «Ред Лобстер». «Аутбэк Стейкхаус», «Бостон Чикен», «Тако Белл», «Бургер Кинг», «Сбарро», «Пицца Хат», «Баскин Роббинс», «Френдлиз», «Хард Рок Кафе», «Макдоналдс», «Данкин Донатс», «Фришиз Биг Бой»… Поверните направо и затем вниз мимо «Сэмз Дискаунт», «Мидас Маффлер», «Таргет», «Барнз энд Нобл», «Вэл-Март», «Супер-Кеймарт», мимо магазина, где все по девяносто девять центов… Моя лавочка в самом конце. Яйца в этом округе… они, черт возьми, самые крупные яйца, вы таких в жизни не видали.

*Перевод О. Дементиевской*

# К — ЗНАЧИТ ПОДДЕЛКА
# Джонатан Летем

«Идея бродяжек с печальными глазами родилась в Берлине в сорок седьмом, когда я встретил этих детишек, — рассказывает мистер Кин. — Маргарет попросила меня помочь ей освоить живопись, и я предложил взять картинку, какая понравится, спроецировать на холст, обвести и закрасить, как дети учатся рисовать по квадратикам. Тогда она стала копировать мои полотна».

Он дважды подавал на нее в суд, но оба раза Маргарет Кин выигрывала. Иск о нарушении его авторского права не был принят к рассмотрению; затем она сама подала в суд на мистера Кина за клевету, высказанную в его интервью «Ю-эс-эй тудэй», и в подкрепление иска написала перед жюри присяжных картину с изображением бродяжки менее чем за час. Жюри присудило ей компенсацию в размере четырех миллионов долларов. Уолтер Кин отказался участвовать в состязании у мольбертов, сославшись на боль в плече.

«Нью-Йорк таймс», 26 февраля 1995 года

Телефон К. зазвонил, когда он смотрел по кабельному телевидению старый фильм со Знаменитым Клоуном. В фильме Знаменитый Клоун жил в европейском городе, разрушенном войной. Знаменитый Клоун шагал по грунтовой дороге, а за ним, как за гаммельнским крысоловом, гуськом тянулись оборванные дети. Знаменитый Клоун жонглировал тремя кусками хлеба — черствыми горбушками от французских батонов. К. поднял трубку после второго сигнала. Времени было начало двенадцатого. Он ни от кого не ждал звонка.

— Да? — сказал он.

— Это художник К.?

— Да, но я не собираюсь менять мои дальние…

Голос в трубке прервал его:

— Обвинения против вас наконец подготовлены.

Голос звучал веско, авторитетно.

К. ждал продолжения, но голос молчал. Было слышно, как в просторном зале гулко отдается чье-то дыхание.

— Обвинения? — недоуменно повторил К.

Он каждый месяц аккуратно платил минимальный взнос по своей кредитной карте, без задержек.

— Да, и вам придется ответить, — проговорил голос в

трубке. — Мы все подготовили для предварительного слушания. Тем временем идет отбор присяжных. Но вы наверняка захотите ознакомиться с обвинениями.

На экране Знаменитого Клоуна заковывали в кандалы солдаты в черных сапогах. Оборвыши с плачем разбежались, а Знаменитого Клоуна уволокли прочь. За окном, у которого стоял телевизор К., виднелся городской пейзаж — далекие башни офисных зданий, почти без огней, и близкие жилые кварталы, из окон квартир доносились негромкие отзвуки споров, туманной дымкой реявшие в летнем воздухе. В телефонной трубке продолжали звучно дышать.

— Могу я получить выписку? — спросил К.

И тут же подумал: а может, не стоило ничего говорить? Может, самим этим вопросом он признал возможность обвинений?

— Увы, нет, — вздохнул голос в трубке. — Обвиняемый должен явиться лично. Сперва слушания, потом процесс. Все своим чередом. А вы пока готовьте защиту.

— Защиту? — переспросил К.

Он-то надеялся, что с любыми обвинениями, которые ему собираются предъявить, можно будет разобраться не напрягаясь и опосредованно — поставить крестик в квадратике, выписать чек. Однажды он при помощи автоответчика отказался оспаривать обвинение в нарушении правил дорожного движения. «Если вы отказываетесь оспаривать обвинение, нажмите цифру один, — велел ему автоответчик. — Если заявляете о своей невиновности, нажмите цифру два. Если признаете себя виновным, но с оговорками, нажмите цифру три».

— Разумеется, защиту, — отозвался голос в трубке. — Можете не сомневаться, в праве на защиту вам не откажут. — Голос вдруг зазвучал отечески, задушевно, заговорщицки. — Не отчаивайтесь, К. Это ваше слабое место. Я с вами свяжусь.

В ухо ударили гудки. Скорее из любопытства, чем из страха К. набрал *69, но телефон звонившего в открытой базе не значился. К. положил трубку. Тем временем Знаменитого Клоуна, сидевшего в кандалах под косой крышей барака, брил налысо зверь-комендант. В окно заглядывали чумазые растрепанные дети с огромными глазами. Вдали за ними простиралась изгородь из колючей проволоки с пулеметной вышкой в углу, высокой и деревянной. К. щелкнул кнопкой пульта. По каналу фантастики безостановочно крутили «Сумеречную зону». Мужчина проснулся один — в ужасе, в поту, в обшарпанной черно-белой комнате. Наезд камеры, зловещая пульсация закадровой музыки. К., успокоенный, заснул.

Мир центральноевропейского еврейства, прославленный и осмеянный Кафкой, был уничтожен самым чудовищным образом. Существует духовная вероятность того, что Франц Кафка воспринимал свои пророческие таланты как форму вины…

*Джордж Стейнер*

На мой взгляд, он виновен… не в том, в чем его обвиняют, но все равно виновен.

*Орсон Уэллс, о «Процессе»*

Он направлялся к своему арт-агенту Титорелли, когда на улице перед ним возникла Бродяжка. День был холодный, повсюду вокруг лежали сугробы почерневшего снега. Бродяжка была одета не по погоде. Бродяжка дрожала, обхватив себя руками. Галерея Титорелли находилась в Темме (в Тени Манхэттенского Моста), и, хотя была середина дня, на мощеных брусчаткой улицах не было ни одного прохожего. Над ними возвышались ржавые довоенные склады, раньше принадлежавшие мафии, а теперь поделенные на студии-мансарды и престижные квартиры-лофты. Небо было бледно-серым, холодный ветер с Ист-ривер слегка отдавал тухлятиной. Огромные глаза Бродяжки манили К. В них блестели — но не проливались — слезы. Бродяжка взяла К. за руку. Ее рука была холодной, пальцы ерзали в ладони К. Под сенью гигантского железного моста они вместе направились к зданию Титорелли. К. хотел отвести Бродяжку туда, где тепло и уютно. Сквозь стеклянную витрину, на которой было выгравировано имя Титорелли, К. увидел, как Титорелли и его ассистентка Лилия оживленно обсуждают картину, прислоненную к стене за стойкой у входа. К. покосился на Бродяжку, и Бродяжка кивнула К. Интересно, подумал К., как примут Бродяжку Титорелли и Лилия. Может быть, в холодильнике в подсобке осталось немного сыра и крекеров с последней презентации, что-нибудь, чем можно угостить Бродяжку. К. представил себе, как Бродяжка ест из блюдечка с пола, словно кошка или собака. Теперь он воображал, что Бродяжка останется с ним навсегда, отправится с ним домой, где и заживет. Он толкнул стеклянную дверь, и они вошли в галерею. Бродяжка тут же метнулась прочь от К. и бесшумно промчалась вдоль стены, избегая, как кошка в соборе, пустого пространства посередине. Так никем и не замеченная, Бродяжка проскользнула через дальнюю дверь в подсобку; К. один двинулся к Титорелли с Лилией. Арт-агент и его ассистентка рассматривали полотно: на поросшей травой вересковой пустоши два дерева обрамляли

кусок серого неба. Приблизившись, К. увидел, что все пространство за стойкой занимают точно такие же холсты: деревья, трава, небо.

— Слишком мрачно, — махнул рукой Титорелли.

Лилия только кивнула и выдвинула на место отвергнутой картины следующую.

— Слишком мрачно, — повторил Титорелли и снова: — Слишком мрачно, — когда Лилия продемонстрировала ему третий экземпляр небрежно выписанного пейзажа.

Лилия убрала в сторону третье полотно и взялась за четвертое.

— Почему бы вам не повесить их вверх ногами? — предложил К., чтобы не слышать четвертого «слишком мрачно» и спасти Лилию.

— Вверх ногами? — повторил Титорелли, продолжая буравить картину взглядом, как будто его предыдущий вердикт еще не был окончательным. — Это может быть гениально. Давайте посмотрим. — И затем, подняв глаза: — А, привет, К.

К. поприветствовал Титорелли, а также Лилию. Ассистентка робко потупилась. В присутствии К. она всегда смущалась и молчала.

— Ну же, детка, быстро — вверх ногами! — скомандовал Титорелли.

К. изогнул шею, вглядываясь в подсобку и гадая, что сталось с Бродяжкой.

— Титорелли, у тебя есть что-нибудь попить? — спросил К.

— В холодильнике могла остаться кола, — рассеянно махнул рукой Титорелли.

Из выставочного зала К. проскользнул в подсобку, где среди нагромождения холстов и упаковочных ящиков с трудом отыскал небольшой холодильник. Бродяжки нигде не было видно. Он прошагал к холодильнику и отворил дверцу.

Бродяжка сидела в холодильнике. Бродяжка дрожала от холода, обхватив себя руками за плечи, в ее широко распахнутых глазах стояли слезы. Бродяжка вытянула руку и снова стиснула ладонь К. Бродяжка вылезла из холодильника и настойчиво потянула К. за руку к вертикальным стеллажам с крупными холстами у дальней стены. Отодвинув большой упаковочный цилиндр, загораживавший вход, Бродяжка шагнула в последнее отделение стеллажа, оказавшееся пустым. К. последовал за ней. К его удивлению, стеллаж не оканчивался задней стенкой, а вел куда-то во тьму, прорезаемую лишь узкими полосками света из боковых щелей. Бродяжка с К. повернули за угол, и коридор внезапно расширился, перед ними был вестибюль с высоким

потолком и стенами все из тех же стеллажных планок, в щели между которыми едва сочился свет. В темноте К. различил громоздкий силуэт, чью-то массивную фигуру посреди вестибюля. Полыхнул огнем тлеющий кончик сигары, сухо зашуршала бумага. Когда шуршание затихло, К. услышал долгий вздох. Бродяжка опять выпустила руку К. и затерялась между теней. Глаза К. стали привыкать к полумраку. Наконец он разглядел, кто это перед ним. В кресле сидел невероятно толстый мужчина с высоким суровым лбом, кустистыми седыми бровями и бородой. Закутанный во множество пиджаков, жилетов и шарфов, он курил огромную сигару. К. вспомнил, что видел его по телевизору. Это был Рекламный Телепушер.

Рекламный Телепушер защищал определенные потребительские товары: вино, консервированный горошек и грушевый компот, некоторые марки автомобилей и тому подобное. Он подкреплял их продвижение всей своей степенностью и весом, своим корпулентным авторитетом.

— Очень хорошо, К., что вы зашли, — произнес Рекламный Телепушер.

Теперь К. узнал и его голос. Тот самый голос в трубке, звучно предупреждавший насчет обвинений в его адрес.

— Давно пора начать подготовку к вашей защите, — продолжал Рекламный Телепушер. — Дата предварительного слушания уже назначена.

Рекламный Телепушер снова затянулся сигарой, кончик ее снова полыхнул; Телепушер довольно хмыкнул. Запах у сигарного дыма был несколько застоявшийся.

— Вы тут случайно не видели маленькую девочку… Бродяжку? — поинтересовался К.

— Видел, но сейчас это неважно. Ей уже не поможешь, — ответил Телепушер. — Надо сосредоточиться на вашей защите.

Телепушер пошуршал в своем жилете и достал пачку документов; сунул сигару в рот, чтобы освободить руки, и принялся перебирать бумаги.

— Не сейчас, — произнес К., ощущая ужасную срочность, сокрушающее чувство вины по отношению к Бродяжке. Не попросить ли Телепушера одолжить один из его обширных шарфов, подумал он; одного будет явно достаточно, чтобы укутать Бродяжку с ног до головы, уберечь ее от холода. — Я хочу помочь… — начал К., но Телепушер его перебил:

— Раньше надо было думать, тогда и не попали бы в такой переплет. — Он заглянул в бумаги у себя на коленях. — Среди прочего, вас обвиняют в Самопоглощенности.

К. принялся обходить его, держась за стенку, словно

железный шарик в подшипнике, кружащий вокруг Телепушера-оси.

— Самопоглощенность, Самолюбование, Самодовольство, — продолжал Телепушер.

К. обнаружил, что не в силах больше слушать голос Телепушера, переполненный не чем иным, как самодовольством; он молча и на ощупь продолжал свой поиск, двигаясь как можно медленнее, чтобы не ушибить Бродяжку, если на нее наткнется.

— Ага, вот еще одно обвинение — в Имитации.

— А может, в Самоимитации? — тут же съязвил К.

Реплика показалась ему весьма остроумной, однако Телепушер, как будто ничего не заметив, продолжал ворошить бумаги и перечислять пункты обвинения:

— Неплодовитость, Нескромность, Незаконченность…

К. пришел к выводу, что Бродяжка наверняка сбежала из тупичка, в который его завела, проскользнула назад в коридор за стеллажами, возможно, даже юркнула беззвучно у него между ног.

— Смотри Незаконченность: Неудача, Некомпетентность, Неспособность достичь цели или финала; также смотри Великая Китайская стена, Вавилонская башня, «Великолепные Эмберсоны» и так далее, — продолжал Телепушер.

К., не обращая на него внимания, шагнул назад в узкий коридор.

— Смотри Имитация: Подлог, Подделка, Чревовещание, Имитация отца, Имитация неевреев, Имитация гения, Узурпация сценариста…

К. зашагал по коридору к галерейной подсобке, и голос Телепушера вскоре затих. Темный, прорезаемый узкими полосками света проход за стеллажами вывел К. все в ту же тесную подсобку. Бродяжки нигде не было видно, но там его ждала Лилия; когда он появился, она подошла к нему вплотную и зашептала на ухо.

— Я сказала Титорелли, что мне нужно в туалет, — игриво произнесла она. — Хотя на самом деле вовсе не нужно.

От былой робости, которую она всегда демонстрировала при Титорелли, не осталось и следа. Ее блестящие черные волосы, прежде стянутые заколкой, были распущены, очки — сложены и убраны в карман блузки.

— Вы не видели тут ребенка? — спросил К. — Маленькую… Бродяжку. В лохмотьях. С огромными глазами. И тихую как мышка. Она только что должна была тут прошмыгнуть.

Лилия помотала головой. Наверное, подумал К., он неточно выразился, ведь Лилия стояла у самых стеллажей, поджидая его.

— Совсем крошка… — И К. опущенной ладонью указал карликовый рост.

— Нет, — сказала Лилия. — Мы тут одни.

— Все это время Бродяжка была со мной в галерее, — объяснил К. — Мы вошли вместе. Вы с Титорелли были заняты и не заметили.

Лилия беспомощно помотала головой.

— Бродяжка словно призрак, — сказал К. — Ее вижу один я, и она меня преследует. Наверняка это не просто так.

— Странное, должно быть, ощущение, — отозвалась Лилия и погладила К. по руке. — Практически серлингианское.

— Серлингианское? — переспросил К., не слышавший раньше этого термина.

— Именно, — кивнула Лилия. — Ну знаете, как в «Сумеречной зоне».

— Ах вот оно что, — закивал К.; такая аллюзия удивила его и порадовала. Но все же она была не совсем точной. — Нет, пожалуй, ощущение не столько серлингианское, сколько… — Нужный эпитет никак не приходил в голову.

— Титорелли очень обрадовался вашему предложению, — прошептала Лилия в самое ухо К. и придвинула свои губы еще ближе; по его руке прокатилась волна ее тепла. — Он повесил их все вверх ногами — увидите, когда вернетесь в зал. Только, пожалуйста, не прямо сейчас.

К. немного встревожился; советовал-то он в шутку.

— Но как насчет авторского замысла? — спросил он у Лилии.

— Авторский замысел никого не волнует, — ответила Лилия. — Все равно автор умер. Кто его знает, что он там замышлял. К тому же он требовал, чтобы после его смерти картины уничтожили. Вы их спасли, так что слава и почет вам.

— Да что в этом почетного — перевернуть все вверх ногами, — отозвался К.

Но Лилия как будто не замечала его сомнений. Она оттянула ворот его рубашки, потом, зажмурившись и мечтательно улыбаясь, провела пальцем поперек его шеи.

— У вас есть татуировки? — прошептала она.

— Что? — переспросил К.

— Татуировки, где-нибудь на теле, — пояснила Лилия и, еще дальше оттянув его ворот, заглянула под рубашку.

— Нет, — сказал К. — А у вас?

— Да, — ответила Лилия с застенчивой улыбкой. — Всего одна. Хотите посмотреть?

К. кивнул.

— Отвернитесь, — скомандовала Лилия.

К. отвернулся к задней стене подсобки. Чем-то сейчас занят Титорелли, подумал он. Интересно, заметил ли галерейщик их с Лилией отсутствие.

— Все, можете смотреть, — сказала Лилия.

К. повернулся к ней. Лилия расстегнула и широко распахнула блузку. Бюстгальтер на ней был из черного кружева. К. неудержимо потянуло наброситься на нее, осыпать ее шею поцелуями, но в последний момент он сдержался: что-то виднелось в ложбинке между ее грудями, какая-то отметина или знак. Лилия расстегнула защелку между чашечками бюстгальтера и, прикрывая груди ладонями, чуть развела их в стороны. В открывшейся ложбинке К. увидел татуировку. Это был портрет Бродяжки или ребенка, очень похожего на Бродяжку, — растрепанного, с огромными блестящими глазами и крошечным, печально искривленным ртом. Приглядевшись, К. заметил, что у ребенка, вытатуированного на груди у Лилии, тоже есть татуировка: ряд крошечных цифр на запястье.

— Мне пора идти, — сказал К. — Титорелли уже, наверно, беспокоится.

— Приходите ко мне сюда, когда захотите, — прошептала Лилия, быстро застегивая блузку. — Титорелли все равно.

— Я позвоню, — сказал К., — или напишу мейл. У вас есть электронная почта?

Ему было тревожно, не терпелось вернуться в зал, броситься вслед за Бродяжкой.

— Просто пошлите мне мейл на адрес галереи, — ответила Лилия. — Все равно на ваши мейлы отвечаю я. Титорелли никогда их не читает.

— Но вы отвечаете голосом Титорелли! — сказал К.; это было настолько неожиданно, что Бродяжка отступила в его мыслях на второй план.

— Ну да, — отозвалась Лилия неожиданно глубоким псевдобасом; сам Титорелли говорил далеко не так басовито, но свою мысль она донесла. — В интернете я прикидываюсь мужчиной, — продолжала она тем же голосом и, прижав подбородок к груди, сузила ноздри, словно изображая нелепую пародию на сильный пол. — Только никому не говорите.

К. быстро чмокнул ее в щеку и устремился в зал галереи, где Титорелли как раз пристраивал на стену последний из пейзажей. Перевернутые пейзажи висели теперь по всему периметру.

— А вот и вы, — сказал Титорелли и вручил К. несмываемый маркер. — Мне нужна ваша подпись.

— Вы не видели тут… ребенка… Бродяжку? — спросил К., обходя Титорелли слева; ему хотелось поскорее разделаться со

всеми бумагами.

— Букашку? — переспросил Титорелли.

— Да нет, Бродяжку — ребенка с огромными печальными глазами, — объяснил К. — Ну, где бумаги?

Через витрину галереи К. посмотрел на улицу, и ему показалось, что он видит Бродяжку — та стоит на заснеженной брусчатке, снова обхватив себя за плечи, и смотрит на него.

— Не бумаги, — сказал Титорелли, — а картины. — Он указал на ближайший из перевернутых пейзажей, постучал пальцем по правому нижнему углу рамы. — Достаточно ваших инициалов.

К. с раздражением нацарапал на картине свою метку.

— Я должен торопиться, — произнес он.

Бродяжка терпеливо ждала среди сугробов, маня его своими скорбными, переливчатыми глазами.

— Вот, — сказал Титорелли, подводя К. за локоть к следующему из перевернутых пейзажей.

К. подписал. На улице Бродяжка отвернулась.

— И следующий, — сказал Титорелли.

— Все, что ли? — возмутился К.

На улице Бродяжка двинулась прочь, уже не более чем пятнышко, почти незаметное на фоне снега.

— Будьте так добры, — произнес Титорелли.

К. подписал оставшиеся полотна и направился к двери.

— Может быть, теперь мы сможем как-то подать этот ужас, — бросил ему вслед Титорелли. — Если они пойдут, я скажу ей написать еще несколько, она может штамповать их во сне.

— Прошу прощения? — развернулся К., совсем сбитый с толку. Подать ужас? Штамповать во сне?

На улице Бродяжка исчезла.

— Разве этот художник не умер? — спросил К.

— Не умер, — ответил Титорелли. — Если, конечно, ее можно назвать художником. Это все дело рук Лилии.

Бродяжка исчезла.

«Гражданин Кафка» *(название панк-группы на флаере, Сан-Франциско, ок. 1990 г.)*

Очнувшись однажды утром от страшного сна, розовощекий вундеркинд обнаружил, что он у себя в постели превратился в трехсотфунтового рекламного телепушера.

Проснувшись однажды утром после навеянного красным криптонитом сна, Супермен обнаружил, что он у себя в постели

превратился в двух евреев-комиксистов.

Очнувшись однажды утром от страшного сна, клоун Видимый-миру-смех обнаружил, что он у себя в постели превратился в гигантского клоуна Невидимые-миру-слезы.

Очнувшись однажды утром от страшного сна, рисующий безутешных детей художник обнаружил, что он у себя в постели превратился в собственного адвоката, которого в его голливудские дни обвиняли в шарлатанстве, плагиате и в том, что он перекрасил волосы Риты Хейворт в черный. Здорово, подумал он, этого-то мне и не хватало. Как выяснилось, он стал настолько тяжелым, что с постели ему пришлось скатываться.

Очнувшись однажды утром после страшного сна, модернизм обнаружил, что он у себя в постели превратился в гигантский постмодернизм.

У Бродяжки нет постели.

Грегор Замза юркнул в ближайшую телефонную будку.

— Похоже, — сказал он, — эта работа как раз для гигантского насекомого.

В своем опус-магнум я хотел отразить нерешенные проблемы человечества; всем им положила начало война, о чем не дает забыть это мучительное зрелище людей-крыс на развалинах Берлина… бесконечные эскизы, наброски углем валялись у меня по всей мастерской долгие годы. И каждый — вслепую, ощупью — подводил меня к этому моменту…

*Уолтер Кин, в «Уолтер Кин: Завтрашняя классика»*

Я у последней черты, пред которой мне, наверное, опять придется сидеть годами, чтобы затем, может быть, начать новую вещь, которая опять останется незаконченной. Эта участь преследует меня.

*Кафка, «Дневники»*[64]

Серым весенним утром, накануне того дня, когда К. должен был исполниться тридцать один год, его вызвали в суд. Он и не думал, что процесс, который так долго откладывали, все же состоится. Век живи, век учись. От квартиры его сопровождали судебные приставы в черных костюмах, противосолнечных очках и с неподвижными, до комичного суровыми лицами.

— Вы похожи на статистов из «Секретных материалов»! —

воскликнул К.

Но судебные приставы хранили молчание. Взяв К. под руки и крепко зажав с боков, они спустились с ним по лестнице и вышли на улицу. Все так же молча они препроводили К. сквозь безразличную толкотню спешащих на работу прохожих, через утренние пробки автофургонов и таксомоторов к новому «Марриотту» в бруклинском даунтауне. Объявление в гостиничном вестибюле гласило: «Добро пожаловать на процесс К. в бальный зал „Либерти“ А /Б», а ниже шрифтом помельче: «Здесь не курят». Приставы отвели К. через вестибюль в бальный зал, временно переоборудованный в зал суда. Там уже было битком, и при появлении К. вскинулся хор перешептываний. Приставы отпустили К. и знаками велели ему идти туда, где ждали судья, присяжные, защитник и обвинитель. К. двинулся по центральному проходу, горделивой осанкой демонстрируя свое безразличие к выпученным глазам публики, к их крутящимся шеям, к многоголосому шепоту. Подойдя поближе, К. увидел, что его защитник — не кто иной, как Рекламный Телепушер. Тот грузно поднялся со стула и протянул К. руку для пожатия. К. пожал его руку, неожиданно мягкую и тут же выскользнувшую. Теперь К. увидел, что обвинителем выступает Знаменитый Клоун. В безупречном костюме-тройке и гигантских, отлакированных до блеска штиблетах, тот остался сидеть за столом, мрачно щурясь через очки на кипу документов и делая вид, будто не заметил появления К. На месте судьи К. увидел Бродяжку. В тяжелой черной мантии она сидела на высоком табурете, мелко завитой парик частично скрывал ее растрепанные волосы, но не мог скрыть бесконечного страдания в черных омутах ее глаз. Бродяжка сосредоточенно вертела в руках судейский молоток и никак не отреагировала на появление К. в зале. Телепушер усадил К. рядом с собой за стол защиты, так что Бродяжка оказалась прямо перед ним, а Клоун-обвинитель — справа. Жюри присяжных сидело на возвышении по левую руку от К., и он никак не мог заставить себя посмотреть в их сторону. К. не хотел ни жалости, ни каких-либо особых послаблений.

— Не бойтесь, — театральным шепотом проговорил ему в ухо Телепушер. Он заговорщицки подмигнул, хлопнул К. по плечу и зачастил: — Процесс завершился, можно сказать, и не начавшись. Я снял с вас почти все обвинения. Например, в Незаконченности. Оказывается, из свидетелей у них только и были, что Недописанные Главы и Вычеркнутые Автором Куски. Они рассчитывали выставить их одного за другим, но я отвел всех из соображений характерности.

— Недостаточной характерности? — уточнил К.

— А то! — хвастливо отозвался Телепушер и драматично выгнул бровь. — Да только поглядите на них. Вы их прискорбно недописали!

К. и не думал о себе как об *авторе* Недописанных Глав и Вычеркнутых Автором Кусков, скорее уж как о вымышленном персонаже, в полной мере страдающем от той же недописанности. Впрочем, достаточно было одного взгляда на Недописанные Главы и Вычеркнутые Автором Куски — теснившиеся на галерке, недовольно роптавшие и готовые испепелить К. взглядами, — чтобы понять: они осведомлены ничуть не лучше. Недописанным Главам нельзя было отказать в достоинстве; да, галстуки на них были не самые модные, да и завязаны небезупречно, но они хотя бы позаботились надеть галстуки. А вот Вычеркнутые Автором Куски немногим отличались от обычного сброда. И все же что-то подсказывало К. проявить снисходительность. Как-никак и Главам, и Кускам должно быть чрезвычайно обидно лишиться слова в суде после такого долгого ожидания.

— К тому же, — продолжал Телепушер, — с вас сняты обвинения в Имитации, Чревовещании, Узурпации и тому подобном.

— Как это вам удалось? — не без обиды поинтересовался К. — Каких еще свидетелей пришлось вымазать грязью, только чтобы я не должен был защищаться от обвинений в том, в чем, кстати, совершенно невиновен?

Телепушер и бровью не повел.

— Нет, вовсе не свидетелей, — ответил он с гортанным смешком. — Это была побочная сделка между мной и моим коллегой с противной стороны.

К. покосился на Знаменитого Клоуна, который как раз буравил Рекламного Телепушера ненавидящим взглядом, в то же время поправляя свои вставные резцы. К. услышал резкое, ритмичное хлопанье и увидел, что Знаменитый Клоун подошвами гигантских штиблет постукивает по полу под своим столом. Телепушер ничего не замечал, или ему было все равно.

— Скажем так, — проговорил он, — вы не единственный в этом зале, у кого есть свои скелеты в шкафу… вернее, миллион масок и накладных носов в гардеробе. — Телепушер ухватился за собственный шнобель картошкой и сделал серьезную, можно даже сказать трагическую мину. — Да и у меня самого… — Он явно собирался отвлечься на какую-то историю из прошлого, но передумал и махнул рукой. — Как бы то ни было, радоваться еще рано. Один пункт обвинения по-прежнему остается — пустяк, не более того. Вы можете искоренить его двумя смелыми взмахами

кистью.

— Как это — кистью? — спросил К.

— Вас обвиняют в Подделке, — объяснил Телепушер. — Явный бред, морок, но все же его необходимо развеять. Одна женщина заявила, будто кое-какие из ваших работ на самом деле принадлежат ей. Я договорился с обвинением устроить для жюри небольшой наглядный показ, прекрасно понимая, как вас обрадует эта возможность оправдаться самым непосредственным образом.

— Показ? — переспросил К.

— Ну да, показ, — усмехнулся Телепушер. — И едва ли достойный вашего таланта. Поедание хот-догов на скорость и то было бы менее унизительно. Но, в любом случае, это будет именно тот яркий штрих, без которого нынешние показательные процессы не обходятся.

Приставы, увидел К., втащили в зал два подрамника и установили их перед скамьей Бродяжки. На подрамники натянули холсты, принесли и выложили на ближайший стол два комплекта кистей и две палитры с красками. Бродяжка с нехарактерным для нее возбуждением перекатывала ручку судейского молотка вправо-влево.

— Не обязательно писать шедевр, — сказал Телепушер. — Достаточно продемонстрировать владение техникой.

— Но что это за женщина? — спросил К.

— А вот и она, — прошептал Телепушер, толкая К. в плечо.

К. обернулся. В зал суда входила Лилия, ассистентка Титорелли. Скамья присяжных загудела, как улей. На Лилии были аккуратный белый халат и белый берет живописца. В глазах ее горела решимость, на К. она и не смотрела.

— Идите, — прошептал Телепушер. — И мой вам совет: напишите что-нибудь сентиментальное. Что-нибудь, чтобы растрогать жюри.

К. встал из-за стола. Теперь он увидел, что скамью присяжных заполняют малолетние оборвыши, очень похожие на Бродяжку — которая поднялась в своей мантии и ударом молотка призвала художников приступить к показу. Лилия схватила кисть и тут же принялась писать; первым делом она очертила посередине холста два больших круга. Груди, что ли, подумал К., но тут же понял, что на самом деле это два огромных, примитивно намалеванных глаза: Лилия начинала писать портрет Бродяжки. К. двинулся к столу. Дойдя и потянувшись за кистью, он ощутил внезапную очистительную боль в плече, там, куда его минуту назад ткнул Телепушер, боль настолько острую, что он усомнился, сумеет ли работать кистью, сумеет ли вообще поднять руку; та казалась

теперь тяжелой и неуклюжей, будто отсохла. Лилия же тем временем продолжала сосредоточенно трудиться у подрамника.

(*Примечание:* Здесь отрывок заканчивается. Тем не менее, на мой взгляд, следующая цепочка в сочетании с главами, предшествующими отрывку, раскрывает его смысл с несомненной ясностью. — Бокс Драм, редактор.)

Не люблю его концовку. Как по мне, это «балет», написанный евреем-интеллигентом, когда о Гитлере еще и не слыхивали. Кафка не написал бы такого после гибели шести миллионов евреев. Очень какое-то до-аушвицевское ощущение, как по мне. Не хочу сказать, что мой вариант концовки так уж хорош, но другого решения просто не было.
*Орсон Уэллс, о «Процессе»*

Смотрите: очнувшись однажды утром от праведного сна, К. обнаружил, что он у себя в постели превратился в супергероя — Холокостмена!

Смотрите: Холокостмен в виде голема, невероятно сильного, твердого как камень и с выбитой на груди звездой Давида, выступает в поход!

Смотрите: Холокостмен и его придурковатый подручный Клоунмен побеждают мистера Предрассудка, мистера Вину, мистера Туберкулеза, мистера Иронию, мистера Паралича и мистера Концлагеря!

Смотрите: Холокостмен и Клоунмен выводят нескончаемый поток оборванных, осиротевших детей через европейские поля сражений к безопасности!

Видимый миру смех! Невидимые миру слезы!

## *От переводчика*

*Нет особого смысла комментировать рассыпанные по тексту цитаты, дословные и искаженные, из самого Кафки или многочисленные тонкие намеки на толстые (орсон-уэллсовские) обстоятельства. Но вот какой вопрос хотелось бы в двух словах осветить: почему клоун?*

*В 1972 году известный комик Джерри Льюис — звезда примитивной буффонады 1950-х, своего рода эталон грубого юмора — поставил (и сам же сыграл в нем главную роль) фильм «День, когда клоун заплакал» о клоуне Гельмуте Дорке, который попадает в концлагерь, где пытается развлекать детей, а в итоге помогает отвести их в газовую камеру. Выпущен в прокат и даже окончательно смонтирован фильм по разным причинам не был (финансовые неурядицы у продюсера, иск автора исходного романа и т. п.) и в итоге стал своего рода легендой. Не на уровне «Плана 9 из открытого космоса», но близко: немногие счастливчики, которые смотрели черновую копию, в один голос говорят, что ничего более нелепого в жизни не видели. Впоследствии попытки экранизировать этот роман Джоан О'Брайен предпринимались неоднократно, но так ни к чему и не привели; одним из не реализовавшихся проектов была ко-продукция 1991 года с «Ленфильмом», причем главную роль должен был исполнять Робин Уильямс.*

*Перевод А. Гузмана*

# ДНИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ЗДЕСЬ
# Келли Фини

**1**.

Отель называется «Лонгакр». Здесь не принято представляться. И разузнать имена других постояльцев можно одним-единственным способом: прислушаться, когда тех подзывают к телефону. Такое нечасто, но случается, и тогда резкий голос служащего сотрясает тишину пустой бежевой столовой.

Я ужинаю одна, еще при свете дня, глядя на теннисные корты, где никто никогда не играет. Иной раз принимаю за ужином таблетку снотворного. Таблетка действует на меня умиротворяюще. Мне нравится официант. Он приносит воду — комнатной температуры, безо льда — в чистом, совершенной цилиндрической формы стакане.

Иногда ужинаю в номере, сидя за столом. В ожидании официанта нервничаю. Навожу в комнате порядок, проверяю, есть ли мелочь, чтобы дать на чай. Смотрю на дверь, потом — на часы. Мне все кажется, что со стороны я выгляжу так, будто никогда ничего не заказывала в номер.

Номера в отеле очень даже ничего, но какие-то застывшие: старая деревянная мебель со скругленными углами, занавески в сеточку, не защищающие от любопытных глаз, слегка выгоревшее желто-бирюзовое покрывало… Такая же палитра присутствовала в убранстве знаменитого финского курорта в Паймио — считается, что эти цвета благотворно воздействуют на легочных больных. В лечении покоем важное место отводилось поддержанию чистоты. О чем я узнала из буклета «Легендарный „Лонгакр“». А вот еще одна отличительная черта «добровольно-принудительного» стиля — злоупотребление татами на полу. Ходить по ним одно мучение — до того щекотно ногам.

Помимо прочего в буклете указывают на разницу между диетой больных и диетой выздоравливающих, которая заключается в бульонах; предостерегают против неправильного сочетания продуктов и просительно напоминают: «Крошки в постели — первейший враг удобству пациента». Источники минеральной воды давным-давно иссякли, после чего исчезли и кинозвезды, прибывавшие на курорт на частных самолетах. Заброшенная взлетно-посадочная полоса поросла ковылем.

Стараясь проникнуться историческим духом места, я дважды в день принимаю ванну, а по вечерам жую в постели крекеры.

**2.**

Чего я только не перепробовала. Пробовала сосредоточиться на каком-нибудь удаленном предмете, пробовала писать свое имя в воздухе, пока не научилась выводить буквы слева направо и справа налево. Пробовала ходить на семинары, сменить прическу, пробовала даже найти себя в телефонной книге. В поисках средства излечения я удваивала усилия, но тем самым делала себе только хуже. Я так долго ждала ее смерти, и вот теперь не знаю, чего еще ждать. Я не могу смотреть на ее фотографии, не могу читать ее книги… Мне ну никак не удается привыкнуть.

Началось же все в феврале; так оно и случается. Стоит кому-нибудь забыть о моем дне рождения, как я даю себе обещание стать лучше.

Я начала пить какой-то чай, заваренный из веточек — восемнадцать долларов за фунт. Я готовила каши в скороварке. Ела невкусные, очищающие кровь овощи. «Пойте веселую песню каждый день», — гласил буклет.

А может, и не в феврале. Может, весной или осенью. Я не могла больше смотреть ни на машины, ни на здания, ни на закаты… ни на что; не в состоянии была сказать по поводу предметов моей ненависти что-нибудь смешное. Повсюду царила безвкусица, и с ней необходимо было бороться. Целые континенты поглощались океаном, все неизбежно тонуло.

Обычно после завтрака я не спеша поднималась на чердак — проверить, вдруг белка попалась. Частенько в клетке-ловушке сидело это вонючее существо с большими, красными глазами. Ловушка называлась «Имей жалость!» — мой личный девиз. Я запирала ловушку в багажник машины и отправлялась на работу. Однажды утром мой начальник приехал как раз тогда, когда я, балансируя на заснеженной полосе вдоль подъездной дороги, держала свою пленницу. Выскакивая из своего «сааба», начальник отпустил мне комплимент по поводу неприметного облачения. Казалось, при виде меня он смутился. Я выпустила белку на свободу; прежде чем прыгнуть из клетки, она взяла и плюнула в меня. Стоя на этой заснеженной полосе, я вдруг преисполнилась чувства праведности, и это вопреки нелюбви к грызунам и начальникам. На мгновение я стала доброй и бесстрашной, и это в двенадцати милях от своего чердака. Может, помогла диета.

Пять раз в неделю в обеденное время я ездила в городок, причем в большой спешке, торопясь проскочить все светофоры. Сидя в приемной детского центра, я читала прошлые номера «Оперных новостей». Я пробовала увлечься оперой. Интересно, вырасту ли я когда-нибудь настолько, чтобы не посещать детского психолога?

После приема я всегда испытывала желание купить что-нибудь в отделе товаров для младенцев. Продавщица в магазине улыбалась мне — за три года я приобрела у них целых семнадцать вещиц. Знакомы ли ей мучения бездетных? Однажды я купила маленький бархатный костюмчик — куртку и брюки в тон; куртка была с капюшоном. Размышляя, я пришла к выводу, что костюмчик подошел бы маленькому паше. Для себя взяла церковную свечу с изображением лестницы («La Escalera»)[65] в разноцветных блестках. Мне прописали жечь свечи и много дышать.

Теперь я соблюдала другой режим — ела изысканные блюда, всякие восточные соленья. Блюда подразделялись на те, которыми я могла баловать себя каждый день, изредка и никогда. Помимо соблюдения режима питания заняться было нечем. Разве что подчиняться безжалостным запретам: на кофе, алкоголь, ночные тени, субтропические фрукты и электричество. Я надеялась выздороветь. Обрести ясные, не имеющие голоса мысли.

**3.**

После утренней прогулки вокруг старого курорта я возвращалась в номер — постель была уже застлана. Белье выглядело накрахмаленным, покрывало подтыкали с особым тщанием. До чего же здорово, когда о тебе заботятся! Чтобы забраться в постель, приходилось отворачивать край покрывала и протискиваться внутрь. А потом лежать между выглаженных простыней без движения, едва дыша. Что ж, заключение на небольшой срок мне не повредит. Разве не пытали пуритане подозреваемых в колдовстве и прелюбодеянии тем, что клали им на грудь доску, на которую потом наваливали тяжелые камни — пока не вырывали признание? Подкладывали валуны и задавали вопросы, постепенно ломая ребра и давя легкие.

**4.**

Начальник признался мне, что у них с женой не все хорошо. Что они не ладят. Я не хотела слышать об этом, не хотела знать, как именно они не ладят и что именно у них нехорошо. Но, будучи от природы мягкой и отзывчивой, вынуждена была слушать. Начальник пребывал в раздражении — ударился головой о копировальный аппарат. Из-под рукава его пиджака свободного покроя виднелась манжета с вышитой монограммой. В тот раз у него был день желтого галстука. (Про себя я подсчитываю, сколько галстуков он сменил за месяц.) Откинувшись в кресле, я надеялась выглядеть умней, чем себе казалась. Сидела и смотрела на пухлые губы начальника, на выпученные глаза. Его толстая шея готова была лопнуть. Я

слушала столько, сколько сочла приличным, на самом деле думая о канцтоварах.

Сидя на своем рабочем месте, я чего только не ждала. Ждала FedEx[66] и UPS,[67] ждала доставку почты, ждала одиннадцати часов и затем трех, ждала предлога сбежать с работы пораньше. Но в основном ждала смерти миссис Альбрехт.

**5.**

Приходящий в упадок отель напоминает мне о том, чего я не могу видеть, чего не могу желать. Я брожу вокруг заброшенного бассейна, прокладывая дорожку между давно пустующих кабинок для переодевания. Ветка розы царапает руку — отель пользуется тем, что я пребываю в нервном оцепенении. Ближе к вечеру в воздухе разливается мягкий розовый свет, сообщающий всему оттенок торжественности — такой, как известно, говорит об упущенных возможностях.

Я приехала сюда, я решила приехать на спор с самой собой, шутки ради. У меня болела спина, и я искала местечко, где можно лежать без движения дни напролет. Но никто не верил в реальность моей боли. Никто не считал обслуживание в номер оправданным.

Возможно, администрация за стойкой не принимает меня за человека добропорядочного, желающего выздороветь. Они видят, как я, в попытке сродниться с отелем, то и дело спрашиваю — не пришло ли чего на мой адрес.

Служащий смотрит на меня поверх очков для чтения. Он не одобряет того, что каждую субботу я засиживаюсь в комнате отдыха, буквально приклеившись к салатовому дивану, и с преувеличенным интересом гляжу в экран, где на канале Пи-би-эс известные шеф-повары делятся своими секретами. Оказывается, в слоеном пирожке 729 слоев теста.

Однажды вечером, лежа у себя в номере, я вздрогнула от неожиданности — по кровати метнулись отсветы фар. Преломленный свет прошелся по моей груди и правой стороне лица. Кто-то прибыл? Нет, машина едет дальше. Отсветы фар исчезают в окне — так же внезапно, как и появились.

**6.**

Я пытаюсь представить, что происходит на работе, когда меня там нет. По-прежнему ли все бегают из кабинета в кабинет, хлопая дверьми? Сидят ли у себя подолгу, разгибая и сгибая скрепки?

Работа — иными словами, фонд — находится за городом, на небольшом возвышении. Когда открываешь дверь, видишь одновременно лестницу, ведущую вверх, к кухне, и другую лестницу — вниз, прямо в кабинет. Глядя на дом, поневоле

замечаешь, до чего же он зауряден. Мне всегда казалось, что в этом, да еще в желтом знаке «Тупик» поперек дороги и кроется причина неудач. Еще одна неудача в том, что я проработала в фонде тринадцать лет: кое-кто поговаривал, будто я выгляжу точь-в-точь как жена начальника, только стройнее.

Сейчас, когда на работе меня нет, я парю над ступеньками лестницы, над шаткими металлическими перилами и выглядываю за угол: интересно, кто там? Спальню миссис Альбрехт переделали в кабинет для нового сотрудника. На месте кровати стоит стол. Я проплываю в кухню, где в хромированном чайнике отражаются выпуклыми миниатюрами картины на стене позади меня. Целый мир желтых квадратиков. Я передвигаюсь тихо, подобно облаку, плыву вдоль коридора и оказываюсь в комнате, где раньше жила медсестра, а теперь обосновался мой начальник. Комната пустует — днем у начальника свидание за игрой в теннис. На столе скопилась почта — кипы бумаг даже покачиваются, готовые упасть. Экран компьютера светится текстом очерка, который пишет начальник. После смерти мужа миссис Альбрехт медсестра, полячка Ядвига, с криком выбежала из этой комнаты и больше уже не возвращалась — ее напугало привидение.

Телефон мигает лампочкой — на нижнем этаже кто-то набирает номер.

**7**.

Миссис Альбрехт, та самая, которая взяла на себя руководство фондом мужа, все цеплялась за жизнь. В прошлом году мы уже в который раз решили, что теперь-то ей наверняка конец — температура у девяностотрехлетней миссис Альбрехт подскочила до 42 градусов. И даже отправили фотографии и черновик некролога с курьером в «Таймс». Уверенные, что ничуть не торопимся. Когда же, наконец, миссис Альбрехт действительно умерла — а уже начало казаться, что старуха будет усыхать в своей кровати наверху вечно — она умерла во сне. Надеюсь, миссис Альбрехт не звала тех, кого не было рядом.

Журналистка, отвечавшая за колонку новостей из мира искусства, обычно писала про антиквариат. Звали ее Эйлит; она осведомилась о причине смерти.

— Умерла во сне, — ответила я. — В возрасте девяносто четырех лет; с каждым годом ей становилось все хуже.

— Мы всегда указываем причину смерти. А что в полицейском отчете?

— В полицейском отчете? — переспросила я.

— Вы разве не вызывали полицию? В Нью-Йорке всегда вызывают. Есть ли у вас свидетельство о смерти?

Я видела, что произвожу совсем даже не благоприятное впечатление на эту Эйлит, которую обязали писать некрологи про деятелей искусства.

— В свидетельстве о смерти указана естественная причина — старость.

Эйлит попросила соединить ее с начальством.

— Да, конечно, — ответила я. — А что с фотографией? Вы ведь напечатаете, правда?

— Нет. Видите ли, когда умер ее муж, мы не публиковали его фотографию. А он был куда как известнее. Мы бы предпочли оставаться последовательными в своих действиях.

Я набрала телефон начальника. Мне стало жаль всех сколько-нибудь знаменитых вдов, о чьих кончинах сообщается в колонке Эйлит.

Болезнь Шарко-Маритута заключается в передающихся по наследству нарушениях периферической нервной системы; ее симптомы — слабость и атрофия. Но миссис Альбрехт умерла не от этого. Она страдала лимфомой и в возрасте семидесяти семи полностью облысела. Впрочем, и это не привело к смерти. В прошлом году у миссис Альбрехт поднялась рекордно высокая температура. И опять же, миссис Альбрехт выкарабкалась.

Лихорадку она пережила. Неизвестно как, но ей это удалось.

Помню, я заходила в комнату миссис Альбрехт, пока ожидали распорядителя из похоронного бюро, вот только не помню, целовала ли ее. Однако мне всегда казалось, что я вполне могла поцеловать. Помню пятьдесят четыре белых блузы из быстро сохнущей, не требующей глажки ткани, висевшие в стенном шкафу. И два длинных ряда сделанных на заказ замшевых полуботинок, тех, что с оборчатым язычком поверх шнуровки. Тяжелые полуботинки тянули к земле ее высохшие ноги, которые она еле переставляла. Они не давали миссис Альбрехт взмыть вверх.

**8.**

В отеле я просыпаюсь рано — все думаю о миссис Альбрехт. Но спи — не спи, а размышления ни к чему не приводят. В чем заключалась история ее жизни, почему я вспоминаю ее, кем она была для меня, эта миссис Альбрехт?

Что вы хотите о ней узнать? Что она была знаменита? Отличалась дисциплинированностью? Ходила, прихрамывая? Или, наоборот, не хромая? Миссис Альбрехт обладала достаточной известностью, чтобы ее сфотографировали, вот только для публикации фотографии известности не хватило. Да, она в самом деле была человеком большой дисциплины, терпеть не могла прерываться на обеденный перерыв. Она действительно

припадала на одну ногу (ходили слухи, будто у нее рахит) и не принимала участия ни в одном танцевальном вечере в Баухаусе. Миссис Альбрехт не умела подняться по лестнице беззвучно, так что никогда не подкрадывалась тайком, чтобы подслушать. Она предпочитала выступление оркестра, игравшего перед представлением, нежели само представление. Ей нравилось, что в Америке в стакан с водой всегда клали лед, а на наволочки никогда не пришивали пуговицы. Она не верила в выборы и закаты, предпочитая вести счет извержениям вулканов и убийствам. Миссис Альбрехт понимала, что не в состоянии обладать всем, чем стоит обладать в жизни, и не стремилась к этому.

Не помню, что я сказала ей, не помню, попрощалась ли в последний раз, когда видела ее живой. Однажды миссис Альбрехт рассказала мне о путешествии по воде, но, помнится, позднее кто-то заметил, что она частенько сочиняла на этот счет. Я мало что запомнила из рассказа, только то, что ее постоянно рвало, что на море штормило, а переезд затянулся. Когда они прибыли на место, миссис Альбрехт предстала перед встречающими стройной второразрядной знаменитостью в меховой шубке. Несколько минут репортеры осаждали ее мужа, пока наконец кто-то не воскликнул: «Эй, а давайте снимем его с женой!» Как будто это что-то новенькое — сфотографировать вместе мужчину и женщину, стоящих на палубе корабля.

**9**.

Слышно, как в номере по соседству принимают душ, а еще громко включают телевизор: по утрам и вечерам. Голоса какие-то прерывистые: гипсоцементная стена и тонкий слой стеклопластика душевой кабинки искажают их. Струя воды в пустой ванной льется с грохотом. Это так знакомо и все же каждый раз неожиданно. Я хотела было помыть голову, но вспомнила, что уже мыла, всего несколько часов назад, задумав дробить день на части — дел оставалось все меньше и меньше.

В тусклом свете дня я иду через рощу и чувствую себя прозрачной, бесплотной, лишь временами голая ветка хлещет по рукаву плаща. Я представляю себя на фоне пейзажа, в панораме бездействия.

Предполагается, что речь о женщине и об отеле, о том, почему она ушла, что делала там. Как туда попала? Имелось ли в виду путешествие? Ее серый плащ, прямые черные волосы, слегка прикрытые глаза… что с ней станется?

Каждый день что-нибудь да теряет свою суть: воздух, свет, возможность рассказать или пережить историю, отметить про себя скуку… Почему мы говорим: «Скучно, хоть плачь»? Что

оплакиваем?

Я представляю фильм про собственную жизнь, где-нибудь в обрамлении будущего, ничто не разбито, все так и продолжается, посреди вертящегося волчком пейзажа, или утопает в прохладном зеленом бассейне после обеда.

**10**.

Миссис Альбрехт переносила меня ровно в той степени, в какой способна была переносить особу молодую, женщину и к тому же ходячую. Она считала меня чересчур шумной и говорила, что, мол, настоящее мое имя «Бум-Бум». По утрам миссис Альбрехт сидела в кресле-каталке, завернувшись в необъятных размеров белый махровый халат, и гипнотизировала вареное яйцо. Маленький пластиковый стаканчик кофе с разведенными питательными добавками дрожал у нее в руке. Преодолевая невероятное сопротивление, стаканчик, наконец, оказывался у рта. Миссис Альбрехт отпивала. Глотала. Несколько раз натужно кашляла, но я уже привыкла к этому ее кашлю и не волновалась. Я стояла справа от нее и смотрела на свои туфли, надеясь, что старуха не прицепится к ним. Говорила ей: «Доброе утро! Как вы себя чувствуете?» — и ждала ответа.

Даже при открытых окнах в комнате все равно оставался слабый запах мочи. Уши, нос, руки миссис Альбрехт раз от раза все увеличивались. Впрочем, может, это только казалось, потому что сама она усыхала.

— Что вам так не нравится? — спрашивала я у нее.

— Эта твоя юбка.

— Что ж, мне очень жаль. — В тот день на мне была короткая джинсовая юбка с леопардовыми пятнами; я купила ее на распродаже за девять долларов.

— Привет, милашка! — выдала миссис Альбрехт.

**11**.

Я слышала, что, когда умираешь, не можешь дышать, даже через соломинку. Есть кое-что, чего я никогда не смогу повторить, что я делала, не отдавая себе отчета. Время больше не бесконечно и не туманно. С этих пор время станет безумно узким и неудобным коридором, соединяющим с ничем. А вместо тех романтических теней я увижу лишь вызывающий головную боль ослепительный блеск.

Настоящее очень близко, зачастую у меня даже кружится голова. Я вижу, как мельтешат те яркие точки. Куда бы ни посмотрела, точки перемещаются следом. Постепенно я свыкаюсь с ними. Вот на что похожи поиски будущего.

**12**.

Дорогая миссис Альбрехт!

Письменные принадлежности в отеле настраивают на романтический лад. Сама идея полна романтики. Вам бы понравились тонкие, словно косточки, строчные буквы внизу листа: *отель «Лонгакр»*

Прошлой ночью мне снился сон: я не могла уснуть, оттого что вы лежали в другой кровати и под спину вам было подложено огромное количество рукавиц, а сами вы были в белом махровом халате, том самом, в котором вас похоронили. Я боялась закрыть глаза. Мне страшно было приблизиться к вам. Усилием воли я проснулась, уверенная, что вина целиком и полностью на мне.

Помню, мне было пять; однажды вечером я пожаловалась маме, что боюсь заснуть: вдруг настанет конец света, а я так и не проснусь. Мама стала меня успокаивать, мол, я даже не успею ничего понять, как окажусь на небесах. Чуть позже, когда я все еще лежала в ее кровати с открытыми глазами — мысли о таком страшном месте, как небеса, ничуть не успокаивали, — мама сказала: «Доченька, ты уж постарайся поспать — надо отдохнуть».

Дело не в том, что я думаю о вас как о спящей — на самом деле смерть никакой не сон. Просто когда врач объявил, что вы умерли «во сне», я вдруг подумала: а как узнать, так ли это на самом деле? Вдруг вы проснулись, почувствовав себя плохо, и только потом уже умерли. Может, вы лежали и смотрели на картину, которая висит напротив кровати, ту самую, что Джозеф нарисовал в сороковых, и которая должна была обозначать абстрактную аллегорию вашей свадьбы. (Жаль, что картина написана именно в черном, белом и сером, а не в каких-нибудь других тонах.) Вдруг в это время в комнате медсестры работал телевизор, и никто вас не услышал?

Чаще всего умирают по понедельникам. Обещания выходных остаются в прошлом, впереди — ужас еще одной недели. Как-то вы были в штате Северная Каролина и шли полем; вы тогда учили английский и в этот ясный день растолковывали Джозефу, что слово «солнечный» противоположно слову «тучный». Я все время об этом думаю.

В вашем доме я больше не бываю. И вообще объезжаю его стороной. Ключ от входной двери у меня все еще с собой, я помню, где что находится. Бобровая шуба, та самая, которая была на вас, когда вы стояли на палубе океанского лайнера, все так же висит в холле, в платяном шкафу. И хотя из вашей спальни сделали кабинет, маленькая статуя Ириды по-прежнему стоит на книжной полке.

Да, верно, время от времени я езжу на кладбище. Сижу в машине, опустив окна, просматриваю почту или привожу в порядок чековую книжку. Но из машины не выхожу. Впрочем, я

знаю — вы не стали бы возражать.

Интересно, прощается ли кто с картинами? Ни один из проезжающих мимо дома, этой коробки из-под обуви, не сказал бы, что по адресу Ларчвуд-драйв, 818 находится богатейшая коллекция современного искусства. Я пробовала запомнить нарисованные вашим мужем картины, похожие одна на другую как пасхальные яйца — разноцветные квадратики в гнезде. Это вы говорили мне, что они напоминают вам удары сердца? Ваши собственные работы похожи на античное письмо, на причудливо переплетенные знаки, вытканные с превеликим тщанием. Торжественные и лишенные изысканности, утяжеленные плетением и совершенно не запоминающиеся.

В тот день, когда я ушла из фонда, для себя я решила, что когда-нибудь вернусь, что частичка меня всегда будет сидеть на своем прежнем месте, задрав голову к окну цокольного этажа. Или останется в вашей студии, за рабочим столом из алюминия, тем самым, за которым мы сидели, когда я держала вашу дрожащую руку, пока вы ставили подпись — не одну сотню раз. Иногда я представляю вас в кресле-каталке у лестницы на верхнем этаже: на вас наряд от Шанель, вы благоухаете духами «Л'Ориган», а между тем до прихода гостя еще целый час. Именно с того самого наблюдательного пункта над балюстрадой вы обычно и звали нас, находившихся внизу. Именно оттуда вы однажды распорядились спилить ветку дерева на переднем дворе, загораживавшую вам почтовый ящик.

В свой последний день в фонде я раскладывала кое-какие ваши старые письма на столе в белой кухне, дышащей покоем. Напротив висели четыре маленьких картины: желтые и оранжевые квадраты, вписанные в другие квадраты. Мне они нравились, я чувствовала между ними и собой какую-то связь, однако никогда больше не встречала другие такие картины, не выражавшие абсолютно ничего.

Мне всегда нравилась почта, пересылаемая по воздуху — будто призраки путешествуют. Некоторые конверты были бледно-голубыми с синими и красными полосками по краям. Аэрограммы из Бразилии приходили с экзотическими, желто-зелеными косыми чертами. В них вы писали о покраске кухни, о днях, которые все тянутся и тянутся, о неприятных ощущениях при работе с шерстью в августе. Вы интересовались, не забывает ли Джозеф в прохладную погоду надевать шляпу, принимает ли витамины. По-английски вы говорили своеобразно: тембр голоса у вас становился низким, и вы тщательно выговаривали слова. Как-то пришло письмо, состоявшее из одного только «Никаких новостей…».

Я прикоснулась к разрисованной под льняную ткань пластиковой поверхности стола, к виниловым стульям столовой и к тому, что вы называете «первой в США кофеваркой „Чемекс“»; радостно сознавать, что если уж не люди, то хотя бы вещи живут вечно.

**13**.

Если в отеле я обедаю рано, то считай весь день насмарку, впрочем, тут уж ничего не поделаешь. Раз день с самого начала не задался, постарайтесь просто-напросто пережить его. Пораньше обедайте, пораньше ужинайте и пораньше укладывайтесь спать.

В номере отеля находиться приятнее, чем в квартире или конторе. В отеле от вас не ждут активных действий: вы смотрите по телевизору «Куджо»,[68] дублированный на голландский, или любуетесь видом из окна, если, конечно, он есть, этот вид, который вы себе можете либо не можете позволить. От вас не ждут, что вы будете сами застилать кровать и убираться. Ждут, что вы снимете телефонную трубку и попросите тех, кто на том конце провода, принести вам минеральную воду или корзину с фруктами. Жалуйтесь, если персики окажутся недозревшими, а булочки — черствыми. А где банный халат, который вы просили принести еще вчера?

Когда-то я останавливалась и в других отелях, видела другие, гораздо более оживленные места, чем это. Я успела пожить во множестве номеров, пытаясь забыть, что я там делаю. В Испании или Италии я слишком налегала на горячительные напитки и говорила такое, что у многих хорошо одетых посетителей вызывало смех. Обычно на следующий день я уже не могла вспомнить шутку.

Мне хотелось бы рассказать вам, как я танцевала в кругах света от ламп — в Нюрнберге, рядом с Конгресс-холлом, как в Стамбуле ползла дорогой паломников к Софийскому собору, как в Алжире, чтобы не потерять сознание от расплавленного воздуха, подставляла запястья под кран с холодной водой. Однако ничего этого не было. Я сидела в номере кельнского отеля и ужинала целым тортом из кондитерской, боясь выйти в ресторан.

Я скольжу, проносясь через города, здания, площади и горные хребты, ни с кем не заговаривая. Выходит, конечно, дешевле, но и тоскливей. Никакого утешения. Так все и начинается.

*перевод О. Дементиевской*

# ДОМОГАТЕЛЬСТВО
# Ребекка Кертис

Я ждала своего любовника — я бы назвала его своим «парнем», но мой парень всегда поправляет меня, чтобы я говорила «любовник», потому что мы с ним еще учимся, а «парень» в школе звучит глупо, — и уже было поздно. Когда зазвонил дверной звонок, я подумала: а вот и мой любовник! — и открыла свою дверь на втором этаже, но внизу у лестницы я увидела лицо кокаинщицы, хотя, конечно, в тот момент я еще не знала, кто она такая.

— Я твоя соседка, — прокричала кокаинщица через стекло, — я живу в соседнем доме.

Ну, у меня был тогда сосед, который жил в соседнем доме, и он был черный, и его звали Тим, и Тим мне очень нравился, поэтому, когда кокаинщица сказала, что живет в соседнем доме, я поверила ей. Я не хотела быть невежливой с приятелями Тима.

— Ты знаешь Тима? — сказала я.

— Я твоя соседка, — сказала кокаинщица. — Я живу в соседнем доме.

И я спустилась по лестнице и открыла нижнюю дверь (ту, которая выходит наружу), и мы оказались лицом к лицу.

— Мне нужна твоя помощь, — сказала кокаинщица. — Мне позарез нужна твоя помощь.

— Ну, — сказала я.

Она объяснила, что ее ребенку нужны подгузники, что они закончились, и что ей нужна моя помощь, чтобы купить подгузники. Она сказала: «Сестренка, мне нужна твоя помощь».

Я знала, что никакая я ей не сестренка. Но это было очень мило с ее стороны назвать меня так, и я подумала, что, если на самом деле ей нужен крэк, я пойду вместе с ней в магазин, который был всего в квартале от меня и работал допоздна, и заставлю ее вместо наркоты купить подгузники.

На улице было свежо, и наши шаги раздавались отчетливо.

— Так ты знаешь Тима? — сказала я.

— Кто такой Тим? — сказала она.

— Тим это мой сосед, он живет в соседнем доме, — сказала я. — А разве ты живешь не в соседнем доме?

— Я только что переехала, — сказала она.

В магазине мы вместе, моя соседка и я, пошли к полке с подгузниками. Все видели, как мы стояли у этой полки и выбирали подгузники. Я подумала, что в каком-то смысле я

сейчас как будто бы ее мать.

— Я, пожалуй, возьму, чтобы надолго хватило, — сказала моя соседка, собираясь взять самую большую упаковку подгузников.

— Нет, не надо, — сказала я. — У меня не очень много денег. Пожалуйста, выбери подгузники подешевле.

— Хорошо, — сказала она. — Она выбрала подгузники. — Вот дешевые подгузники, — сказала она.

Это были не дешевые подгузники, но мы понесли их на кассу.

Мальчик на кассе странно на нас посмотрел. Мне в нас ничего странным не казалось, и мне не понравился этот его странный взгляд.

— Мне нужен чек, — сказала моя соседка.

— Вам нужен чек? — сказал мне кассир.

Меня это разозлило. Он же слышал, что мы попросили чек.

— Да, — сказала я, — нам нужен чек.

Я подумала, что это как-то связано с пособиями, что, если получаешь пособие, надо сохранять чеки.

Мы расстались с соседкой у выхода из магазина. Она достала из урны бычок.

— Мне нужна сигарета, — сказала она.

— Спокойной ночи, — сказала я.

Я пошла домой. Я села на кушетку и почувствовала себя одинокой. К тому времени, как мой любовник позвонил в дверь, я уже поняла, что меня одурачили.

— Так что там с подгузниками? — сказал мой любовник.

— Ничего, — сказала я.

— Она уже небось отнесла их обратно, — сказал он.

— Ну и ладно, — сказала я. Свежо как сегодня ночью.

— Мне не нравится, что ты живешь на этой улице, — сказал он. — Я буду очень рад, если ты будешь жить со мной, на моей улице.

На следующий вечер мы сидели с моим любовником и смотрели фильм про баскетбол. Когда зазвонил дверной звонок, я подумала: а вот и она! Но, подойдя к верхней двери и посмотрев вниз, я увидела там мужчину, которого никогда раньше не видела.

Я спустилась по лестнице.

— Привет, — сказала я.

— Твой парень дома? — сказал он.

— Мой любовник? — сказала я.

— Да, — сказал он. — Он дома?

— Да, — сказала я. Я поднялась по лестнице. — Он хочет поговорить с тобой, — сказала я.

Мой любовник пошел вниз, а я села на кушетку и стала

ждать. Я слышала их голоса, как бывает слышно грузовики, едущие по шоссе, но я не могла разобрать слов.

Мой любовник вернулся.

— Что он сказал? — сказала я.

— Ему нужно было два доллара, — сказал мой любовник.

— Он хотел два доллара на крэк? — сказала я.

— На молоко, — поправил мой любовник. — Ему нужно было два доллара на молоко.

— А, — сказала я. — Молочник, — сказала я. — Так ты его знаешь? Я не поняла.

— Нет, — сказал мой любовник. — Я его не знаю.

Мой любовник лег обратно на кушетку. Он включил кино про баскетбол, которое он до этого останавливал.

— Они знают этот дом, — сказал мой любовник, — и они знают, что ты живешь тут, и мне не нравится, что ты живешь на этой улице. Я буду очень рад, если ты будешь жить со мной, на моей улице.

— Ладно, — сказала я.

И теперь я живу со своим любовником на его улице. Это очень милая улица, гораздо лучше, чем моя прежняя улица, и снег уже начал собираться, так что на праздники у нас, может быть, будет снежно.

Сегодня утром (ну, на самом деле где-то в полдень, просто мы обычно в полдень просыпаемся, потому что спать ложимся очень поздно) кто-то позвонил в дверь.

— Откроешь? — сказал мой любовник (он обычно сам любит открывать дверь, но на этот раз был голышом). — А то я голый.

У двери стоял мужчина. Это был неопрятный мужчина, и на нем была красная шерстяная шляпа. Он был очень похож на отца из фильма «Время убивать»: у него были суровые брови и зубы цвета слоновой кости.

— Бутылки у вас есть? — сказал он.

— Извините, — сказала я. Я закрыла дверь.

— Кто это был? — сказал мой любовник, натягивая брюки.

— Пьяница. За бутылками, — сказала я.

— А, — сказал он, — собиратель бутылок.

Я постояла немного.

Я открыла дверь. Собиратель бутылок шел по улице, толкая магазинную тележку к дому нашего соседа.

— Эй! — сказала я.

Он оглянулся.

— Есть бутылки? — Он пошел ко мне.

Я вынесла с кухни два ящика бутылок и поставила их на крыльцо.

— Подождите, — сказала я собирателю бутылок, который стоял со своей тележкой у крыльца, — там еще есть.

— Что ты делаешь? — сказал мой любовник.

— Рождество, — сказала я. — Сейчас праздники.

Я взяла еще два ящика и вынесла их на улицу. Собиратель бутылок ждал на крыльце. Мне было приятно отдать ему столько бутылок.

— Счастливого крэка! — сказала я.

Он пожал плечами.

— И вам счастливого крэка, — сказал он.

В глубине души я радовалась, но мой любовник, уже одетый, не разделял моих чувств.

— Ты странная, — сказал мой любовник.

— Это был кокаинщик? — сказала я.

— Нет, — сказал он. — Это собиратель бутылок.

— А, — сказала я.

Я теперь совсем запуталась. Кокаинщик, собиратель бутылок, отец, сосед, кокаинщица, сестренка, мать, парень, любовник, милая улица, улица наркодилеров — все эти ярлыки какие-то скользкие и так легко смешиваются друг с другом, как краски, но мне кажется, что скоро, в один из этих снежных дней, раздастся глас Божий, и тогда мои наушники, возможно, спасут мне жизнь.

*Перевод Н. Лебедевой*

# СЛУЧАЙ КАУДЕРСА
# Александар Хемон

## *I. Volens-Nolens*

Я познакомился с Исидорой в Сараево, в университете. Мы оба перевелись на факультет литературы: она — с философского, я — с инженерного. Знакомство наше состоялось на последних партах аудитории марксизма. Преподаватель марксизма красил волосы в адски черный цвет и частенько попадал в заведения для душевнобольных. Он любил разглагольствовать о статусе человека во Вселенной: человек, заявил он, напоминает муравья, ухватившегося за соломинку во время всемирного потопа, и мы слишком молоды даже для того, чтобы приблизиться к пониманию этого. Итак, нас с Исидорой связала зубодробительная скука.

Отец Исидоры был известным шахматным аналитиком, на короткой ноге с Фишером, Корчным и Талем. Он вел репортажи с чемпионатов мира и писал книжки о шахматах; особенно прославился учебник для начинающих, имевшийся в каждом доме, где любили шахматы. Время от времени, навещая Исидору, я заставал ее за вычиткой отцовских рукописей. Это была утомительная работа: они с отцом по очереди проговаривали вслух записи шахматных партий (король e4; ферзь d5; c8-b7 и т. д.), им случалось выпевать игры, как будто они играли в шахматном мюзикле. Исидора была дипломированным шахматным судьей и ездила вместе с отцом по всему миру на турниры. Возвращаясь, она нередко рассказывала о странных людях, с которыми ей довелось повстречаться. Однажды в Лондоне она познакомилась с русским эмигрантом по имени Владимир, и тот рассказал ей, что Кандинский был всего-навсего офицером красной армии и руководителем художественной студии; выдавая работы неизвестных художников за свои, он и сделался великим Кандинским. Как бы то ни было, внешний мир казался ужасно интересным местом.

Нам было скучно в Сараево. Трудно было не скучать. У нас были идеи, планы и надежды, что удастся переломить косность маленького города, а заодно и мира в целом. Мы постоянно носились с незаконченными и невыполнимыми проектами: однажды мы взялись переводить книгу о Баухаусе и застряли уже на первом абзаце, потом книгу о Иерониме Босхе и не сумели

справиться даже с первой страницей — наш английский оставлял желать лучшего, и у нас не было ни словарей, ни терпения. Мы читали и говорили о русском футуризме и конструктивизме, воодушевляясь революционными возможностями искусства. Исидора постоянно придумывала все новые перфомансы, в которых, например, мы являлись куда-нибудь на заре с сотнями буханок хлеба и выкладывали из них кресты. Это было некоторым образом связано с поэтом Хлебниковым: корень его фамилии, «hleb» значил «хлеб» во многих славянских языках. Разумеется, мы так и не реализовали эту идею: одна только необходимость встать на заре была достаточным препятствием. И все же Исидора поставила несколько перфомансов, в них участвовали ее друзья (сам я никогда не принимал участия), которых скрытые месседжи перфомансов волновали гораздо меньше, чем возможность погорлопанить и побузить на всю катушку, на особенно грозный сараевский манер.

В конце концов, мы основали социалистическую молодежную организацию и тем самым открыли способ реализовать кое-какие из своих революционных фантазий. Социалистическая молодежная организация предоставляла нам свободу, доказывая, что мы не стремимся заработать деньги, не преступаем границы приличий и уважаем социалистические ценности. К нам присоединилось еще несколько друзей (Гуса ныне живет в Лондоне, Гога — в Филадельфии, Буцко — до сих пор в Сараево). Мы украсили помещение лозунгами, намалеванными на сшитых по нескольку простынях. «Пятое измерение создается сейчас!» — значилось на одном из лозунгов, что отсылало прямиком к русскому футуристскому манифесту. Был там и анархистский символ (и пацифистский тоже, о чем я вспоминаю не без смущения, хотя он был не более чем уступкой социалистической молодежи с хиппистским прошлым), и кресты Казимира Малевича. Нам пришлось перерисовать кое-какие из крестов, чтобы не вызывать аллюзий с религией в мутных глазах молодых социалистических хиппи. Мы назвали свой клуб игриво-претенциозно: «Volens-Nolens».

Мы ненавидели претенциозность, и такое название было чем-то вроде самоиронии. Когда мы готовили торжественное открытие, то довольно жестко обсуждали, приглашать ли сараевскую культурную элиту, то есть бездельников, слонявшихся по разнообразным светским мероприятиям, вся «культурность» которых состояла в пристрастии к дешевому итальянскому тряпью, купленному в Триесте или у уличных спекулянтов. Одно из предложений было пригласить их, но повсюду развесить колючую проволоку, чтобы они изорвали одежду. Более удачной

идеей казалось провести открытие в полной темноте, нарушаемой только фонариками, привязанными к головам бездомных собак. Было бы неплохо, согласились мы, если бы собаки покусали гостей. Но мы сообразили, что социалистические хиппи не должны доходить до такого, ибо им придется пригласить кого-то из социалистической элиты, чтобы оправдать проект. В конце концов мы решили пригласить элиту, а также местную шпану и собственных друзей детства, в первую очередь останавливая свой выбор на тех, кто совершенно не интересовался культурой. Мы надеялись на то, что вечер не обойдется без потасовок, а паратройка элитных носов — без кровопускания.

Увы, ничего подобного не случилось. Ни собак, ни укусов, ни фонарей. На открытии было множество людей, все они прилично выглядели и прекрасно себя вели.

Потом у нас были программы по пятницам. В одну из пятниц состоялась публичная дискуссия об алкоголизме и литературе, все участники дискуссии были пьяны, а ведущий — пьянее всех. В другой раз у нас выставлялись два художника, специализирующихся на комиксах. Один из них страшно напился, заперся в туалете и не пожелал выйти к зрителям. После пары часов наших уговоров и открытых просьб, он вышел из туалета и завопил, обращаясь к публике: «Люди! Что с вами случилось? Не позволяйте водить себя за нос». Нам это понравилось. Однажды мы показывали фильм «Ранние труды», который был снят в шестидесятых, почти повсеместно запрещен в Югославии и никогда не демонстрировался в Сараево, поскольку принадлежал к числу фильмов, известных как «Черная волна» и изображавших социализм в не очень-то розовых тонах. Это был один их тех фильмов шестидесятых годов, возникших под сильным воздействием Годара, в которых молодежь слоняется по свалкам, треплется о комиксах и революции и занимается любовью с манекенами. Киномеханик, привыкший к софт-порно, где нарративная логика не имеет ни малейшего значения, — путал бобины с пленкой, нарушал их порядок, и никто не заметил этого, кроме режиссера, который был приглашен, но находился в заметном подпитии. Мы организовали первый в Сараево перфоманс, посвященный музыке Джона Кейджа. Я имею в виду, что мы проигрывали его записи и, среди прочих, композицию, исполняемую дюжиной синхронно хрипящих радиоприемников, и печально известную «4:33» — затянутую, записанную на пленку тишину, которая, как предполагалось, должна предоставить слушателям возможность создать свою собственную самопроизвольную, неожиданную музыку. Аудитория, меж тем, на этот раз состоявшая главным образом из элитных

бездельников, счастливо напивалась — уж этот-то мотивчик был нам отлично знаком. Когда исполнитель, который прибыл из Белграда, под риском развода отказавшись от отпуска с семьей, приблизился к микрофону, аудиторию это не заинтересовало. Уже много лет никто не просил его исполнить Кейджа, поэтому он и не переживал. Те несколько слушателей, кто перевел взгляд на сцену, увидели заросшего человека, поедающего апельсин и банан прямо перед микрофоном, что значило исполнение небезызвестной пьесы Джона Кейджа с подходящим названием «Апельсин и банан».

Нас беспокоило спокойствие элиты, поэтому вечерами, когда мы попросту крутили записи, нашей целью было спровоцировать боль: Гуса, наш диджей, проигрывал Франка Заппу и визжащую Йоко Оно, а вдобавок «Einsturzende Neubauten» — прекрасных музыкантов, играющих свою музыку на бензопилах и электродрелях, одновременно и очень громко. Элита не испугалась, хотя ряды ее поредели. Мы хотели, чтобы она присутствовала в полном составе и в полном же составе испытывала серьезные душевные терзания. Нет нужды упоминать, что номер с социалистическими хиппи не прошел.

Закат клуба «Volens-Nolens» (что, осмелюсь напомнить, на латыни значит «волей-неволей») был вызван «внутренними разногласиями». Некоторым из нас казалось, что мы слишком часто шли на компромиссы: скатываться вниз по скользкому склону буржуазной посредственности (социалистическая версия) мы совершенно очевидно стали еще в тот момент, когда отказались от бездомных собак с фонарями. Перед тем как окончательно закрыться, мы подумывали о бездомных собаках, на этот раз бешеных, для ночи торжественного закрытия. Но клуб «Volens-Nolens» сошел на нет скорее с нудным подвыванием, чем с безумным лаем.

Мы погрязли в унынии. Я выжимал из себя стихи, в которых жалел себя, — сотни, если не тысячи никуда не годных стишков, темы которых колебались от скуки до бессмысленности, с обобщенными рывками к галлюцинаторным образам смерти и суицида. Я был нигилистом и продолжал жить с родителями. Я даже принялся размышлять об «Антологии Иррелевантной Поэзии», рассудив, что это для меня единственный шанс попасть в антологии. Исидора вызвалась быть составителем, но из затеи ничего не вышло, хотя иррелевантной поэзии вокруг было в избытке. Нам было нечего делать, и мы быстро исчерпали способы ничегонеделанья.

## *II. День рождения*

Приближался двадцатый день рождения Исидоры, и она, никогда не любившая стандартных празднеств, не хотела развлечений в стиле выпивка-закуски-торт-кто-то-трахается-в-сортире. Ей хотелось устроить что-то вроде перфоманса. Она не могла решить, взять ли ей в качестве модели фурьеристскую оргию (эта идея мне понравилась) или нацистскую коктейль-вечеринку, столь часто воспроизводимую в правильных югославских социалистических фильмах: немцы — сплошь кичливые ублюдки-вырожденцы — устраивают изобильную вечеринку, в 1943 примерно году, а местные шлюхи и предатели лижут им сапоги, за исключением единственного коммунистического шпиона, пробравшегося в узкий круг избранных, чтобы в конце заставить их расплатиться. По несчастливой случайности нацистская вечеринка взяла верх над оргией.

День рождения праздновался 13 декабря 1986 года. Юноши надели черные рубашки со свастиками и набриолинили волосы. На девушках были платья, с хорошим приближением сходившие за вечерние туалеты, только моя тринадцатилетняя сестра играла роль юной коммунистки и потому была одета, как дети коммунистов. Предполагалось, что вечеринка происходит в Белграде, в начале сороковых, со всем положенным декадансом, точно как в кино. На сэндвичах были майонезные свастики, на стене — лозунг «In Cock We Trust»;[69] не обошлось без ритуального сожжения в туалете «Ecce Homo» Ницше; моя сестра, будучи юной коммунисткой, содержалась под арестом в спальне, временно заменявшей тюрьму; мы с Гусой вырывали друг у друга из рук пастуший кнут; я пел дуэтом с Вебой, который ныне живет в Монреале, грустные коммунистические песни о павших в боях забастовщиках — мы всегда так пели на вечеринках; я пил водку из кружки и играл роль украинского коллаборациониста. На кухне мы обсуждали упразднение все еще сильного культа Тито и соответствующих государственных ритуалов. Нас развлекла идея организации демонстраций: я был бы не против, сказал я, расколотить парочку витрин, поскольку среди них много безобразных, и, кроме того, я очень люблю битое стекло. В кухне, как и повсюду на вечеринке, толпились незнакомые мне люди и внимательно слушали. На следующее утро я проснулся с чувством стыда, неизменно сопутствующим пьянству. Я принял много лимонной кислоты и попытался заснуть, но чувство стыда никуда не делось, по правде, оно и сейчас со мной.

На следующей неделе меня сердечно пригласили по телефону посетить органы госбезопасности — из разряда приглашений, которые не отклоняют. Меня допрашивали

тринадцать часов без перерыва, и я выяснил, что многие из тех, кто был на вечеринке, тоже посетили или вот-вот посетят гостеприимные кабинеты госбезопасности. Позвольте не докучать вам деталями — ограничимся тем, что скажем, что схема «хороший следователь — плохой следователь» транскультурна, что они знали все (у кухонных слухачей — прекрасный слух), и что наши нацистские забавы доставили им немало хлопот. Я по наивности вообразил, что если объясню им, что это была всего лишь костюмированная вечеринка, пусть довольно глупая, и если я умолчу о кухонных фантазиях, то они попросту пожурят нас, велят нашим родителям отшлепать нас по попе и распустят нас по домам, в наши благоустроенные нигилистские кварталы. Хороший следователь приставал ко мне с расспросами о росте фашистских настроений среди югославской молодежи. Я не имел понятия, о чем он говорит, но усиленно отрицал существование таких тенденций. Он, казалось, не верил. У меня был грипп, и я часто отлучался в туалет — не запирающийся изнутри, решетки на окнах, — а добрый следователь ждал меня снаружи, чтобы я не перерезал себе вены и не разбил голову об унитаз. Я посмотрелся в зеркало и подумал: «Глядя на это невыразительное прыщавое лицо, затуманенные глаза, можно ли поверить, что я фашист?» И нас действительно отпустили домой, предварительно надавав по рукам.

Спустя несколько недель сараевский корреспондент белградской газеты «Политика», которой вскоре суждено было стать органом режима Милошевича, получил анонимное письмо, описывающее празднование дня рождения в квартире известного сараевского семейства, где выставлялись напоказ фашистские символы и превозносились ценности темнейшего из известных в истории человечества периодов. По Сараево, всемирной столице сплетен, поползли слухи. Боснийские коммунистические власти, часто плясавшие под дудку Белграда, конфиденциально, на закрытых партсобраниях, инструктировали своих работников. На одном из таких собраний оказалась моя мама и едва не получила разрыв сердца, узнав, что ее дети были на той вечеринке. Вскоре сараевские средства массовой информации были завалены письмами обеспокоенных граждан, кое-кто из которых явно подрабатывал на полставки в госбезопасности, единодушно требующими, чтобы имена людей, причастных к организации в Сараево фашистского митинга, были преданы гласности, и чтобы раковая опухоль была удалена из тела социализма незамедлительно и безжалостно.

Под давлением лояльной публики фамилии были в конце концов опубликованы: радио и телевидение наперебой

передавали их в январе 1987 года, а газеты напечатали список на следующий день, для тех, кто не успел расслышать его накануне. Граждане принялись организовывать спонтанные собрания, на которых составлялись письма, требующие сурового наказания. Студенты университета проводили спонтанные собрания, где припоминали декадентские перфомансы в клубе «Volens-Nolens» и делали выводы в духе «куда катится наша молодежь». Ветераны войны за освобождение Югославии проводили спонтанные митинги, где выражали свое твердое убеждение в том, что в наших семьях вовсе не ценится труд, и требовали наказания пожестче. Мои соседи отворачивались при встрече со мной; мои однокурсники бойкотировали урок английского, если я являлся на него, а преподаватель тихо рыдал в углу. Кое-кому из друзей родители запретили видеться с нами — теми самыми девятнадцатью с нацистской вечеринки, как нас называли. Даже те, кто присутствовал на проклятой вечеринке, избегали встречаться с остальными, и моя подруга не была исключением. Я смотрел на дело, как будто читал рассказ, в котором один из персонажей — отвратительный ублюдок-нигилист — носил мое имя. Его жизнь и моя жизнь пересекались, внахлестку перекрывая друг дружку. В какой-то момент я стал сомневаться в истинности своего существования. Что если, думал я, только я вижу мир таким, каким он в действительности является? Что если моя реальность — это чья-то выдумка, а не его реальность — моя выдумка?

Исидора, в доме которой состоялся обыск с конфискацией всех ее бумаг, сбежала в Белград, чтобы никогда не вернуться, но некоторые из нас, тех, кто остался, объединили свои реальности. Гога после удаления аппендикса лежала в больнице, и медсестры издевались над ней, а Гуса, Веба и я сдружились теснее, чем когда-либо. Мы ходили на спонтанные митинги в призрачной надежде, что наше присутствие каким-то образом поможет восстановить справедливость, объяснит, что все было неудачной шуткой, и что, в конце концов, никого не касается, чем мы занимались на частной вечеринке. Различные патриоты и борцы за социалистические идеалы играли на этих собраниях все те же роли плохих и хороших следователей. На партсобрании, на которое я ввалился без приглашения, потому что никогда не был членом партии, некий Тихомир (чье имя можно перевести как «тихий мир») разыгрывал роль плохого следователя. Он завопил на меня: «Ты надругался над прахом моего деда!» — а когда я предположил, что это звучит попросту смешно, выпучил на меня глаза и застонал, а секретарь собрания, красивая девушка, непрерывно повторяла: «Тихо, Тихомир».

Партия, меж тем, наблюдала за нашим поведением. По крайней мере, так сказал мне человек, по поручению Обкома партии явившийся ко мне домой с проверкой. «Будь осторожен, — сказал он отеческим тоном, — за тобой пристально наблюдают». В мгновение ока я понял Кафку. Много лет спустя этот человек пришел к моему отцу покупать мед (в то время отец беззастенчиво торговал медом у себя дома). Он не стал обсуждать ту вечеринку, сказал только: «Такие были времена». Он сказал, что его двадцатилетняя дочь хочет стать писателем, и показал мне ее стихотворение, которое гордо хранил в бумажнике. Стихотворение оказалось черновиком предсмертной записки, в первой строчке, которую я прочел, значилось: «Я не хочу жить, потому что никто меня не любит». Он сказал, что дочь стесняется сама показывать ему свои стихи, она просто разбрасывает их по дому, как будто случайно, чтобы он мог их найти. Помню, как он уходил, нагруженный ведерками с медом. Надеюсь, его дочь до сих пор жива.

Скандал утих, когда многие сообразили, что уровень шума обратно пропорционален настоящей значимости дела. Мы стали козлами отпущения, как будто боснийские коммунисты хотели на нас продемонстрировать, что будут подавлять в зародыше любую попытку оспаривания социалистических ценностей. Кроме того, злополучное боснийское правительство столкнулось со скандалами, которые были громче и гораздо серьезнее. Уже несколько месяцев правительство тщетно пыталось пресечь слухи о развале государственной компании «Агрокомерц», глава которой, состоя в дружбе с коммунистическими шишками, выстроил свою мини-империю на несуществующих ценных бумагах, вернее, на социалистических версиях оных. Кроме того, имелись люди, которые были арестованы и отданы под суд за высказывания, ставящие под вопрос коммунистические законы. В отличие от нас, эти люди знали, о чем говорили: у них были идеи, а не беспорядочные запоздало-подростковые фантазии. Мы сами оказались бродячими собаками с фонариками, а потом явились службы по надзору за животными.

Но даже спустя несколько лет мне случалось встречать людей, полагавших, что вечеринка была фашистским митингом, и готовых отправить нас на галеры. Разумеется, я далеко не всегда добровольно делился информацией о своей причастности к делу. Однажды в горах неподалеку от Сараево, во время военных сборов, я разделял тепло костра с пьяными резервистами, поголовно полагавшими, что участников вечеринки нужно было, как минимум, повергнуть жестокой порке. Я искренне согласился — действительно, твердо заявил я, всех их следовало повесить, ко

всеобщему удовольствию. Таких негодяев, сказал я, необходимо прилюдно подвергать пыткам. Я изменился, на какое-то время я сделался своим собственным врагом, и это было чувством одновременно страха и освобождения. Давайте выпьем за это, сказали резервисты.

Сомнения в реальности вечеринки сохранились. Этому не мешал факт, что Исидора со временем сделалась настоящей откровенной фашисткой. Она устраивала публичные перфомансы и прославляла традиции сербского фашизма. Ее дружок был вождем группки сербских самозванцев, головорезов и насильников, орудовавшей в Хорватии и Боснии и известной как «Белые орлы». Она опубликовала мемуары под названием «Невеста военного преступника». Наша с ней дружба прекратилась в начале девяностых, и я продолжаю сомневаться в своем понимании прошлого — возможно, втайне от меня, фашистский день рождения был порождением ее фашистской ипостаси. Возможно, я не замечал того, что замечала она, возможно, я было всего лишь пешкой в ее шахматном мюзикле. Возможно, моя жизнь напоминала одно из изображений Девы Марии, из тех, что появляются в отделе замороженных товаров какого-нибудь супермаркета в штате Нью-Мексико или в другом подобном месте, и заметны только верующим, смешны — всем остальным.

## *III. Жизнь и труды Альфонса Каудерса*

В 1987 году, после провала вечеринки, я начал работать на сараевской радиостанции, в программе, предназначенной для молодежи. Программа называлась «Omladinski Program» (Молодежная Программа), и все сотрудники были очень молоды, с минимальным опытом радиовещания. Я провалился на первом собеседовании, весной, когда отголоски вечеринки все еще отзывались эхом в студийных коридорах, но был принят осенью, несмотря на мой спотыкающийся, откровенно нерадиогеничный голос. Я занимался в студии чем попало, главным образом, писал чудовищные кинообзоры и инвективы против государственного идиотизма и всеобщей тупости, а потом читал их в эфире. Руководство радио предоставило программе немалую свободу, поскольку произошли политические перемены, кроме того, мы все в то время легко восприняли бы провал, если бы он случился, ибо все мы были юные никто.

Важно было то, что мне предоставляли три минуты в неделю в довольно популярном шоу, которое вели мои друзья, и я

рассказывал в эфире свои истории. Мой эпизод назывался «Саша Хемон О Правдивом И Не Слишком» (СХОПИНС). Иногда истории, что я читал по радио, оказывались короче, чем позывные СХОПИНСа. Иногда они ставили в неловкое положение мою семью — уже и без того поставленную в неловкое положение вечеринкой, — потому что у меня была серия рассказов о моем кузене-украинце, каким-то образом потерявшем все конечности и ведшем нищенское существование, пока ему не случилось получить работу в цирке, где слоны катали его по рингу как мячик, работа через день.

Со временем я написал рассказ «Жизнь и труд Альфонса Каудерса». Понятно было, что опубликовать его невозможно, поскольку в нем содержались насмешки над Тито и множество высокомерных похабностей с Гитлером и Геббельсом в качестве действующих лиц. В то время в Югославии большинство литературных журналов мало-помалу выуживали то и это из литературного наследия, открывая писателей, чьи стихи впоследствии стали военными гимнами. Я разделил рассказ на семь сцен, каждая из которых умещалась в три положенные минуты СХОПИНСа, а потом написал к каждой из них предисловие, исходя из того, что я историк, и что Альфой Каудерс был историческим лицом и предметом моих обширных и тщательных исследований. Одно из этих введений было написано после моего возвращения из СССР, где в архивах я и откопал материалы о Каудерсе. Другое информировало слушателей о завершении моей поездки в Италию, где я был гостем съезда Транснациональной Порнографической Партии, платформа которой, естественно, базировалась на учении великого Альфонса Каудерса. В третьем введении цитировались письма несуществующих слушателей, восхвалявшие проявление мною необходимого для историка мужества и предлагавшие назначить меня директором радиостанции.

Мне часто казалось, что никто не знает, что я делаю, потому что никто не слушает СХОПИНС, кроме моих друзей (Зока и Невен, теперь в Атланте и Лондоне, соответственно), которые щедро наделяли меня временем на шоу, и слушателей, не успевавших переключить волну, потому что сюжет очень быстро заканчивался. Это меня устраивало, поскольку я не испытывал ни малейшего желания опять причинять огорчения плохим и хорошим следователям.

После того, как завершились трансляции всех семи выпусков, я решил записать всю сагу о Каудерсе целиком, читая ее своим спотыкающимся голосом, о котором до сих пор говорят как о худшем голосе, когда-либо звучавшем по боснийскому радио, и

подбавив кое-каких звуковых эффектов: речи Гитлера и Сталина, коммунистические военные песни, «Лили Марлен». Мы транслировали передачу целиком, без перерывов, в течение двадцати с лишним минут — нечто вроде радио-самоубийства — в шоу Зоки и Невена. Я был их гостем в студии и по-прежнему выдавал себя за историка. С лицами, лишенными всякого выражения, Зока и Невен торжественно зачитывали письма читателей, сплошь фальшивые. В одном из них содержалось предложение выпороть меня и мне подобных за осквернение святынь. Автор другого требовал больше уважения к лошадям (ибо Альфонс Каудерс ненавидел лошадей). В третьем выражалось недовольство по поводу изображения Гаврилы Принципа, убийцы эрцгерцога Австро-Венгерской империи Франца Фердинанда, и утверждалось, в противовес моим изысканиям, что Принцип вовсе не наделал в штаны, пока поджидал эрцгерцога на углу одной из сараевских улиц.

После этого мы открыли телефонные линии для слушателей. Я полагал, что а) никто по-настоящему не слушает передачи про Каудерса, б) те, кто все-таки слушает эти выпуски, находят их глупыми, и в) те, кто поверил, что все это правда, болваны, тупицы и выжившие из ума старики, у которых патологически стерлись границы между историей, фантазией и радиотрансляциями. Следовательно, я не был готов к вопросам, или возражениям, или дальнейшим манипуляциям с сомнительными фактами. Телефоны, меж тем, не умолкали в течение часа или около того, разговоры передавались в прямой эфир. Подавляющее большинство слушателей приняли историю за чистую монету, но все-таки не удержались от коварных вопросов или наблюдений. Некий врач позвонил и заявил, что человек не может сам себе удалить аппендикс. Другой дозвонившийся слушатель доложил, что держит в руках «Энциклопедию лесоводства» — содержащую, как предполагалось, массу материалов о Каудерсе — но не видит ни одного упоминания о нем. Были и другие вопросы, уже не могу припомнить, какие именно, и я вошел в сочинительский раж. Я сыпал правдоподобными ответами и ни разу не рассмеялся. Я полностью слился со своей ролью — как, я полагал, поступают актеры, — не прекращая опасаться, что моя защита может оказаться поспешной и боязливой, и что аудитория сможет разглядеть настоящего меня, притворщика, за маской, что моя игра совершенно прозрачна. Мне удалось избавиться от страха, что позвонят хорошие и плохие следователи (скорее, все-таки плохие) и потребуют немедленно явиться в Главное Управление

Госбезопасности. Но самым жутким был страх, что кто-то может позвонить и сказать: «Ты ничего не знаешь о Каудерсе. Я знаю гораздо больше, чем ты, и вот в чем заключается истина…» В этот момент Каудерс сделался реальностью — он был моей Девой Марией, показавшейся в студийном звуконепроницаемом стекле, за которым стояли ничем не примечательный звукорежиссер и группка людей, искрящихся энергией восторга. Это был бодрящий момент, когда фикция прорвала реальность и превзошла ее, очень напоминающий эпизод, когда с операционного стола доктора Франкенштейна поднялось тело и принялось его душить.

В последующие дни и даже годы люди останавливали меня на улице и спрашивали: «Вправду ли существует Каудерс?» Одним я отвечал: «Да», другим — «Нет». Истина же состоит в том, что невозможно узнать, действительно ли существует Каудерс в быстротечном мгновении, подобно тому, как субатомные частицы в ядерном ускорителе в Швейцарии существуют слишком короткое время, чтобы их существование можно было зафиксировать. Время его существования оказалось слишком коротким для меня, чтобы определить, был ли он миражом, следствием того, что была достигнута критическая масса коллективного обмана, или же он явился, чтобы дать мне знать, что моя жизнь подверглась облучению его недоброжелательной ауры.

Мой Каудерс-проект был попыткой вернуться к реальности. Я блаженно упорствовал в вере в то, что действительно существую, пока не стал вымышленным персонажем в чьем-то рассказе про вечеринку в день рождения. Я хотел, чтобы Каудерс — вымышленный персонаж — проник в реальность кого-то другого и отобрал реальность у вечеринки. Обнаружив себя по другую сторону зеркала, я швырнул в него Каудерса, надеясь разбить стекло, но он попросту пролетел сквозь зеркало и вырвался из-под моего контроля. Я не знаю, где он теперь. Возможно, натягивает струны фактов и фикций, заставляя меня писать рассказы, а я глупейшим образом полагаю, что сам их придумал и сочинил. Возможно, однажды я получу письмо, подписанное А. К. (ибо именно так он любил подписывать свои письма), в котором будет сказано, что проклятая шарада решена, и начался отсчет моего собственного времени.

*Перевод Э. Войцеховской*

* * *

Кому:

_ _ _
Дэвиду И. Фуэнтсу
Генеральному директору «Оффис Депо»
22 Орл-Джермантон-роад
Делрэй-бич, Флорида
33445

_ _ _
Дорогой мистер Фуэнтс,

В последнее время я рассылаю генеральным директорам крупных компаний письма от имени ирландского сеттера по кличке Стивен. Для Вас, однако, я стану маленькой птичкой, возможно, колибри, по кличке Зеленусик. Вот, получите:

Когда я был юным и вечно голодным птенцом, мать улетала в поле за едой и палочками для гнезда, оставляя нас с братьями и сестрами одних. Она улетала, а мы ждали корм с открытыми ртами, глаза у нас были, как сине-зеленые бусинки, покрытые тончайшей розовой кожицей.

Она улетала, а мы разучивали песенки. Зачем мы их пели, я уж и не вспомню, самих этих песенок тоже. Прошли месяцы, мы разлетелись кто куда, и я никого с тех пор не видел — ни братьев, ни сестер, ни матери. Птички несентиментальны, а все потому, что умеют летать.

Только знаете что? Я никакая не птичка. Я пес по кличке Стивен. Вас не обманешь — я быстроногий пес, черт возьми, и я ношусь вокруг деревьев, как самонаводящаяся ракета. Вуууу! Вуууууууу! И никаких птиц, никаких птичек, которые просят есть! Ни за что! Я бегу-бегу-бегу-бегу по сухой горячей траве, и если все время так бежать, то, наверное, не будешь лаять. Если все время бежать, пригибаясь и поворачиваясь, как лыжник, то никогда не захочешь просто лаять, лаять и лаять — о Господи Иисусе, пусть я буду все время бежать! Я, блядь, попросту боюсь устать и свалиться, понял, мужик?

Мистер Фуэнтс, я благодарю Вас за внимание.

От кого:

---
Дэниел О'Мара
5811 Меса-драйв, № 216
Остин, Техас
78731
---

# ТЕДФОРД И МЕГАЛОДОН
# Джим Шепард

Уезжая, он взял с собой кое-какие книги, но лишился их, когда пересаживался на судно поменьше. Один из подъемников опрокинулся, и груз полетел вниз вдоль борта корабля. Его ежегодник сохранился в целости, за что он был благодарен судьбе.

Среди утерянного были его Симпсон и Элдридж, его «Остеология и отношения хрящевых рыб», его «Песни для мальчиков», «Онтогенез пластиножаберных рыб» Бэлфура и сопровождавшая его с детства «Библиотека для мальчиков» Бидла, в том числе и «Ловкач Нэд, мальчик-волшебник».

Межзвездное пространство у него над головой было невозможно черным. Той ночью он записал в своем ежегоднике: *«Бархат, пронизанный иглами света».* Судя по всему, над ним простиралось какое-то галактическое облако. Звезды образовывали арку от одного горизонта до другого. Вода у самого льда тревожила своей неподвижностью. Неподалеку волны плескались о нос каяка. Холод казался ветром, долетающим со звезд.

Тридцатитрехлетний Рой Генри Тедфорд и его немногочисленные пожитки висели на подветренной стороне каменистого склона на крошечном острове где-то около 146 градусов долготы и 58 градусов широты, в семистах милях от антарктического побережья Земли Адели и, согласно любым официальным картам, в четырехстах милях от ближайшей земли вообще: невзрачной точки острова Маккуори к востоку. Стояла ясная летняя ночь 1923-го года.

Его остров — одна из трех сбившихся в цепь длиной в четверть мили скал, покрытых льдом, — существовал только на нарисованной от руки карте, которая и привела его в это место, удаленное от немногочисленных морских путей и районов рыбного промысла, заходивших так далеко на юг. Рядом с приблизительными координатами места, Хевельман своим почерком, похожим на колючую проволоку, начертал название карты: *Острова мертвых.* Снизу большими печатными буквами Хевельман подписал туземное слово *Kadima-kara,* или «животные Времени творения».

Запасы Тедфорда включали двадцать один фунт галет, две банки бисквитной муки, кулек конфет, мешок сухофруктов, походную газовую плитку, непромокаемую обертку для

ежегодника, два небольших фонарика для чтения, четыре канистры керосина, водонепроницаемую одноместную палатку, спальник, запасную куртку и перчатки, запасную пару веллингтонов,[70] нож, малый набор инструментов, спички в двойной герметичной упаковке, нераздвижную фотокамеру в специально изготовленном чехле из красного дерева и непромокаемом мешке, револьвер и Блэнд-577 Аксит-экспресс. Он дважды стрелял из Блэнда, и оба раза его отбрасывало на спину отдачей. Охотник в Мельбурне, продавший его, уверял, что это наиболее близкий к полевой артиллерии предмет, который человек мог положить на плечо.

Четыреста миль отделяли его теперь от возможности поделиться с кем-нибудь мечтой или воспоминанием или просто перекинуться словом. Если все пойдет хорошо, он снова увидит дружески расположенное лицо, вероятно, только через два месяца. Прежде чем прекратить писать, его мать регулярно напоминала ему, что нужно обладать чрезвычайно упрямой натурой, чтобы добровольно обречь вполне разумного в других отношениях молодого человека на такую жизнь.

На бумаге его план выглядел превосходно. Он уже оставил один из двух каяков вместе с кое-какими припасами на третьем, самом западном острове, на случай если плохая погода или сильное волнение не позволят ему вернуться сюда.

Он начинал в качестве студента Дж. Х. Тейта в Аделаиде. Тейт, который обеспечивал себе добровольцев для полевых исследований тем, что сделал частью своей экипировки бочонок пива, познакомил Тедфорда с теорией эволюции и палеонтологией, когда решил внести разнообразие в тот случайный званый обед, распевая во все горло, на мотив «Долог путь до Типперэри»:[71]

> Долог путь от Amphioxus,[72]
> Долог путь до людей;
> И далек от Amphioxus
> Даже жалкий прохиндей.
> Прощайте, плавники и жабры,
> Волосам и зубам — привет.
> Ох, как долог путь от Amphioxus,
> Но мы пришли оттуда все!

В течение двух лет Тедфорд был его ревностным приспешником, а затем его энтузиазм стал угасать перед лицом отдаленности мест исследований, недостатка материальной поддержки и скудости находок. Три месяца ради древнего зуба,

древность которого Тейт определял сам! Тедфорд устроился на работу секретарем к местному землеустроителю, и, в силу своих обязанностей, попадал под удар всего арсенала местных небылиц, историй, которые передавали друг другу по секрету, и причудливых баек. Неожиданно для себя, он увлекся тем, что в свободное время расследовал каждую из них, разыскивая животных, известных местному населению, но невиданных в мире. Когда дело касалось историй, его метод заключался в подробном рассмотрении, логическом анализе, и затем переосмыслении услышанного. Его инструментами были настойчивость, страсть к наблюдениям, терпимость к долгим лишениям и трастовый фонд его тетушки. Однажды зимой он провел месяц, разыскивая *bunyips* — чудовищ, которые, как ему сказали, обитали в глубоких подводных ямах и по ночам блуждали по биллабонгам.[73] Однако нашел только несколько окаменелых костей каких-то огромных сумчатых. Его увлекли *paringmal* — «птицы, ростом превосходившие горы», но он обнаружил их только в наскальной живописи. Он провел лето, спекаясь на раскаленном сланце, в ожидании мифического животного *cadimurka.*

Вся эта лихорадка подошла к своему апогею в тот день, когда один рыбак показал ему зуб, обнаруженный в глубоководных сетях. Это оказался большой светлый треугольник толщиной с лепешку; корень его был шершавым, лезвие, покрытое гладкой эмалью, имело по краю около двадцати острых зазубрин на сантиметр. Примечателен был и его вес: один только этот зуб весил около фунта.

Тедфорду и раньше встречались подобные зубы, в миоценовых известняках. Они принадлежали, как уверял Тейт, существу, которое наука определяла как *Carcharodon Megalodon,* или «большой зуб», — недалекого предка большой белой акулы, только примерно в три раза больше: исполинская акула, между челюстями которой высокий человек мог бы стоять, не нагибаясь, с крепкой, непропорционально большой головой. Но зуб, который Тедфорд теперь держал в руках, был *белый,* и это означало, что он принадлежал животному либо вымершему совсем недавно, либо до сих пор существующему.

Он написал о находке в «Тасманийский естественнонаучный журнал». Издатель принял текст, но отказался от его провокационного заголовка.

Почти год спустя он случайно увидел в газете сообщение о уорнамбулском морском чудовище, названном так по имени порта приписки трех тунцеловов, на которых одиннадцать рыбаков и мальчик отказывались выходить в море в течение

нескольких дней. Они были на промысле, на неких известных только им отдаленных рыбопромысловых участках, недалеко от того места, где шельф круто уходит на глубину, когда громадная, невероятных размеров акула всплыла между ними и погрузилась обратно, унеся с собой сети, одну из лодок и судовую собаку. Мальчик — он был в лодке, которая опрокинулась, — закричал: «Что это? Плавник огромной рыбы?» — а потом всё пошло кувырком. Из пучины спаслись все, кроме собаки. Они в один голос твердили, что никогда раньше не видели подобных тварей. Во время интервью, проводившихся в присутствии местного инспектора по рыболовству и некоего Б. Хевельмана, зубного врача и натуралиста, мужчин очень подробно опросили, и их показания совпадали до деталей, даже вплоть до длины этого существа, которая казалась немыслимой: по меньшей мере, шестьдесят пять футов. Их не смущал тот факт, что такова была длина крытого причала в их родном заливе. В сообщении уточнялось, что все эти люди были привычны к морю, и к любым погодным условиям, и, кроме того, к любым разновидностям акул. Они встречались и с китовыми, и с гигантскими акулами. Они подробно описали возмущение на поверхности воды, вызванное всплытием твари и её последующим погружением. Они настаивали, что это был не кит, — они видели эту ужасную голову. Они сошлись во всем: в размере спинного плавника, в поразительно огромном диаметре существа, в его призрачно-бледном цвете. Что особенно говорило в их пользу, согласно их собственным критериям доверия, так это их бесповоротный отказ возвращаться в море в течение примерно недели, несмотря на потерю заработка — потерю, которую они с трудом могли себе позволить, как подчеркнули их также опрошенные жены.

Только через неделю он смог выехать на место, но когда он, наконец, добрался до Уорнамбула, никто не хотел говорить с ним. Рыбаки устали быть местным поводом для сплетен, и сказали только, что лучше бы кто-нибудь другой, не они, увидел эту тварь.

Не успел он вернуться на рабочее место, как стали появляться другие истории. Всю неделю каждое утро было по сообщению, и их значение мог оценить только он. Небольшое судно затонуло к югу от Тасмании, при штиле, экипаж пропал. Траулер длиной в девяносто футов натолкнулся на риф там, где на картах была обозначена глубокая вода. Китовую тушу без головы, с длинными глубокими ранами вынесло на берег недалеко от залива Хиббс.

Как только ему представилась возможность, он выехал утренним экипажем в Уорнамбул и отыскал там Б. Хевельмана, зубного врача, который оказался неопрятным человеком,

похожим на какаду, засевшим, как в берлоге, в помещении в задней части своего дома, где он оборудовал себе лабораторию. Как он с раздражением объяснил Тедфорду, после обеда он уединялся там, отгороженный от своих пациентов и их страданий, и предавался энтомологическим и зоологическим исследованиям, плоды которых украшали стены. Комната была угнетающе тёмной и тесной. Д-р Хевельман был секретарем местного научного общества. До недавнего времени он занимался изучением крошечного, но чудовищного на вид насекомого, обитавшего исключительно в определенного вида экскрементах, однако с тех пор, как рыбаки принесли весть о морском чудовище, эта история совершенно завладела его умом. Он сидел на вращающемся стуле за широким столом, который был завален книгами, картами и схемами, и надеялся, что все это сделает свое дело и сократит визит Тедфорда, что самого Тедфорда никак не устраивало, зато хозяин пребывал в крайнем раздражении. Во время разговора он жевал конец какого-то предмета — как он уверил Тедфорда, это был корешок, полезный для зубов. Он носил маленькие солнцезащитные очки в роговой оправе и скрупулезно заостренную бородку.

Ему не нужна была никакая помощь, и он вполне был доволен тем, что его считают сумасшедшим. Коллеги только укрепляли его в подозрениях, что одной из удивительнейших вещей в природе является то сопротивление, которое типичный человеческий мозг оказывает внедрению в него новых знаний. Когда дело доходило до идей, его соратники упрямо держались своих проторенных дорожек, пока их не сгоняли оттуда силой. Что же, прекрасно. Это изгнание должно было произойти в самое ближайшее время.

Располагал ли он информацией помимо той, что была в газетах? Тедфорд хотел знать.

Уже и та информация должна бы удовлетворить его, парировал Хевельман; его интервью, как минимум, служили удовлетворительным доказательством, что, если кто-то верил в существование чудовища, он делал это в хорошей компании. Впрочем, он действительно знал кое-что еще. Поначалу он отказывался отвечать на вопросы и говорить что-либо на эту тему. Насекомое, которое он изучал, не было, по-видимому, поедаемо птицами из-за потрясающе зловонных, неприятных на вкус выделений, запах которых начинал все сильнее исходить от одежды доктора, по мере того, как Тедфорд сидел в этой душной маленькой комнате.

Однако чем дольше сидел Тедфорд, мягко отказываясь уходить, тем больше информации сообщал легко возбудимый

бельгиец. Он рассказал о своем ассистенте-хирурге, который подружился с аборигенами, жившими возле Кауард-Спрингз и Боупичи, и те сообщили ему о каких-то потайных островах на юго-востоке, одержимых духом глубин — чем-то ужасным, чем-то злым, чего следует избегать. И еще у них есть специально слово, обозначающее «акулу, пожирающую море». Он показал кусок грифельной доски, какие обычно имели при себе рыбаки, — с судна, которое, по его словам, бесследно пропало; на ней было написано: «Пожалуйста, помогите нам. Найдите нас прежде, чем мы умрем».

Наконец, когда ему показалось, что Тедфорд недостаточно впечатлен, он с торжественным видом полез в запертый шкаф и извлек оттуда зуб — белый — такой же, как тот, что показывали Тедфорду. По его словам, уорнамбулские рыбаки вытащили его из обрывков своих сетей.

«Более того, он нашел те самые рыбопромысловые участки, — сообщил доктор, ковыряя корешком в задних коренных зубах. — А вместе с ними и острова».

Тедфорду не удалось скрыть, как он потрясен и возбужден.

Все это заняло несколько недель, продолжал Хевельман. Но в целом он был вполне доволен своими успехами и изобретательностью. Он собирался отправиться на место в ближайшие дни, чтобы положительно идентифицировать тварь, а то и поймать ее. Мог бы Тедфорд сопровождать его? Ни в коем случае.

После того, как оба они успели осознать жестокость его отказа, Хевельман задумчиво отметил, что существо, о котором шла речь, было бы только вторым по величине хищником после кашалота, какого когда-либо порождала эта планета. Затем он погрузился в молчание с видом человека, вглядывающегося в открытый космос.

Когда Тедфорд наконец спросил, какое оружие он собирается взять с собой, мужчина процитировал Книгу Иова: «Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево». Когда же гость уточнил: «Следует ли понимать это так, что Вы собираетесь отправляться туда безоружным?» — Хевельман только весело сказал: «Он кипятит пучину, как котел».

Тедфорд попрощался с ним, намереваясь прийти на следующий день, и на следующий, и на следующий, однако вернулся наутро, лишь чтобы обнаружить, что Хевельман уже уехал, как выразилась его экономка, «в морское путешествие». Он так и не вернулся.

В конце концов, Тедфорд попросил экономку оповестить его, если будут какие-то новости, и две недели спустя эта любезная

женщина написала ему, чтобы сообщить, что часть кормы корабля «Тонни», нанятого ее хозяином, вынесло на побережье Тасмании.

Он уговорил экономку предоставить ему доступ в лабораторию, под предлогом, что он мог бы помочь раскрыть тайну исчезновения несчастного доктора, перерыл все помещение и обнаружил там заметки доктора, копию драгоценной карты — все. На одном из трех островов должен был находиться секретный проход, потайной вход в нечто вроде лагуны, обычно полностью окруженной скалами и льдом. Ему нужно было искать бледно-голубой лед на уровне воды, под куполообразным навесом, подгрести к этому месту и пробить себе путь через то, что он там увидит. Это будет его личная дверь в неизведанное.

Дошло уже до того, что друзья стали замечать неудовлетворенность, сквозившую практически во всяком его высказывании, и он начал открыто говорить о том, что окружающий мир угнетает его. Все было загнано в жесткие рамки; все было разложено по ящичкам и сорганизовано. И что такое вообще зоология — или палеонтология — как не навязчивая перестановка ящичков? Найти то, чего, по мнению науки, не существует — вот это был бы подлинный вклад.

Ему хотелось верить, что он принадлежал к числу людей, смотрящих на мир непредубежденно и разумно судящих о нем. В письмах к тем немногим нетребовательным корреспондентам, что все еще поддерживали с ним связь, он называл себя просителем перед лицом тайн Природы.

Он все чаще ощущал желание, чтобы его единственная движущая сила наконец оставила его в покое. Проходя мимо зеркала, он замечал, что у него вид человека, на чью долю уже выпадали несчастья и, несомненно, выпадут еще.

Он не был особенно робким. Когда к нему обращались, он всегда реагировал. Однажды он сделал женщине предложение, но она буквально отшатнулась от него и ответила, что их дружба столь мила и приятна, что было бы жаль ее портить.

Его первым воспоминанием было, как он бил ложкой по каминной полке. На вопрос отца, чем он занимается, он сказал: «Я играю прелестную музыку».

Его мать, чья семья сколотила состояние на кораблестроении, была склонна к замечаниям типа: «Стоимость моих изумрудов за все эти годы только выросла».

Мальчиком, он замечал, что его голова полна картин, которых больше никто не видел. Как будто самый воздух был густо заполнен удивительными мыслями и идеями. Он вырос в поместье, расположенном далеко за пределами их маленького

городка, со своим братом Фредди — ближайшим и единственным другом. Фредди был его старше на два года. Они ставили ловушки на бандикутов и потору в подлеске эвкалиптовых насаждений, и Фредди учил его, как не быть укушенным бородатыми ящерицами и чешуеногами. Они всюду катали друг друга на руле их общего велосипеда и вместе выполняли обязанности по дому. В глазах родителей они не могли различаться больше: высокий белокурый Фредди, который в четырнадцать лет заявил, что его призвание — проповедовать заблудшим душам где-нибудь в глубинке, как только он достигнет совершеннолетия; и тщедушный Рой со спутанной копной каштановых волос, которые ему никогда не удавалось привести в порядок, и склонностью разбивать банки с домашними заготовками или вином просто от нечего делать. Фредди помогал в местной больнице, в то время как Рой собирал мерзкие старые кости и раскладывал их по всему дому. В сущности, единственное, что не удалось Фредди, — перевоспитать своего брата.

Но однажды, накануне четырнадцатого дня рождения Роя, все рухнуло, когда Фредди, отправившись по поручению на лесопильню, каким-то образом попал под циркулярную пилу, и его рассекло от груди до бедра. Он прожил еще два дня. Брат дважды приходил к нему в больницу, и оба раза Фредди отказывался видеться с ним. Прямо перед тем, как умереть, в присутствии Роя, он спросил мать, слышит ли она пение ангелов. Она снова принялась рыдать и сказала, что не слышит. «Какой прекрасный город», — ответил он. И умер.

Отец Тедфорда никогда больше не упоминал о происшедшем. Его мать говорила об этом только со своей сестрой и еще одной близкой родственницей. У них еще была дочь, Мина, которая простудилась и умерла в возрасте семи лет.

Его отец превратился в одного из тех людей, которые исчезают куда-то, как только все отвлеклись. Казалось, он уходил просто ради ощущения движения. Его мать развила теорию о том, что Провидение посылает на Землю таких людей, как Фредди, чтобы сделать всех счастливыми, а затем, когда их не станет, открыть всем глаза на добродетели.

Через месяц после того, как все случилось, Тедфорда нашли спящим на дороге; рот его был полон сырого лука, а в руке был нож.

Никто никогда не говорил с ним об отказе его брата видеть его. Пока не умер его брат, он мог бы назвать свою жизнь совершенно никчемной.

Небо треснуло зарей по линии горизонта. Первая ночь прошла благополучно, подумал он, выглядывая из-за полога палатки. Ему даже удалось поспать. Пока он натягивал верхнюю одежду, стены палатки дергались и надувались на ветру. Руки и спина болели после вчерашней гребли. Сырой холодный воздух забирался под рубашку — в рукава и вдоль спины.

Прошлой ночью, когда он погасил свой фонарик, ему пришло в голову, что в течение следующих двух месяцев он будет так же далеко от человеческой помощи, как если бы находился на Луне. Если бы с ним случилось что-то серьезное, только его собственные качества могли бы его спасти.

Старина Тейт любил говорить, особенно когда замечал, что Тедфорд совсем уж странно себя ведет, что на свете существует столько отличных друг от друга людей, сколько существует матерей, родивших их, и жизненных испытаний, выковавших их характер, и на одном и том же ветру каждый издает свою собственную мелодию. Понемногу Тедфорд обнаружил, что совершенно не приспособлен для работы в конторе землеустроителя, как постепенно пришел он и к осознанию своей неспособности объяснить кому-либо еще то благоговейное стремление к жизни, которое внушал его душе образ *Carcharodon Megalodon.*

Существо обитало даже в тех его грезах, которые не имели отношения к морю. Однажды он произнес его имя во время церковной службы. Перед лицом *Carcharodon Megalodon* он все еще оставался пещерным человеком, сидящим на корточках перед изображением, им же самим нарисованным на стене, и зачарованным его магическими свойствами.

Но временами, когда он мыслил уже как школьник, он хотя бы решался признаться себе в своей проблеме и воспринять Жизнь, как она есть, жизнь ради жизни, в готовности принимать любые обстоятельства. Зашнуровывая ботинки, он убеждал себя в том, что хочет увидеть само животное, а не свой страх и восторг перед ним.

Пятнадцать миллионов лет назад такие монстры были царями всего живого, владыками времени; затем, в течение многих веков, изменения практически не затрагивали их, и так до тех пор, пока в живых не осталось лишь нескольких, находящихся на границе исчезновения. Жизнь текла вокруг них, оставляя их позади. Чудовищ, о которых наука имела представление, и тех, что были ей неизвестны. Образование северного ледникового покрова и увеличение южного во время плейстоцена повлекло за собой резкое снижение уровня моря, открыв континентальные шельфы вокруг Австралии и Антарктиды и загнав всё

разнообразие океанской жизни в глубокие изолированные впадины. Тедфорд был убежден, что где-то в таких впадинах, через которые проходит холодное и богатое пищей глубинное течение, судя по всему, берущее начало у берегов Антарктиды и идущее дальше на север ко всем материкам мира, и обитала его добыча, время от времени поднимаясь на поверхность в одних и тех же отдаленных зонах кормления.

Какой процент *поверхности* моря был исследован? Даже если забыть о его абиссальных глубинах, — глупцы, взад и вперед бороздящие своими ревущими машинами одни и те же морские пути, со всей уверенностью заявляют, что в океане уже не осталось ничего необычного. За пределами же этих узких маршрутов, по которым все путешествовали, царила неизвестность. Он находился теперь в неисследованной области размером с Европу. Он был в краю удивительных историй. А он всегда жил ради удивительных историй.

Первый день поисков пошел прахом, когда волна захлестнула его каяк в нескольких футах от лагеря. Он провел весь оставшийся день трясясь от холода, и ему пришлось разбирать камеру и проверять, не попала ли в неё вода. Второй день был загублен, когда он поскользнулся на ледяном склоне возле палатки и вывихнул лодыжку. Рассвет третьего дня оказался пасмурным и зловещим и, пока он снаряжал каяк, превратился в ледяной дождь. Четвертый занялся ясным и солнечным, и он лежал в палатке, замерзший и промокший, с пульсирующей болью в лодыжке, не в силах поверить, что все наконец меняется к лучшему.

В конце концов он заставил себя подняться, спешно оделся и провел некоторое время на слепящем солнечном свете, скалывая ледяную корку с рулевой поверхности каяка. Он позавтракал чаем и сухофруктами. Море было спокойным. Он погрузил камеру и ружье в непромокаемых чехлах в багажную корзину на носу каяка, повесил на шею компас, положил карты в карман куртки, забрался на сиденье и оттолкнулся веслом ото льда. Его маленькая палатка осталась ждать его на берегу.

Он отправился на восток, вдоль подветренной стороны острова. Тот оказался больше, чем он предполагал. Он видел потеки гуано на некоторых скалах, но в остальном — никаких признаков жизни. Гребля немного отвлекла его от боли в лодыжке, и лед проплывал мимо со скоростью пешехода. Время от времени ему приходилось огибать нечто похожее на подводные ледяные рифы.

Самый восточный из островов показался сквозь кольцо окружавшего его тумана. Судя по тому, что он мог видеть из

своей маленькой подпрыгивающей на воде лодки, это был самый большой остров из трех. В воде вокруг него было больше ледяного крошева — возможно, из открытого океана по ту сторону острова. За остаток дня он дважды проплыл вокруг него, с каждым разом все медленнее. Он не нашел никакого бледно-голубого льда, никакого куполообразного навеса или потайного прохода. К концу второго круга он отчаялся и немедленно стал бранить себя за отсутствие мужества.

Солнце опускалось. На юге, где-то очень далеко, ледяные поля простирались от горизонта до горизонта, и торчали пики, высотою превосходившие топ мачты.

Он еще немного покачался на растущей волне, чувствуя себя загнанным в тупик, а затем отгреб на сотню ярдов от берега и начал новый круг, с другой точки.

На полпути, на северной стороне, внутри ледяного грота на высоте пятидесяти футов он разглядел что-то желтое. Несколько минут он плавал из стороны в сторону, пытаясь унять возбуждение и обдумывая, как можно было бы туда добраться, и, в конце концов, нашел подходящий, на его взгляд, маршрут. Еще полчаса ушло на то, чтобы найти надежную привязь. Когда он, наконец, начал взбираться, до заката оставалось всего около часа.

Даже с его лодыжкой, подъем оказался проще, чем ожидалось. Наверху он обнаружил недавнюю стоянку, устроенную с подветренной стороны выпуклого бока покрытой льдом скалы. Там были банки из-под мясных консервов и старая бутылка. Содержимое небольшой кожаной сумки было, судя по всему, сожжено. Остались только две тетради и стилограф. Тетради были пусты.

Он предположил, что все это — дело рук Хевельмана. Возможно, корабль, который он нанял, ожидал его где-нибудь на расстоянии, пока он совершал остальную часть путешествия один.

Но что можно было из этого извлечь? Он уселся среди консервных банок, чувствуя, что совершенно не в состоянии сосредоточиться. И только когда он поднялся, понимая, что освещение падает с такой скоростью, что нужно уходить безотлагательно, он увидел камни, сложенные в форме стрелки, указывавшей на запад, и остров, с которого он приплыл.

Он провел вечер в спальнике, слушая, как стены его палатки бешено бьются на ветру, и пытаясь изобрести способ измерить соленость воды в этом маленьком заливе. Утром оказалось, что внутренняя поверхность палатки покрыта причудливыми узорами из ледяных кристаллов.

На востоке рассвет протянулся полосой света, будто бы пропущенного через призму, фиолетовой у воды и переходящей в

золото выше. Он с трудом мог себе представить, что где-то вдоль этой фиолетовой линии ходят пароходы, и люди разговаривают обо всяких мелочах жизни.

Он сел на почтовый пароход в Хобарте, на юго-восточном побережье Тасмании, чтобы пересечь южную часть Индийского океана. Несмотря на паровые суда, и железную дорогу, и автомобили, складывалось ощущение, что это место находится где-то недалеко от края земли, особенно по ночам. Тедфорд сонно бродил наугад, и в последние часы перед рассветом холмы вокруг доков наполнялись сверхъестественными звуками. Он посетил несколько пабов, но обнаружил, что подавляющее большинство рыбаков и докеров не питают интереса к науке. Корабль отплыл в предрассветной мгле его третьего дня в городе, и он помнил, как думал, когда судно снималось со стоянки, что он теперь полностью во власти этой суповой миски.

Три фигуры в макинтошах прогуливались по пристани возле его корабля под мелким холодным дождем. Он хотел было прокричать им что-нибудь напоследок, но потом отказался от этой мысли. Он видел большие и малые суда по пути из гавани — на некоторых было зажжено палубное освещение, другие были погружены во тьму, и только якорные огни горели на их грота-штагах. Он смог разобрать названия лишь некоторых из них, когда его корабль проходил мимо какого-нибудь носа или свеса кормы. Шаланды и мелкие суда прятались в их черных тенях. В свете большого фонаря рядом с трубой парохода были видны резервуары с углем и края верфи.

Как только взошло солнце, он стал коротать время, воображая, что у каждой волны есть свой близнец, выбирая какую-нибудь из них и отыскивая её пару. Острова показались только несколькими милями западнее координат Хевельмана, и он договорился о том, где и когда его подберут, спустился по судовому трапу к своим качающимся на волнах каякам, связанным вместе, приветливо помахал корабельному старшине и отчалил от корпуса судна. Он оглянулся только однажды, но корабль к тому времени уже пропал из поля его зрения.

Он вскрыл банку и обеспечил себя завтраком. Во время еды он наблюдал, как снег вокруг его лагеря собирался в маленькие рогалики — как будто кто-то вычерпал ложкой их подветренные стороны.

Как же он любил жизнь, хотелось ему думать, — во всех ее проявлениях, ее краски и ее серость, ее взлеты и падения! Хотел бы он знать, приносит ли кому-нибудь простое осязание вещи — обыкновенной вещи, любой вещи — такое же чувство глубокого удовлетворения, какое оно приносило ему.

Он думал начать с наветренной стороны, пока не поднялся бриз. Когда он отчалил, над его головой неторопливо пролетел тайфунник — первый признак жизни. Полчаса спустя он заметил дальше в море фонтаны водяного пара, выдыхаемые в воздух китами.

И снова он проплыл вокруг всего острова, ничего не обнаружив. На этот раз он повторил круг даже еще ближе к берегу, хотя его каяк часто ударялся и царапался о скалы. В скрытом от глаз углублении он нашел еще одну стрелку, на этот раз наспех вырезанную в скале. Она указывала путь в безнадежно узкую заводь, которая, когда он сманеврировал в нее, оказалась немного шире и была похожа на преддверие чего-то еще. Вода под ним, казалось, уходила в бесконечность. Закрытое пространство значительно усиливало плеск волн. Глубоко внизу он мог разглядеть обильные стаи медлительной зеленой рыбы от двух до четырех футов в длину, которую он предположительно определил как морского окуня.

Перед ним была ледяная стена в тридцать футов высотой. Он толкал свой каяк взад и вперед. Ветер забавлялся в этой естественного происхождения трубе. Он не видел никакого секретного прохода и продолжал сидеть.

Но поздним утром, когда солнце насквозь просветило стену напротив него, оно высветило через лед скальный гребень около десяти футов в высоту, посередине которого открылась щель шириной в шесть футов. Ледяной каскад внутри этой щели окрасился жемчужно-голубым.

Он рубанул по нему, и лед стал отламываться пластинами, которые падали в воду и кружились в водоворотах. Пригибаясь, он проложил себе путь веслом, и по правую руку от него открылось устье огромной голубой пещеры.

Когда он пересекал пространство пещеры, ему казалось, что его взгляд потонул в свете. Солнце повсюду отражалось от снега и льда. Ему потребовалось несколько минут, чтобы сориентироваться, заслоняя глаза рукой.

Он находился в квадратной бухте внутри ледяного массива, навскидку, сорок ярдов от края до края. Казалось, вода здесь была еще более глубокой, и от нее исходило необыкновенное небесно-голубое свечение. Залив не имел ни пологого берега, ни вообще каких-либо выступов по краю. В самой высокой точке стены, кажется, достигали семидесяти футов.

Пространство над ними будто бы обрело совершенную прозрачность. Вдали от солнца, на глубоком фиолетовом небе сияла одинокая звезда. Воздух опьянял.

Он ждал. Он плавал кругами по бухте. Он чувствовал

подспудное, но нарастающее желание есть. Стаи больших рыб беспорядочно кружили на глубине всюду, куда ни падал взгляд.

Он готов был ждать весь день, если необходимо. Он готов был ждать всю ночь. Его каяк дрейфовал из стороны в сторону, весло было вставлено в уключину, и он слышал звук падающих с лопасти капель, пока дважды проверял свое ружье и фонарик. Он достал из чехла камеру.

Стаи рыб продолжали кружить и гоняться друг за другом, время от времени поднимаясь к самой поверхности воды. Он ждал. Ближе к вечеру откуда-то с запада стали доноситься грохочущие звуки ледопада. Солнце начало опускаться. Тени в маленькой бухте, кажется, стали прохладнее. Он поужинал галетами, запив их глотком воды.

Какое-то сильное движение вздыбило воду жидким куполом, и он прокатился по нему; а потом все опять стало тихо. Он положил руку на камеру, а затем и на приклад ружья. Его пульс постепенно успокоился. Не очень высоко над ледяной стеной взошла бледная луна. От долгого смотрения на нее ему стало казаться, что она окружена ореолом. Температура падала. Его дыхание клубилось в воздухе султанчиками.

По его оценкам, он дрейфовал в этой бухте уже на протяжении шести часов. Ноги у него закоченели, зад болел. Когда он шевелил ступней, в лодыжке отдавалось резкой болью.

Он понимал, что с погодой ему повезло. Обычно именно в котле Южного полюса варились многочисленные бури Южного полушария.

Темнота стала еще более непроглядной. Он зажег фонарь. Когда он водил им по сторонам, тени казались кусками камня или льда. Вода была неподвижна и похожа на синее стекло, пока он не поднял весло и не начал грести им, и каждый взмах посылал по сверкающей поверхности все новую и новую рябь.

Пока он греб, он повторял сам себе те главные составляющие Жизни, которым научил его Тейт: желание жить, силы жить, сообразительность и способность легко преодолевать малые опасности. Жизнь шла вперед благодаря своей собственной движущей силе, в то время как ее внешний вид формировался в битвах с окружающей средой.

Он стал петь песенку, которую пел ему отец во время гребли:

Над его головой был весенний клен,
А выше висела луна,
А над луной видел звезды он —
Гвоздики с туфель ангела.

Он остановился и снова пустился в дрейф, развернув нос каяка так, чтобы видеть оставленный им на воде след. Фредди всегда называл его Стариной Мечтателем за его склонность к фантазиям. В ежегодник Тедфорда, оставленный в лагере, был вложен его членский билет Мельбурнского научного общества и единственная имевшаяся у него фотография брата: мутное изображение высокого миловидного мальчика со светлыми волосами.

Над ним зелеными и розовыми полотнищами, тонкими, как мыльный пузырь, расцвело южное сияние. Сквозь него он мог видеть звезды. Вся восточная часть неба была заполнена этим сиянием, по которому прокатывались волнообразные переливы.

Здесь, в этой бухте, на самом пупе земли, ему легко было понять, как люди пришли к представлениям об Эдеме или Золотом веке. Ему хотелось знать о *Carcharodon Megalodon* больше, чем он мог бы выяснить, если бы наблюдал за ним целую жизнь; больше, чем у него было инструментов, чтобы измерить это. Все, что представало перед ним теперь — лишь какой-то призрачный шум, колоссальный и приглушенный, на самых низких частотах, издаваемый, казалось, самой бухтой. Это и еще волнительные видения себя самого умирающим, с минуты на минуту собирающимся отойти в мир иной. Он наблюдал за всем как будто бы с вершины ледяного вала и находил картину странным образом притягательной. Холод упорствовал, и он чувствовал, что каждая малейшая его часть объята им; его сознание было охвачено экстазом стремления к цели. Воздух казался живым из-за многочисленных бесконечно малых кристалликов. Лодыжка пульсировала.

Ему стало казаться, что из-под воды доносились звуки. Затем, более отчетливо, он услышал, как что-то вынырнуло на поверхность. Фонарь осветил только остаточное движение воды.

Он подплыл к тому месту. В лунном свете от всплесков получались серебристые круги. Можно было подумать, что вокруг ртуть.

Луна исчезла и оставила его в темноте. Он скользил сквозь нее, достаточно близко к той штуке, которая только что поднималась на поверхность, чтобы уловить в воздухе зловонный запах.

Впервые он был напуган. Поставив фонарь между ног, он вставил весло в уключину и за ствол подтянул к себе Блэнд. Эта тварь была персонификацией самого устрашающего мира вокруг него, самого ужаса природы.

Поверхность воды пришла в движение. Его маленькое судно качалось и подпрыгивало в темноте. Конец его был близок, но он

не терял присутствия духа. Обстоятельства обернулись против него, но у него не было ни одной причины жаловаться.

Почему брат не захотел видеть его? Почему брат не захотел его видеть? Слезы брызнули у него из глаз и заблестели даже при таком скудном освещении.

Снова разлился лунный свет, как будто над бухтой подняли занавес. Выше — звезды восходили и падали на наполненном ветром небесном своде. Но здесь ветра не было, и все было совершенно недвижно. Все было тихо. Сердце начало стучать у него в ушах.

Только вода волновалась и образовывала водовороты. Прямо у поверхности косяки рыб испуганно бросались врассыпную, как брошенные кем-то дротики.

Он заметил тусклое свечение на глубине. По мере подъема оно принимало форму рыбы. Будто бы само ее тело излучало этот свет, и его контуры делались от этого колеблющимися и неясными.

В том месте, где отражалась луна, вода завихрилась, а затем стремительно поднялась буруном, когда акула рванулась вперед и вверх. Туша нависла над головой Тедфорда. За брызгами ему стало не видно ледяную стену позади нее.

Будто бы само дно поднималось на поверхность. Волна, вызванная нырком рыбы, подняла его каяк на шесть-семь футов вверх по противоположной стене, и он едва смог удержаться на месте. Он потерял фонарь и ружье.

Обратной волной его вынесло на середину залива. Он промок, и его трясло. В ногах хлюпала смесь морской воды и льда. Он испытывал резкие припадки паники. Его камера некоторое время болталась радом на воде в своем непромокаемом чехле, а потом утонула. Вокруг него стал образовываться водоворот. Показался спинной плавник — высотой с человека, с воротничком пены у основания, он изгибался, с него стекала вода. Все животное целиком прошло перед ним кошмарным парадом. Он оценил его длину в пятьдесят футов. Его диаметр — в двенадцать. Это был железнодорожный вагон с плавниками.

Тварь повернулась на бок, тоже рассматривая его своим внушительных размеров черным глазом, резко контрастировавшим с белизной чудовищной головы. Она ушла на глубину и затем, далеко внизу, показалась снова — широко разинутым необозримым кругом зубов, поднимающимся из тьмы.

Куда бы отнес Тедфорд свою находку, если бы мог унести ее? Кто осознал бы всю значимость этого создания? Кто осознал бы потерю? Кто понял бы его жизнь в изоляции? Кто постиг бы

открывшиеся ужасы несостоятельности? Челюсти акулы возникли по обе стороны от носа и кормы, вздымая завесы брызг, переворачивая его вверх тормашками, поворачивая лицом к луне, и он на секунду почувствовал себя Ионой. Ему оставались кратчайшие мгновения всего того, на что он надеялся, и всего остального.

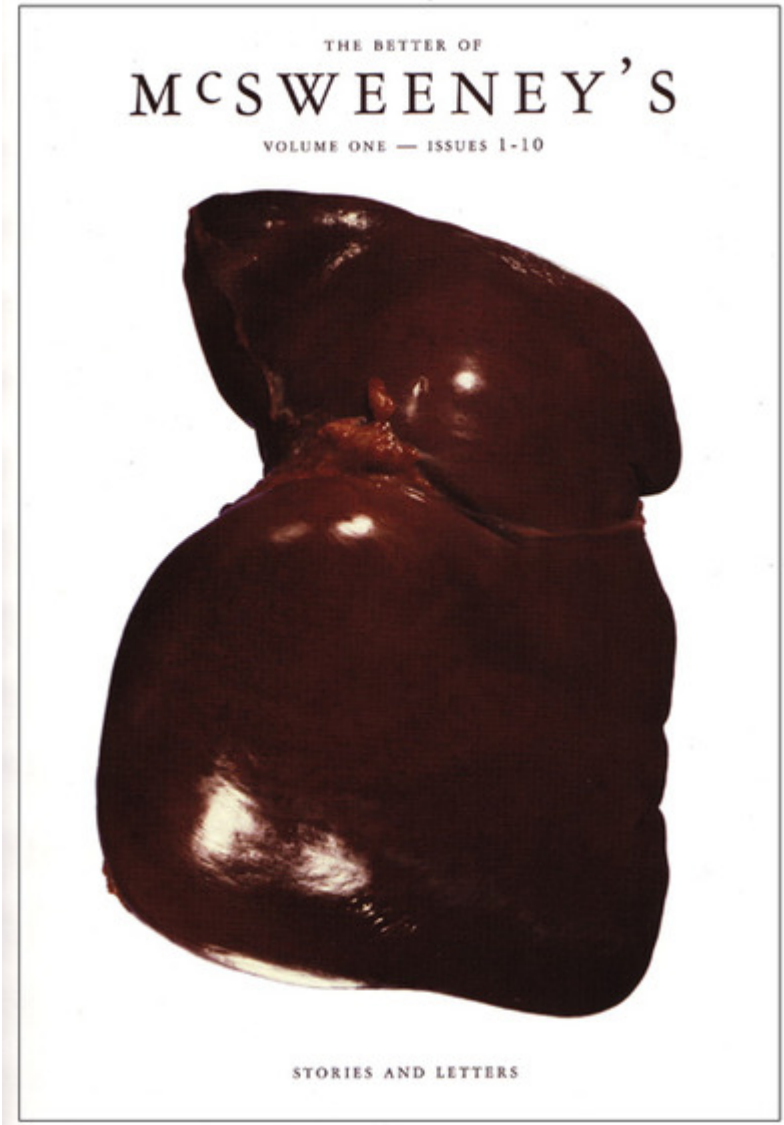
*Перевод Н. Лебедевой*

# ПОМНЮ
## Сара Мангузо [74]

Будучи робким ребенком, я всегда слушалась родителей. Они запрещали мне ходить в лес, окружавший наши владения, но иногда я стояла у самой кромки леса и вглядывалась.

Однажды вечером я углубилась в лес футов на десять и замерла. Я смотрела, как заходящее солнце льет на землю лучи сквозь листву, блики света пятнами лежат на стволах, папоротниках и белых фиалках в траве. Я волновалась, понимая, что должна запомнить увиденное как можно лучше, ведь это было самое красивое в мире зрелище. Но понимала я и то, что никогда не смогу выразить это словами… В конце концов я решила записать дату и время на карточке и хранить ее в ящике стола. Еще я написала там: «Свет. Деревья».

Карточка давно потерялась, но я помню примерную дату (начало июня 1982 г.) и то, как выглядела карточка. Из-за этих зарубок в памяти я до сих пор представляю себе тот лес очень ярко.




**Лучшее от McSweeney's:**

**К. Квашай-Бойл** — многократно публиковалась в прессе, номинирована на премию «Пушкарт» за лучшее произведение малой формы.

**Артур Брэдфорд** — писатель и кинорежиссер-документалист, лауреат премии им. О'Генри.

**Кевин Брокмейер** — его произведения вошли в три антологии премии им. О'Генри. Лауреат множества других премий, автор нескольких книг.

**Джуди Будниц** — сборник ее рассказов «Прыжок с

переворотом», по мнению газеты «Нью-Йорк Таймс», стал лучшей книгой года.

**Дэн Чаон** — его книга «Среди отсутствия» в 2001 г. вошла в финал национальной книжной премии и долго числилась среди бестселлеров. Его рассказы публиковались в сборниках премий «Лучший американский рассказ», «Пушкарт» и премии им. О'Генри.

**Пол Коллинз** — основатель и главный редактор «Библиотеки Коллинза», серии, публикующей редкие и необычные книги. Автор двух книг мемуаров.

**Энн Камминс** — многократно публиковалась в прессе. Автор книги «Дом рыжего муравья», живет то в Калифорнии, то в Аризоне.

**Ребекка Кертис** — автор множества рассказов. Работала литературным редактором в журнале «Солт-Хилл», номинировалась на премию «Пушкарт». Аманда Дэвис — скончалась в 2003 г. Автор сборника рассказов «Вокруг канавы» и романа «Интересно, когда ты по мне соскучишься?». Лауреат нескольких премий. Коллектив и читатели альманаха «McSweeney's» скорбят о ее безвременной кончине.

**Лидия Дэвис** — переводчик с французского, в чьем багаже книги Сартра, Сименона и Фуко. Автор нескольких сборников рассказов. Лауреат стипендии Гуггенхайма и стипендии Макартура.

**Келли Фини** — драматург и искусствовед. Живет в Колорадо.

**Иэн Фрейзер** — журналист, пишет для журнала «Нью-Йоркер». Последняя его книга, сборник очерков о рыбалке, называется «Рыбий глаз».

**Глен Дэвид Голд** — автор книги «Картер побеждает дьявола», которая в 2001 г. была признана газетой «Нью-Йорк Таймс» лучшей книгой года.

**Александр Хемон** — писатель, чьи произведения регулярно публикуются в прессе. Первый его роман назывался «Вопрос Бруно», а последний — «Человек из ниоткуда».

**Шейла Хети** — писательница, недавно опубликовала очередной роман, «Тикнор».

**А. М. Хоумз** — автор многочисленных книг. Публиковалась в «Нью-Йорк Таймс» и «Нью-Йоркере». Преподаватель, живет в Колумбии.

**Гейб Хадсон** — его дебютный роман «Дорогой господин президент» был назван лучшей книгой года по версии «GQ». Преподаватель, живет в Принстоне.

**Пол ЛаФарг** — автор трех романов, последний называется

«Зимние факты». В 2002 г. стал лауреатом стипендии Гуггенхайма.

**Джонатан Летем** — автор пяти романов, самый известный из которых — «Бастион одиночества», а также двух сборников рассказов и сборника очерков.

**Сара Мангузо** — автор двух романов. Живет и преподает в Бруклине.

**Рик Муди** — последний его роман называется «Прорицатели». Среди других его книг «Демонология», «Багровая Америка» и «Ледяная буря».

**Джордж Сондерс** — автор сборников рассказов «Пасторалия» и «Разруха в парке Гражданской войны». Живет и преподает в Сиракузах, штат Нью-Йорк.

**Джим Шепард** — написал шесть романов, последний носит название «Проект Х», и двух сборников рассказов. Редактор нескольких антологий. Его рассказы неоднократно публиковались в прессе.

**Зэди Смит** — автор бестселлеров «Белые зубы» и «Собиратель автографов», лауреат многочисленных премий.

**Уильям Т. Воллманн** — автор научного труда о насилии, опубликованного в 2004 г. Издал еще более десятка книг, включая состоящий из новелл роман «Европа Центральная».

**Дэвид Фостер Уоллес** — автор десяти книг, среди которых «Забвение» и «Бесконечная шутка».

**Шон Уилси** — недавно опубликовал воспоминания под названием «О, слава всего сущего». Его рассказы неоднократно появлялись на страницах газет «Лос-Анджелес Таймс» и «Лондонское книжное обозрение».

**notes**

# Примечания

# 1

Да, конечно (исп.).

# 2

Просто сделай это (англ.).

# З

Придурок (исп.).

## 4

В книгу вошли 5 писем, подписанных «Дэниел О'Мара», и написанных от лица пса по кличке Стивен. Автором этих мистификаций является сам редактор антологии — Дэйв Эггерс. В содержании письма не указаны (*XtraVert*).

# 5

Дэн Райс (1823–1900) — известный американский артист цирка.

# 6

Золотистая летучая мышь (фр.).

7

Или Барри Манилов — псевдоним американского поп-исполнителя Барри Алана Пинкуса (1943 г. р.), сына евреев, эмигрировавших из Российской империи.

**8**

Часть объема крови, приходящаяся на форменные элементы.

# 9

Операция по удалению молочной железы.

# 10

Операция по удалению матки.

# 11

Клещевой иксодовый бореллиоз.

## 12

Известный американский сериал, шедший с 1981 по 1989 гг. Главные действующие лица — семейство Кэррингтонов, нефтяных магнатов, живущих в Денвере, штат Колорадо.

# 13

Шерпы — народность, живущая в Восточном Непале, в районе горы Джомолунгма, а также в Индии. Основные их занятия — торговля и участие в восхождениях на горные вершины в качестве носильщиков и проводников.

# 14

Войдите (фр.).

# 15

Конец эпохи (фр.).

## 16

«Ветер в Ивах» — фильм Терри Джонса, 1983 г., снятый по мотивам одноименной детской книжки Кеннета Грэма.

# 17

Сколько вы знаете астероидов? Я тридцать (нем..)

# 18

Пошли, ребята. Все пошли отсюда (нем.).

# 19

Йотунхейм — в скандинавской мифологии земля гигантов.

# 20

*Mini-ficelles* — небольшой тонкий батон, *pains-aux-chocolat* — булочка с шоколадом (фр.).

# 21

Положение об обязанностях судебно-медицинской экспертизы, Сан-Франциско, Свод Правил и Нормативов (брошюра), июнь 1996 г. *(Прим. автора.)*

## 22

Олдос Хаксли, «Вечная Философия». *(Прим. автора.)*

# 23

Катон Младший (Утический) Марк Порций (95–46 до н. э.) — римский политический деятель, судебный оратор, философ, известный своей справедливостью и неподкупностью. Совершил самоубийство из-за падения республики, которую защищал.

## 24

Положение об обязанностях судебно-медицинской экспертизы, Сан-Франциско, Годовой отчет, 1 июля 1994 — 30 июня 1995 г., стр. 9, 36. *(Прим. автора.)*

# 25

Стилисту не понравится этот пассивный оборот. Но я не вижу грамматической конструкции, более подходящей для мертвых тел. *(Прим. автора.)*

## 26

Информацию о пред- и посмертных контузиях я, как и многие, почерпнул у Лестера Эделсона в «Патологии убийства: Справочник патологоанатома, прокурора и консультанта защиты». *(Прим. автора.)*

# 27

Недавняя смерть или давняя, это не моя смерть, и я лишь отмахнулся от нее. В катакомбах они были настолько неразличимы, с такими чистыми панцирями, что можно было подумать, все они умерли «естественной смертью». В кабинете судебно-медицинской экспертизы были погибшие в результате несчастного случая или при странных обстоятельствах, несколько покончивших собой, как старик, что повесился на проводе, и лишь изредка туда привозили убитых. Я смотрел в глаза повесившегося и чувствовал, что дрожу. Чтобы защитить меня от этого, доктор Стивенс установил двери с табличками «ВХОД ВОСПРЕЩЕН» и «ВХОД КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩЕН». Здесь и сейчас, пытаясь отредактировать написанное, я вижу всего одно мертвое существо — паука, прилипшего к оконному стеклу вместе со своей высохшей паутиной. В основном же я вижу машины, едущие по широкой дороге, великолепные деревья, шагающих по тротуару людей. На том месте, где пару лет назад убили подростка, теперь стоит будка продавца пончиков, пышущая сладостью и жизнью. Пока еще я в стране живых и никогда не поверю в собственную смерть. *(Прим. автора.)*

# 28

Я был там дважды, и второй раз оказался намного ужаснее первого. Но эти технические и политические подробности не имеют значения. *(Прим. автора.)*

## 29

Описание этого места см. «За моей головой», «Атлас», стр. 5. *(Прим. автора.)*

## 30

Фэннон обнаружил эти психосоматические симптомы в Алжире и утверждает, что они были весьма распространены «в Советском Союзе среди населения осажденных городов, особенно Сталинграда» («Несчастные на этой земле», стр. 290–293). *(Прим. автора.)*

## 31

Для пациентов Фэннона, алжирцев, выживших во время массовых казней, производимых Францией потому, что «слишком много разговоров об этой деревне; убрать ее», у ангела смерти было лицо первого встречного: «Вы все хотите меня убить, но каждый по-своему. Я убью вас всех, как только посмотрю на вас, больших и маленьких, женщин, детей, собак, ослов…» (стр. 259–261). *(Прим. автора.)*

# 32

Мартин Лютер Кинг подчеркивал на похоронах жертв бирмингемских взрывов, что «история доказывает снова и снова: незаслуженное страдание искупительно. Невинная кровь этих девочек послужит той искупающей силе, что зажжет яркий свет в темном городе» (Кинг, «Завещание надежды», стр. 221, «Панегирик детям-мученикам», сентябрь 1963 г.). Лично я не верю, что подобные искупления происходят особенно часто. *(Прим. автора.)*

## 33

Имеется в виду фильм «Психоз» (1960), где хозяин гостиницы, обладавший маниакальными наклонностями, убивал постояльцев в душе.

# 34

Незнание факта освобождает от ответственности (лат.).

## 35

Персонаж рассказа ошибается. В фильме А. Хичкока «Психоз» роль жертвы исполнила актриса Джанет Ли, а не ее более знаменитая однофамилица Вивьен.

# 36

Клаттер — фамилия героя романа Трумена Капоте «Хладнокровное убийство», написанного в 1965 году.

# 37

4 мая 1970 года национальная гвардия штата Огайо открыла стрельбу по демонстрации студентов Кентского университета, протестовавших против американского вторжения в Камбоджу. Четверо студентов были убиты, девятеро ранены.

# 38

Генри Маккарти (1860–1881), или Билли Кид, считался самым знаменитым бандитом и убийцей на Диком Западе.

# 39

Право сеньора (фр.).

# 40

Теодор Джон Качинский (Унабомбер) — террорист-одиночка, рассылавший бомбы по почте.

# 41

Крестьянин (исп.).

# 42

Игра слов. Книга Питера Ридинга в оригинале называется «Marfan», что вызывает аллюзии с синдромом Марфана — генетической болезнью, которой предположительно страдали Паганини, Андерсен, Линкольн, Шарль де Голль и Бин Ладен.

## 43

Всадник без Головы встречается не только у Майн Рида, но и у Вашингтона Ирвинга, в рассказе «Легенда о Сонной Лощине».

## 44

Создана актом Конгресса в 1861 г. Включала современные Южную и Северную Дакоты, а также большую часть Вайоминга и Монтаны.

# 45

Накануне и в ходе Гражданской войны конфликт экономических интересов плантаторов и фермеров обусловил политический раскол внутри Кентукки. Законодательное собрание штата провозгласило верность северянам, но многие кентуккийцы вступали и в армию Конфедерации. Новая конституция штата была принята в 1891 году.

# 46

Главное научное учреждение Франции, объединяющее выдающихся деятелей науки, литературы и искусства и имеющее целью способствовать развитию наук и искусств.

# 47

Штаты Мэн, Нью-Хэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут.

# 48

Улица в Лондоне, где сосредоточены редакции газет.

представление

# 50

Glen — узкая долина в Шотландии (англ.).

# 51

Колд-Спринг-Харбор

# 52

Сценический псевдоним карлика Чарльза Шервуда Страттона.

## 53

Негритянка, утверждавшая, что ей более ста лет и что она нянчила самого Джорджа Вашингтона.

# 54

Трехметровый «окаменелый» человек, раскопанный в г. Кардифф, штат Нью-Йорк.

# 55

Один из последних романов Ч. Диккенса.

Pallett — палитра (англ.).

# 57

Перевод Марии Фаликман

# 58

Большая часть территории Дакоты ранее входила в состав территории Миннесоты и Небраски.

представления

# 60

Огромный гранитный монолит высотой 513 м в пригороде Атланты, Джорджия.

см.: Эллис и др.

# 62

Сеть ресторанов и мотелей по всей территории США. Название образовано из имени основателя компании, Ховарда Джонсона.

# 63

Американский кантри-певец, родился в 1937 г.

Перевод Е. А. Кацевой.

# 65

Лестница (исп.).

# 66

FedEx Corporation — оперирующая во всем мире американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики.

# 67

United Parcel Service — крупнейшая в мире компания по доставке грузов.

# 68

Фильм по одноименному роману Стивена Кинга.

## 69

«Мы верим в член» — пародия на американский девиз «Мы верим в Бога».

## 70

Род сапог, резиновых или кожаных, доходящих до колена, на низком каблуке. Такие сапоги были в XIX в. введены в моду в Великобритании герцогом Веллингтоном, и с тех пор называются в честь него.

## 71

Походная песня, популярная среди солдат британской армии в Первую мировую войну.

## 72

Латинское название ланцетника.

# 73

Озера, образующиеся при изменении русла реки.

# 74

Микрорассказ Сары Мангузо «Помню» напечатан прямо на корешке издания. В содержании не указан (*XtraVert*).